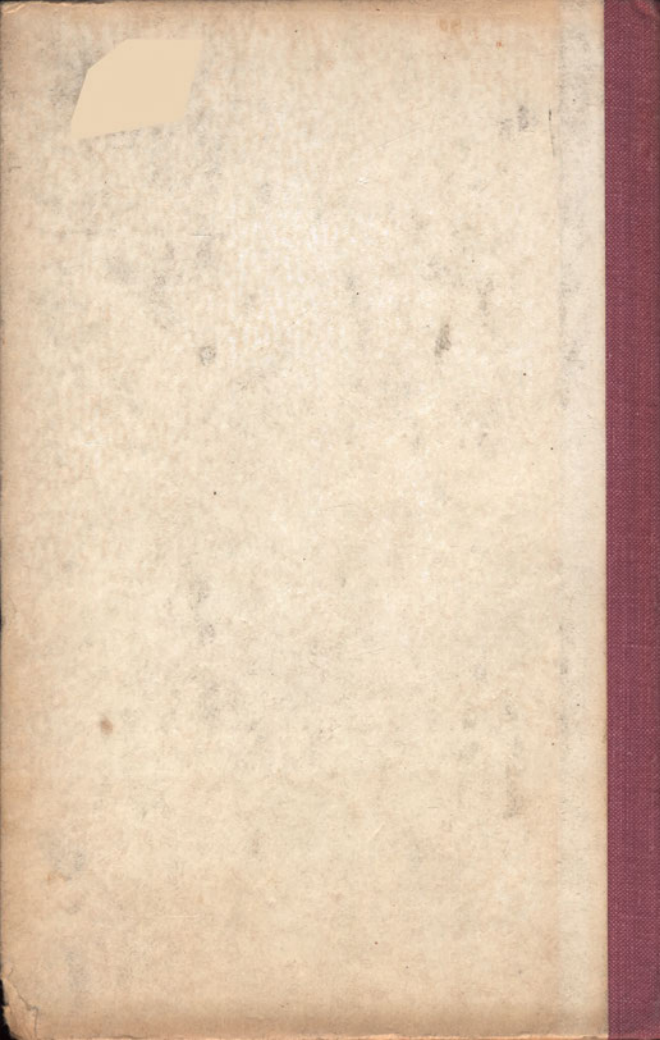


Владимир
ЛАЗАРЕВ

ТУЛЬСКИЕ ИСТОРИИ



В. ЛАЗАРЕВ · ТУЛЬСКИЕ ИСТОРИИ





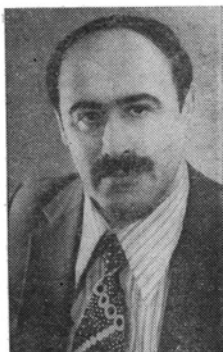


Владимир
Лазарев

ТУЛЬСКИЕ
ИСТОРИИ

ТУЛЬСКИЕ ИСТОРИИ

- о А. Т. БОЛОТОВЕ
В. А. ЖУКОВСКОМ
Л. Н. ТОЛСТОМ
А. А. ФЕТЕ
И. А. БУНИНЕ
В. Ф. БУЛГАКОВЕ
К. Г. ПАУСТОВСКОМ...
- о синявинских певцах
оружейных мастерах
филимоновских
мастерицах...
- о Ясной Поляне
Куликовом поле
Богородицке
Тарусе...



Владимир
ЛАЗАРЕВ

ТУЛЬСКИЕ ИСТОРИИ

ПРИОКСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ТУЛА 1977

Одной из ведущих тем творчества Владимира Лазарева является тема Тульского края в ее историческом и современном аспектах. Она естественно вошла в художественный мир поэта, став неотъемлемой частью многих его произведений, написанных в разных жанрах.

Перу Владимира Лазарева принадлежат эпические и лирические поэмы, сборники стихов и книги прозы, литературно-критические и публицистические статьи. Он составитель нескольких своеобразных антологических сборников: «Невыдуманные поэмы» (Москва, 1969, 1970, 1975), «Колокола веков. Русская историческая поэзия» (Москва, 1976).

На стихи В. Лазарева современными композиторами написано немало песен и романсов, получивших широкую известность, а также несколько симфоний, ораторий, песенно-хоровых сюит.

В книгу «Тульские истории» вошли произведения разных лет.

С ЛЮБОВЬЮ К РОДНОЙ ЗЕМЛЕ

Поэт Владимир Лазарев написал большую интересную книгу.

Территориально и, так сказать, географически все описанное Владимиром Лазаревым укладывается в пределы Тульской земли или находится по ближайшему соседству. Но вот какой многозначительной частью великой Родины, России, всегда была эта земля; все примечательное на ней оказывается примечательным и в масштабах целого Отечества. В самом деле: Ясная Поляна расположена на Тульской земле, но принадлежит ли она по своему значению, по своей единственности, по своей великости одним тулякам, а не всей России?

Куликово поле. Поленово. Знаменитые тульские оружейники и в их числе легендарный Левша. Личные и литературные отношения Толстого и Фета. Задонщина. Жуковский и Бунин. Удивительные записки Андрея Тимофеевича Болотова.

Впрочем, может быть, я здесь не совсем точен. Может быть, это Владимир Лазарев отобрал для своей книги именно такие события и явления, которые знаменательны не только для одного края, но и для всей нашей культуры, нашей истории.

Книга поэтична, да оно и понятно — ее написал поэт. Она поэтична не только потому, что в нее включены стихотворные строки, и не потому, что она оснащена описаниями красот природы, но и по той атмосфере, по той, я бы сказал, освещенности, которая согревает всю книгу.

Книга весьма и весьма познавательна. Не то чтобы в ней сохранились многочисленные неизвестные читателям факты, но каждое событие увидено зорким глазом художника и рассказано с такими интересными конкретными подробностями, как мы знать до этой книги, разумеется, не могли.

И все же на первое место я бы поставил воспитательное значение книги Владимира Лазарева.

Однажды мне позвонили из редакции газеты с просьбой написать статью «Чувство Родины». Тема интересная, но ведь и сложная.

— А как вы сами понимаете эту тему? — спросил я у работника газеты.

— Ну... Чувство патриотизма, гордость за наши достижения... Спутники, Космос...

— Прекрасно. Достижениями нельзя не гордиться, и гордость эта должна войти мотивом в сложное чувство Родины. Но можем ли мы сказать, что Пушкин (Ломоносов, Кутузов, Некрасов, Блок) любил Россию меньше нашего, хотя тогда не было космических и иных достижений? Значит, очевидно, чувство Родины сложнее и глубже, чем кажется на поверхностный взгляд.

Не ставя перед собой непосильной задачи проанализировать симфонической сложности чувства Родины, я осмелюсь выделить некоторые моменты, которые мне кажутся главными.

Во-первых, назовем — чувство родной природы. Кажутся же горцам родными горы, приморским жителям — море, а нам — заливные луга, березовые рощи, полевые тропинки. Но если вдуматься, родная природа для нас не только то, что невольно видит и чем невольно любитесь глаз. Постепенно мы прошли хорошую школу понимания родной природы. Воспринимая ее, мы приводим в движение эмоциональные резервы, накопленные нами при чтении Пушкина, Тургенева, Аксакова, Тютчева, Фета, А. К. Толстого, при рассматривании картин Левитана, Поленова, Саврасова, Кустодиева, Нестерова, Шишкина... Можно называть в этом ряду немало других писателей и художников.

Во-вторых (а, пожалуй, все-таки в-главных), надо назвать, говоря о чувстве Родины, чувство родного народа, родной истории и культуры.

Дело теоретиков — научно определять, что такое народ, нация. В моем представлении народ — это то, что им создано и совершено на протяжении многовековой истории. Но чувство родной истории, культуры точно так же, как и чувство родной природы, даже еще и в большей степени, не стихийно в людях, и, только фигурально выражаясь, мы говорим, что оно дается нам «с молоком матери». На самом же деле оно воспитывается постепенно искусством, педагогами, родителями, окружающим человека общественным климатом, сотнями книг, и воспитание его — одна из самых важных задач. В конечном счете это воспитание патриотизма.

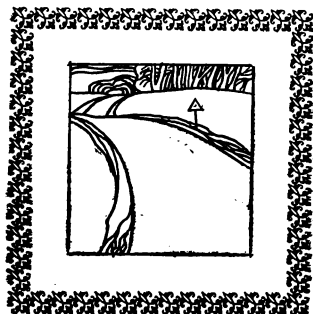
Этой-то задаче полностью и отвечает книга Владимира Лаварева «Тульские истории».

Как характерную черту книги нужно отметить, что о чем бы Владимир Лазарев ни писал: от Куликова поля до филимоновских игрушек, он всегда в центре своего произведения ставит людей. Не просто — родной край, не просто — памятное место, не просто — история, но обязательно — люди. И это правильно, ибо история, как и культура, творится живыми людьми и сохраняется ими же.

Перед читателями — не только интересная, но и весьма нужная, весьма полезная книга.

Владимир СОЛОУХИН.

СЛОВО О ЗЕМЛЕ ТУЛЬСКОЙ



Желание сказать слово возникло во мне неожиданно, хотя, разумеется, созревало это слово давно. Значит, пришел его срок!

Помните, как теплой, сухой, безветренной ночью в саду неожиданно падает яблоко и словно бы без всякой на то причины? В мгновенном его скольжении по веткам, в задевании листьев, в самом ударе о землю ваш слух как бы улавливает тревожный возглас: «Срок!»

...Я возвращался из деревни Филимоново, из той самой, где делают знаменитые игрушки-свистульки. Шел через Татьево к Нестерову, а там на большак. Солнце садилось, и в расписном, дымно-морозном февральском небе, словно какие-то тревожные знаки, светились красные неровные полосы. Оттепель кончилась, круто начинала забирать сизая, с быстро набегаящими веттерками, холодная мгла. Я наглухо застегнулся, поднял воротник и все следил за убывающим солнцем, все думал о филимоновских мастерицах, которые вот уже четыре века делают свои игрушки. Есть у этих мастериц и заботы и тревоги. Существует даже опасность, что, ослабнув, может и вовсе исчезнуть самобытный художественный промысел. Но это — особый разговор. А тогда я словно бы отхлебнул крепкого здоровья из общей чаши — братины народного искусства.

В самом себе я улавливал далекий разрастающийся ритм, в котором появились первые слова и даже целые строки про цветастых, пылающих глиняных собак и петухов, про медведицу с гармоникой, про февральскую заснеженную дорогу от деревни к деревне.

...Иду долиной белою,
Иду себе один,
Встречаю тучки беглые,
Как облики былин.

Самобытна и прекрасна старинная Тульская земля.

Ничем не хуже сопредельные области и края: и там есть свои особые, согревающие сердца земляков приметы. Так-то оно, так. Но родной край, пусть не лучше он, да милее...

Земля тульская!.. Куда бы ни забрасывала судьба туляка, бережно хранит он память о своих истоках. А к истокам своим рано или поздно возвращается человек, если это в его силах и воле.

Земля тульская!.. Оружейные заводы, корни которых глубоко в петровской поре, кремль допетровской поры, видевший самого Ивана Болотникова, поле Куликово... Глянешь в глубину — дух захватывает!

Земля тульская!.. Лев Толстой с его неутолимой жаждой правды, с его мучениями совести человеческой. Не его ли корни слиты с этой землей, не его ли крона бессмертно шумит над ней?..

Какое средоточие ума и духа проявилось именно здесь! Ушинский, Вересаев, Глеб Иванович Успенский, его двоюродный брат Николай Успенский, писатель менее известный, но с большим, оригинальным талантом, надломившимся, да так и пропавшим в «растеряевской» жути старой России...

Один только перечень этих блистательных имен заставляет высоко поднять голову не только туляка, но и любого нашего соотечественника. Да и перечтешь ли все?.. В селе Мишенском Белевского уезда Тульской губернии родился и провел ранние годы свои Василий Андреевич Жуковский, незаконнорожденный сын помещика Бунина и пленной турчанки (к этому дворянскому роду принадлежит и другой выдающийся писатель Иван Алексеевич Бунин).

По окончании Московского благородного университетского пансиона Жуковский вернулся в родные места. К тому времени относятся его первые литературные опыты. Невозможно допустить, чтобы здешняя природа, да и сам склад людских характеров, окружавших поэта, не оказали влияния на его творчество.

Это Жуковский. А Болотов? Его имя менее известно широкой публике. Однако он занимает значительное место в истории национальной культуры. Плодотворная деятельность Андрея Тимофеевича Болотова началась в середине XVIII столетия. А умер он в 1833 году, девяносто пяти лет от роду. Естествоиспытатель, конструктор, экономист, автор первых в России статей о пользе картофеля. Наблюдения Болотова над землей и погодой в разные времена года, организация образцового хозяйства, опыты по скрещиванию плодовых деревь-

ев изложены им в десятках научных работ и статей, опубликованных в русской и европейской печати.

А Петр Петрович Белоусов?.. Санитарный врач, человек большой духовной и нравственной силы, основавший в Туле в конце XIX века чудесный городской парк. Можем ли мы забыть гражданский подвиг этого человека, да и саму жизнь его, так рано оборвавшуюся!

...Вдохновенные мастера самых различных проявлений творчества связаны с Тульской землей. В моем сознании они собрались воедино, осуществляя собою связь времен. Какие судьбы сложились на этой земле, какие люди прошли по ней! До сих пор слышится эхо от их шагов... На этой земле начинается Дон. По ней протекает Ока. Мягко шелестят малые реки Непрядва, Красивая Меча. А ведь Бежин луг тоже на Тульской земле, на самой границе ее, откуда начинается Орловщина. Когда ходишь по этим проселкам, явственно ощущаешь на каждом малом селении, на каждой не приметной речке, на светлом облике каждого поля как бы запечатленный навсегда взгляд великих русских писателей, живших до тебя. Слышатся тебе чистые голоса тургеневских певцов, видятся расписные игрушки-свистульки филимоновских мастериц, и ты как бы причащаешься к здравому смыслу народному и начинаешь не только понимать, а и нутром своим ощущать непреходящее в жизни, то, чему конца не будет, что составляет общую гармонию человека и природы.

Иду по этой земле, где на месте бывших дворянских усадеб еще сохранились могилы декабристов, вернувшихся из ссылки. Иду по земле, где застыли под пятиконечной звездой могилы бойцов революции и тех, кто защищал наше Отечество от фашистского нашествия. Думаю о достоинстве человека, о силе духа, который не дано сломить никаким испытанием. И не желание хвастать этой землей возникает во мне, ибо хвастать — значит как бы транжирить то, что заработано не тобой, но отцами и дедами нашими, а желание продолжить их великие культурные и демократические традиции.

Обо всем этом говорили до меня, будут говорить и после; ибо это желание — не есть откровение одного человека. Почему же все-таки возникает внутренняя потребность облечь в слова то, что в данном случае известно?

Не так давно в книжке «Хождение не за три моря»

я уже пытался осмыслить этот вопрос. Путешествие в глубину не уступает путешествию в даль. Следя за успехами футбольной команды или узнавая в лицо популярного певца, мы словно бы отдаляем на второй план или вовсе даже забываем то истинно прекрасное, что принадлежит нам.

...В лесу, на взгорье над Окой, стоит дом, в котором жил и работал Василий Дмитриевич Поленов. Этот дом весь окружен мягким светом среднерусских рощ и лесов — светом поленовских пейзажей. Как хорошо побродить здесь в преддверии весны, когда еще снег крепок и свеж, и в этой свежести, в каком-то неясном дуновении уловить смену времен года.

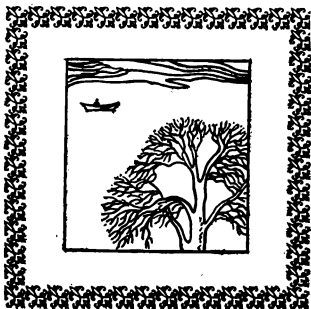
Ока и мартовское солнце.
А вдалеке на берегу
Стоят классические сосны,
Роняя тени в белизну...

Истинные произведения искусства всегда более действуют на меня не тогда, когда они собраны воедино в огромных городских выставочных залах, а когда они остаются на местах, там, где их создали. Истинные произведения не терпят беглого скольжения по поверхности. К ним надо прийти, иначе они не откроют своей тайны. В дом к Поленову, к пейзажам Поленова приходишь от Оки и леса, от солнца и синевы так же естественно, как потом возвращаешься к лесу и Оке, к солнцу и синеве... Именно в этом обрамлении надолго остановил меня подле себя черно-белый вариант поленовского шедевра «Христос и грешница».

...Течет река Ока, связывая Тульский край с другими краями России. В четырех верстах отсюда — Таруса Паустовского. Мне могут возразить, что это уже Калужская область. Но в этом ли суть? Гордость за свой край, наверное, кончается там, где начинается областная ограниченность, а попросту — местничество. Духовные ценности, возникшие на Тульской земле, немыслимы вне общенациональной и общечеловеческой культуры. И наступает такой момент в жизни ли одного человека, в жизни ли целого общества, когда совершенно необходимо оглянуться и подсчитать те духовные силы, те вечные целебные источники, которые питают его.

Великие достижения прошлого — это великая ответственность каждого из нас перед теми, кто идет на смелую, перед самим собой.

СЕМЬ МАЛЫХ ПУТЕШЕСТВИЙ



В ЯСНУЮ ПОЛЯНУ

(Разные дни)

Тесовый домик — наша летняя дача — стоял в деревне на улице Красной, на крутом взгорье, над яснополянскими прудами.

Окно моей комнаты выходило в сад, в сторону низины — огромной круговой чаши, на противоположной стороне которой слева от меня, в густой полной зелени скрывалась толстовская усадьба и виден был лишь продолговатый свежebelый дом Волконского и крыши конюшен. Круговая чаша эта часто переполнялась, дымила раннеутренними туманами. Из этой молочной гущи высоко поднималась стоявшая еще тогда старинная ель. Каждый раз, просыпаясь, я видел эту ель, и чуть поодаль, но тоже рядом — рукой подать — белел дом Волконского. Иногда это воспринималось так мгновенно остро, что сердце начинало часто, глухо стучать, как в минуты приближения неожиданного и радостного открытия, которое еще не выпало, но точно выпадет на твою долю.

Ясная Поляна. Почему это место называли так? Одни говорят, что когда-то, еще до предков Толстого, была пожалована засечному голове Степану Карцеву земля возле речушки Ясенки. Он и назвал свой надел Ясенной Поляной. А потом пообкатала людская молва это имя, как морская волна гальку, и вместо Ясенной стала Поляна Ясной. Другие говорят, что теперешние яснополянские лески и рощи — более поздние посадки. А раньше это было открытое, сухое, возвышающееся над лесами место. В солнечный день светилось оно от восхода до заката. И в народе с точностью предельной дали этому месту имя: Ясная Поляна. А потом и речушку называли Ясенкой. Ходят и другие толки. Но как бы то ни было, прислушайтесь: сколько приветливого света в этом имени! А после Толстого еще и мудрость засветилась. Оно предстало перед нами в новом значении и звучании. И уже кажется: иначе и не могли называться места, где жил Лев Толстой... Ясная Поляна!

Путешествие мое в Ясную Поляну — длиною в многие годы. Во всяком случае, десять из них в летние месяцы я проводил большею частью в этих местах.

Калинов луг, дуб в Чепыже, описанный в «Анне Карениной» в сцене грозы, колодец, из которого Толстой брал воду, скамья, где он проводил в уединении вечерние часы большого летнего дня, его любимое место купания на реке Воронке, куда легче пройти, обогнув могилу, и минут десять-пятнадцать шагать старым, запущенным лесом, а потом — сквозной, березовой, более поздней посадкой, такой частой, что от нее исходит ровный, почти не зависящий от внешних изменений густой, серебряный свет... Все это хорошо известно не одному мне. Однако сопровождало меня повседневно, в годы становления характера и выработки художественного мировоззрения. Все это соединялось с вторым и третьим прочтением Толстого в эти годы и потому оказало на меня влияние неизгладимое. Может быть, из-за всего этого для меня Лев Толстой и не писатель даже в принятом смысле: не слово у него бог, у него мысль, действие, страсть... мощно светятся сквозь слово (слово, точно воздух, как бы отсутствует). Все живет, движется, дышит в своем первородстве. Он стал необходимой частью не то что бы самосознания, но и всего существования нашего, как приход зимы или восход солнца.

Здесь всегда чуть холодное дыхание ясности, в которой резко вырисовывается собственная жизнь в ее неповторимости. И кажется, что не так живешь, как мог бы жить: махнув рукой, плывешь по течению и все уповаешь на то, что главный твой день не тот, в котором живешь, а тот, который впереди.

В письме Толстого Ивану Алексеевичу Бунину (23 февраля 1894 г.) есть такие строки:

«Не ждите от жизни ничего; лучше того, что у вас есть теперь, и момента более серьезного и важного, чем тот, который вы теперь переживаете, не может быть, потому что настоящее, надеюсь, в вашей власти. Не думайте тоже о форме жизни, более желательной: все безразлично, лучшая только та, в которой требуется наибольшее напряжение духовной силы».

Эти строки не абстрактны и касаются личной жизни Бунина в строго обозначенный период, но, думается, что они применительны вообще к внутреннему процессу любого творческого человека.

С музеем-усадьбой связаны разные люди, разные по возрасту, по опыту, по самому своему отношению к Толстому, но чаще всего — это бескорыстные пропагандисты отечественной литературы, благоговейно относящиеся к ее памятникам.

Одна из самых колоритных фигур сегодняшней Ясной Поляны — Николай Павлович Пузин, бывший хранитель Дома-музея Толстого. Эта высокая должность — хранить непреходящие ценности прошлого — истинно подходит к нему. Он и точно хранитель. Крона генеалогического дерева Льва Николаевича вся до последнего листка разветвилась в его памяти. Все эти Толстые, Волконские, Горчаковы и бабушка Льва Николаевича по материнской линии Екатерина Дмитриевна Трубецкая, и тетушка Татьяна Александровна Ергольская, дальняя родственница другой бабушки по линии Горчаковых, — все они возникают в устных рассказах Н. П. Пузина и становятся необыкновенно живыми в своих характерах и поступках и начинают взаимодействовать так явственно, как будто это происходит сейчас. Николай Павлович, наклоня голову набок, говорит несколько однотонно, высоким голосом, грассируя, и вдруг посреди интеллигентной речи любит блеснуть словом грубым, соленым. Это придает Пузину особую прелесть и какую-то законченность. Уже несколько лет Николай Павлович занят описанием всех вещей, принадлежавших Толстому и находящихся сейчас в «Бытовом музее». Это не просто описание: это каждый раз любопытнейшая история, как и почему та или иная вещь попала в дом и каково отношение домашних к этим вещам. В конечном счете возникают живые фигуры людей прошлого века.

С Валентином Федоровичем Булгаковым, личным секретарем Льва Толстого, я познакомился, когда он еще жил в доме Волконского, в том самом белокаменном, который я видел каждое утро из своего окна. Человек он был иного склада, чем Н. П. Пузин, иной судьбы. Но об этом особый разговор.

Ясная Поляна, как известно, — не только музей-усадьба и заповедник, но и деревня, довольно большая, и школа-интернат, и больница, главный врач которой Игорь Петрович Чулков славится по всему Тульскому краю. Следовательно, кроме большого духовного ореола над Ясной Поляной, существует еще и обыкновенная

будничная жизнь яснополянских обитателей: старуха пришла в сельсовет с жалобой на соседей, мальчишки запускают змея, мужики вразмашку косят траву для нужд усадьбы и больницы...

Я люблю такую Ясную Поляну, будничную, с небольшими, только что поставленными копнами по опушкам, в лугах и даже на лесных полянах. Запомнилось несколько обыкновенных дней летнего отпуска.

Читал в лесу дневники Льва Николаевича. Вдруг, как срезанный, упал лист. Шорох. Я вздрогнул, почувствовал чье-то присутствие: вверх по стволу акробатически отважно скользнула белка — рыжий язычок пламени. Я сел на пень, делая вид, будто не замечаю ее, а сам косил глаза в ее сторону. Белка осторожно спустилась, застыла... Я продолжал делать вид, что она меня не интересует, и, незаметно для себя, действительно забыл про нее. В одной дневниковой записи у Толстого (16 мая 1896 года) я тогда прочел: «Думал, что напишу ясно, и опять запутался, видно, не готово». У него это стояло в скобках. Меня всегда в работе останавливало это ощущение «не готово», когда никакое напряжение разума не поможет, надо еще потаскать в себе впечатления, выносить естественно, как сад вынашивает яблоки или рожь свои зерна в колосьях... Я обрадовался, найдя подтверждение у Толстого. Вдруг вспомнил о белке. Смотрю, она совсем рядом. Сидит и что-то быстро-быстро грызет. Я опять углубился в чтение. Мы были заняты каждый своим. И оба, кажется, довольны друг другом. Я любил это живое существо, и было лучше, что оно рядом, чем если бы его не было. Но почему ему, лесному, неручному зверьку, было лучше подле меня, чем одному в глубине заповедника или хотя бы в трех шагах отсюда?

В другой раз сидел на скамейке под двустовольным дубом, прислушивался к тоненькому дождю, который тяжелел в ветках этого дуба, но до меня не доставал... Ветки начали трещать, как будто там, вверху, разгорался костер. И, наконец, стали прилетать одиночные тяжелые капли. Я только что закончил «Веселый двор» Бунина, захлопнул книгу и сидел в оцепенении, весь во власти прочитанного. Вспомнил толстовский дневник: «Различные характеры, выражаемые искусством, толь-

ко потому трогают нас, что в каждом из нас есть возможности всех возможных характеров» (19 декабря 1896 года). Дождь то расходился, то утихал. Я хотел переупрямить его и не уходил. Прошел мужчина с босой девочкой. Он прятал в руке сигарету, и вверх поднимался, синел мокрый дымок. На девочке был пиджак до земли. И торчала мокрая рыжая головка. Я мог пойти вслед за ними и даже заговорить с женщиной, а мог и не пойти, остаться, вымокнуть под теплым июльским дождем до нитки. Хорошо помню это чувство. Рыжая головка девочки. Мягкие, обложные тучи, стоящие, как дым. Сокровенная радость жизни...

Любопытно, как изменяются слова в языке, иногда до неузнаваемости. У Толстого в «Воспоминаниях детства», в десятой главке сказано: «В трех верстах от Ясной Поляны есть деревушка Грумонд (так названо это место дедом, бывшим воеводой в Архангельске, где есть остров Грумонд)». Бог знает, почему это имя переименовали, смягчили, может быть, оттого, что сама деревенька тихая, аккуратная, да и в разговоре так сподручнее. У Константина Федина уже читаем: «Поездка в Грумант...» Помнится, с одним близким мне человеком пошли впервые в эту деревеньку. Спросили у старухи на ферме:

— Далеко Грумант?

— Груманты? Недалече.

Что такое Грумант? «Груманты» — оно роднее, хотя тоже непонятно, но зато в ряду однозначных названий, скажем, Кочаки. Так в народе и говорят.

Дорога в эти «Груманты» — белесая, проселочная, сплошь усеяна зерном, сыпавшимся, очевидно, из кузова грузовика. Зерно это то утоняется до нитки, до пунктира, то вьется довольно густым ручейком, в два ряда. Какая-то пожилая женщина собирает это зерно в обертую, издававшую виды кошелку. Низко над горизонтом висит красное солнце со спелым, белым пятном. От ржи веет теплым светом. В поле, в гуще колосьев, как бы еще и свой свет, бронзовеющий в свете солнца...

В предвечерний час пошел к Скамье. Все удивительно ясно, доверчиво, повито пахучим предосенним дымком. Тепло. Тихо. Опять вспомнилось, «что в каждом

из нас есть возможности всех возможных характеров», но уже в том смысле, что трудно справиться с самим собой, с этими разными людьми в самом себе. Но надо уметь справляться. Да, надо уметь...

Зашел за кустарник, отделяющий Скамью от поля, и вдруг увидел невдалеке крупную лосиху и двух тонконогих лосят-подростков. Они прижимались к посадкам, лосиха беспокойно оглядывалась, вслушивалась... Я долго наблюдал за ними.

Ночью возвращался в Тулу. До автобусной остановки от нашего дома, как ни пойти, минут тридцать пешком. По дороге во мгле вдруг появилась луна смутно-багрового цвета и неправильной формы, как большая капля крови. Рассудком я понимал, что это всего лишь пейзаж, который изменится через несколько часов, но почему-то тревожно думалось о том, что вот в человеческом мире накопилось немало ненависти и она в один непрекрасный момент может обрушиться на всех обитателей этой голубой планеты. Я ненавижу человеческую ненависть и хочу утверждать добро, отстаивать это добро, все доброе, что есть в человеке.

Каждый идет к своему Толстому. Английская, французская, итальянская, испанская речь причудливо вплетается в тишину яснополянского пейзажа и соседствует с рязанским или владимирским говором. В усадьбе легко заговаривают друг с другом, делятся впечатлениями или спрашивают о чем-нибудь. Вот одна из таких мимолетных встреч.

Высокий человек в светло-сером костюме с едва уловимым акцентом спросил меня, как пройти к Скамье. Я ответил, что иду в том же направлении.

— В вашей стране, — сказал он, — не приемлют толстовских идей непротивления. Мне же хочется поклониться больше Толстому-мыслителю...

— Кто вы, откуда? — спросил я незнакомца.

— Какая разница? — с легкой улыбкой ответил он. — Мы два человека, два европейца. Разве этого недостаточно?

— Для меня — нет. Я всегда помню, как фашисты обезобразили могилу русского гения и развели костер в его доме.

Тишина яснополянской аллеи — кажущаяся тишина. Здесь постоянно сталкиваются разные идеологии. Элегантный европеец без имени, индусы, поклоняющиеся

Толстому, как своему Ганди, шотландские шахтеры, принесшие пристальное внимание в суровых глазах.

...Сколько различных миров притягивает к себе Толстой! Во время заключительного заседания Европейского сообщества писателей, проходившего в Ясной Поляне, мне довелось беседовать с Андре Стилем. Писатель-коммунист, человек, сражавшийся с фашизмом в рядах французского Сопротивления, сказал: «Для меня Толстой всегда был борцом».

Думал ли Лев Толстой, что даже через много лет после его смерти яснополянская тишина будет ареной идеологических битв? К его могиле без памятника и без креста (о ней Стефан Цвейг сказал: «Трогательная безымянная могила, над которой носится лишь шепот ветра...») приходят религиозные люди и атеисты. И, как бы определяя причину этого всемирного тяготения к Толстому, Ленин писал: «Его мировое значение, как художника, его мировая известность, как мыслителя и проповедника, и то и другое отражает, по-своему, мировое значение русской революции».

Здесь воздух творчества: великий хозяин Ясной Поляны не ушел из нее, а наоборот, как бы вошел в нее — во все эти тропы и рощи, в замшелые пруды и парки, во все эти переплетения деревьев, в движение речной воды и солнечного света... И его присутствие здесь явно и неоспоримо. Потому в этих местах мыслится крупно: о судьбе народной, о яркости и глубине национальных характеров, о человеческой жизни... Между прочим, Константин Александрович Федин, работая над романом «Костер» в Ясной Поляне, отметил в своих зарисовках сходное настроение, пришедшее к нему в этих местах: «...Растроганное чувство, близкое молитве, но совершенно свободное от какой-нибудь формы общепринятого. Может быть, высшая сосредоточенность...»

Если в науке накопление информации в определенный момент (раньше или позже) приводит к открытию однозначного, то в литературе, очевидно, этого недостаточно. Возникновение литературного явления — еще и случай. Притом исключительный.

Оборвалось творчество Лермонтова — и русская проза (именно проза) невосполнимо утратила образы великолепные, которые уже мерещились ей, а стало

быть, и сами мы не узнали о себе, и уже никогда не узнаем нечто такое, что хотел и мог нам открыть только Лермонтов...

Толстой при всей своей беспощадности показал нравственные высоты русского характера. Еще будучи молодым человеком, в письме, датированном 1857 годом, он страстно, прерывисто произносит: «Чтобы жить честно, надо рваться, путаться, биться, ошибаться, начинать и бросать, и опять начинать, и опять бросать, и вечно бороться и лишаться. А спокойствие — душевная подлость».

Даже при наличии «Евгения Онегина», и «Шинели», и «Братьев Карамазовых», и «Обломова», и всего другого, истинно великого, насколько бы менее значила русская литература без Льва Толстого.

И, может быть, каждый из нас был бы нравственно беднее, если бы — страшно подумать! — во время обороны Севастополя на четвертом бастионе был убит прапорщик Толстой.

ГДЕ ОНО, ПОЛЕ КУЛИКОВО?

Огромное, спелое, наполненное чистыми красками солнце вот-вот коснется горизонта. Между солнцем и горизонтом светится тончайшая ниточка пространства. Через мгновение солнечный шар уже срезан. Теплые сумерки поглощают краски заката. А у самых ног моих пошатывается донская вода. В верстах тридцати отсюда лежит Куликово поле... То самое...

В разное время бывал я в этих местах. В первый раз, когда пригласил к себе погостить Николай Иванович Голубев, сельский учитель, мой давний приятель. Учителемствует он неподалеку от Епифани. «Порыбачим,— сказал он,— а то и на Куликово поле махнем». Первое впечатление от Куликова поля было столь сильным, что его уж не забыть никогда. Тогда, несколько лет назад, экскурсии на Куликово поле еще не устраивались, автобуса прямого из Тулы не было, да и никто из друзей моих толком не мог сказать, где оно, Куликово поле. Где-то в нашей области... А как к нему добираться? То ли со стороны Епифани, то ли со стороны Волова, кто его знает... Сам же по себе я человек не очень-то расторопный, так что не встретить я тогда Николая Ивановича, долго бы еще не бывать мне на Куликовом поле.

...И вот я снова у рыбацкого костра. А у самых ног слегка пошатывается донская вода. Николай Иванович поправляет котелок с ухой и неторопливо, словно бы даже на одной ноте, говорит:

— ...С одной стороны, прикинешь, живу я в затишье, столбовые дороги в стороне где-то. С другой стороны — природа. Вглядеться в каждый листок можно, каждую прожилочку на нем высмотреть. И дело свое как бы со стороны увидеть. В суматохе этого не сделаешь.

По интонации его голоса я понимаю, что это лишь продолжение разговора, начатого бог весть когда и с кем. Он и этой ночью не кончится. Только собеседники у Николая Ивановича меняются. Ему каждый раз надо

услышать ответное эхо. И, может быть, в этих словах — главное размышление его жизни.

Догадка моя — как бы ключ к его речи. Кажущаяся отрывочность ее исчезает.

— Вот ты городской житель, — продолжает Голубев, — забот у тебя не больше моих. А ведь врешь себе, что минуты свободной не выкroiшь. Ты даже края своего толком-то не знаешь. Не подвернись я тебе тогда, Куликово бы поле не увидел. А ведь оно не за три моря...

Я виновато улыбаюсь. Он говорит. А я улыбаюсь. И никак не могу прогнать эту улыбочку...

— Николай Иванович, но ведь как добираться, тогда один черт знал...

— И то правда. Какими только плакатами шоссе не засеют. И нужными, и ненужными. А простого указателя нет... С одной стороны — бесхозяйственность. С другой — нелюбопытство наше. Вот и получается... Ты читал такого писателя — Платонова?

— Андрея Платонова? Конечно, читал.

— Хм, конечно... Какой писатель! Сейчас-то его издают богато. А собирались да примерялись не год и не два. Вот и был он в стороне, как бы без призора, что ли... Боже мой, как медленно дело делается!..

Николай Иванович вздохнул. И словно в ответ ему глуховато вздохнула звездная ночь за Доном. А может, это почудилось?.. Вдалеке слегка колебались на некотором расстоянии друг от друга два светлых пятнышка: кто-то, наверное, так же, как мы, сидел у костра.

На наш огонек неслышно подошел человек, появившись неожиданно, так что я даже вздрогнул. «Вот леший!» — подумал про себя. «Леший» оказался небольшим, полным мужичком, именно полным, а не коренастым, в картузе с полуоторванным козырьком и в какой-то старой хламиде, в которой рыбачил, наверно, уже двадцать лет и чувствовал себя в ней, как рыба в воде. Лицо у него было безвольное и в следах от оспы. В руках он держал удочки и аккуратное ведерко с уловом. Он поздоровался с нами мягким, приятным голосом.

— Садись с нами, Трифон Григорьевич, — сказал Николай Иванович, — ушицы нашей отведай.

— Я с превеликим удовольствием, но меня женушка к столу ждет... Словечком перекинемся, и пойду.

Чувствовалось, он словоохотлив, но Николая Ивановича не так-то просто на посторонний разговор заполучить. Он сам кого хочешь в круг своих мыслей втянет.

— Послушай, Трифон Григорьевич, вот мой приятель,— Голубев указал на меня,— Куликово поле никак найти не мог, указателей не было... А язык, я спрашиваю, на что?

— Вот именно, язык! — обрадовался «леший» и засмеялся мелким смешком.— Язык до Киева доведет, а уж до Поля-то!.. Одно обольщение от языка к языку ходить, дорогу выпрашивать. Я эти места вдоль и поперек истопал. Книгу про эти места пишу. Нравы вывожу поучительные!

— Что толку писать! — вздохнул Николай Иванович.— Кабы писать, как сады сажать! Чтoб радость от этого была и польза прямая...

«Леший» пожал плечами, приумолк.

— Кто это? — спросил я у Голубева, когда мужичок ушел.

— Тришка Волостнов-то?.. Счетоводом он в сельсовете. Лет пятнадцать все какой-то роман строчит, никому не показывает. А так он ничего, рыбак... Сам рябой, а жена у него — загляденье!.. Вот он правильно мыслит: ходить надо, с людьми говорить... Знаешь, давай завтра опять на Куликово махнем!..

— Теперь-то зачем мозоли набивать? Есть экскурсии! Как-нибудь я в другой раз, прямо из Тулы...

— Вот заладил, экскурсии! — Николай Иванович покачал головой.— Экскурсии — это для тех, кто издалека. Или для новичков, для иностранцев там разных... А мы с тобой на попутных, пешочком, не спеша... Будет время поговорить, подумать о многом. Экскурсии, они бегом. А у нас в распоряжении целый день будет, с утра до вечера... Ну как, уговорил?

Мы молча хлебаем не очень наваристую уху. Слушаем ночь. То лягушка громко бултыхнется в Дон. То едва донесется слабый гул далекой машины. То высоко-высоко пророкочут огоньки самолета. Нигде не спрячешься от века.

...Спали мы у Николая Ивановича в саду. Часа три, не более. С трудом оторвал он меня от медового сна, протянул кружку парного молока. И мы подались на Куликово поле. Сперва шли еще влажноватым от росы большаком. А когда добрались до шоссе, утреннее солн-

це уже стало раскаляться. С полчаса прождали автобус «Новомосковск — Епифань». Разболтанный автобус этот был до отказа набит воскресными мужиками и бабами. Многие из них, очевидно, знали друг друга: разговор был смешливый и общий.

В Епифани на главной площади из-под колес брызнули куры. Автобус остановился напротив полуразрушенной церкви возле столовой. У коновязи терпеливо дремала лошадь. От Епифани до Куликова поля километров двадцать, а то и больше. Попутных машин не было. Мы зашли в столовую. Узнали, чья лошадь. Хозяин обещал подвезти. Около часа тряслись в телеге. А все остальное расстояние протопали пешком.

Дорога сочилась взгорками да ложинами, слабыми рошицами и, наконец, снова вышла к Дону. Отсюда ему тысячу километров течь до станицы Вешенской, набирать воды, матереть, чтобы разлиться потом тихим Доном. А в этих местах батюшка-Дон еще в огольцах бежит. Шустрый, тонюсенький. Деревеньки нанизаны на Дон: Казановка, Милославка, Монастырщина, Ивановка...

— Ты знаешь, — неожиданно говорит Николай Иванович, — верстах в пятнадцати отсюда находится деревня, в которой родился Федя Полетаев... Тот самый легендарный партизан. Позтано, который погиб за Италию.

Не знаю, почему, но в эту минуту слова Николая Ивановича поразили меня. Некоторое время мы шли молча. Потом остановились отдохнуть, сели на пологий склон холма перед распахнутой ширью. И почувствовали неясную, но мощную тягу воздуха, который во время ходьбы казался неподвижным.

Николай Иванович улыбается:

— Помнишь, как мы первый раз на Поле пришли?

— Еще как помню!..

— А Федорова Захара Дмитриевича помнишь? Ты все удивлялся, что это за мужик с палкой в руках вокруг чугунного столба похаживает... А потом он что-то пионерам объяснял и кричал, что все, кому не лень, царапают столб своими паршивыми фамилиями... Так и кричал: «паршивыми фамилиями»...

— А как он ребятам дислокацию войск объяснял! «Вон там, на юге...». — «Дедушка, а юг не там, а вон там».

Мы посмеялись. И снова я со всеми подробностями увидел тот день. Ободранный, издали прозрачный купол храма Сергия Радонежского, кучку ребят из ближнего пионерского лагеря и Федорова в белесом, потерявшем цвет кителе, в бессрочных кирзовых сапогах. Палку он держал в руках скорее всего как орудие, а не как предмет опоры. Возле него терлась рыжая дворняга. Федоров достал откуда-то конторскую книгу. И ребяташки шумно что-то писали в нее. Подошел к нам, представился: «Я сторож здешних мест. Захаром кличут». На вопрос, давно ли он здесь, ответил: «Да-а-вно, отсюда не видать. Еще когда колхоз сочинился. Вот когда заступил». Федоров протянул нам потрепанную конторскую книгу и сказал, что сюда жалобы пишут по поводу беспорядков на Поле. Достает он эти книги по случаю, а заполненные свозит в Богородицк, в районный отдел культуры. Там они, по словам Федорова, и хранятся. В разгар беседы на телеге подъехал щуплый мужичишка. Лошадь у него была полинялая и худая, как таранка. Мужичишка оказался ветеринаром Александром Арсентьевичем Тихоновым. Направлялся он в Куликово по делам, да решил Федорова проведать. Он был слегка под мухой. Лицо с желтым налетом, узкие азиатские глаза стеклянно поблескивали. Перед тем, как сказать слово, долго морщился: «Раньше сюда по четвергам и субботам из Михайловской школы учитель Казанский приезжал, из нашей интеллигенции. Лекции читал. А теперь-то один Захар. А что он знает, Захар?» Федоров обиделся. «Ладно, не сердись», — поморщился ветеринар, слез с телеги, подошел к обелиску. Федоров улыбнулся и попросил его прочитать товарищам из Тулы, «чего мне наемдни читали». «Это все блажь, — поморщился Тихонов. — А вообще-то можно». Он задумался на минуту и с пафосом прочитал. И даже рукой помог себе:

Взметнулся гордо в поднебесье,
Чугунный памятник стоит,
И наш народ победной песней...—

Тихонов потер лоб: «Вот же черт, забыл последнюю строчку». Явственно всплыли передо мной его слова и этот его жест. А потом он куда-то делся, не помню уж. Но помню, как Захар Дмитриевич прощался с нами,

просил поразузнать, будут ли здесь чего делать, и написать ему письмо по адресу: «Куликово поле, Федорову». Все приговаривал: «Вы не сомневайтесь, я этому делу преданный».

Виделось мне это все на фоне распахнутой шири, когда мы отдыхали с Николаем Ивановичем, сидя на пологом склоне холма. Словно давний сон прошел перед глазами. Николай Иванович, наверное, тоже вспоминал тот наш приход на Куликово поле или размышлял о чем-нибудь подобном, потому что после долгого молчания сказал:

— Федоров, оно смешно, конечно, оно же и больно. Сейчас Куликово поле не узнать, сам увидишь... Однако меня вот что заботит: как начнут застраивать Куликово поле, чтобы не перестарались, палку б не перегнули, не засластили бы, первородство чтоб сохранили... Тут, как это говорят, чувство соразмерности требуется, гармонии... А то святыню, ее по-разному потерять можно...

«Умница ты мой, Николай Иванович! — воскликнул я про себя. — И как славно, что мы снова пешком — в эти места, лучше не придумаешь!»

Мы отправились дальше. Просторно вокруг, далеко видно. Журавли над колодцами. Их много. Как подъемных кранов в городе. Парит. Начинает мучить жажда. Подходим к первой попавшейся избе. На завалинке сидит старик в потертых валенках. Древние глаза его, как выгоревшие васильки. «Ольга, — зовет он простуженным, невнятным голосом, — Ольга, ай оглохла? Вынеси людям напиток». На пороге появляется женщина лет тридцати в белом платке по самые брови. Густой синий свет ее глаз исполнен глубины и приветливости. Я беру ковш. Насильно заставляю себя не смотреть в ее глаза. Родниковая, вкусная, холодная вода студит жажду.

— Мы так выйдем к Куликовке? — спрашиваю я для того, чтобы что-нибудь спросить.

— Вы на Поле, небось, идете, — отзывается Ольга, — так этот самый и есть путь... Тут многие ходят.

— Чего ты мелешь? — недовольно бормочет дед. — Возле Поля-то деревня Куликово, а до Куликовки им топать и топать...

Вот оно что! Есть две деревни, и по-разному называют их. И само Поле местные жители величают иначе,

чем по всей России, а именно: Куликово поле, с удариением на второй гласной.

Этот простенький случайный разговор осветился предчувствием, что вот-вот нога моя вновь ступит на едва ли не самое священное поле России.

Оно надвигалось. Я попытался в душе улыбнуться над высокопарностью своих чувств. Улыбка не получилась: мощный, грозный дух, исходящий от невидимого поля, погасил ее.

Вдали на холме (это был Красный холм) замаячил чугунный столб. Правее его — почти парящий купол мемориального храма Сергия Радонежского. Белые облака. А рядом Непрядва впадает в Дон. Я не думаю о подробностях далекой битвы. И опять не могу разложить на части или хотя бы пересказать всю сложность своего мироощущения в минуты приближения к Куликову полю. Суровая, старинная музыка звучит во мне.

...Уже поблизости мы увидели, что мемориальный храм в строительных лесах, что на нем работают реставраторы, что кирпичный домик, когда-то стоявший без окон и дверей, теперь достроен и даже обжит... Возле обелиска большая группа людей. Чуть поодаль еще экскурсанты.

— Вон женщину видишь? — сказал Николай Иванович. — Ту, которая объясняет? Это учительница Алексеева, она с мужем здесь смотрителями вместо Захара.

— А его куда?

— А кто его знает...

Мы походили по полю, посмотрели. Еще не все фамилии замазаны и закрашены на стенах храма, еще купола не покрыты, еще на обелиске выбита зубилом и долотом в бесчисленных вариантах одна и та же фраза: «Здесь были...» (Последнее исправить труднее, чем надписи на стенах храма). Мы постояли, посмотрели, как работают реставраторы. И вдруг я увидел, что со стороны дальнего леса на телеге едет человек, уже издали чем-то очень знакомый...

— Гляньте, Николай Иванович! Не наш ли это ветеринар?

— Постой... Вроде бы он, Тихонов... и лошаденка та же, тощая... А может, другая... Он, точно! Смотри, сколько раз сюда приходил, а его с тех самых пор не встречал ни разу...

Как и в тот раз, Тихонов ехал по делам в Куликово.

Нас он не припоминал, как ни напрягался, как ни сужал свои и без того узкие, со стеклянным блеском глаза.

— Вспомните, вспомните, тогда еще здесь Захар Дмитриевич был,— настаивал я.— Вы нам еще стихи читали про обелиск.

— Стихи! — в глазах Тихонова что-то мелькнуло и погасло, он эти стихи, наверное, многим читал.— Да, с тех пор много воды донской утекло. Районы соединялись, разъединялись... Захар никак понять не мог, все меня спрашивал, кому Поле это принадлежит, за каким районом числится... Потом ему, Захару, отставку дали.

— Как он, Захар Дмитриевич?

— Ничего себе живет. Вот намердники с ним по махонькой соображали,— ветеринар поморщился, посмотрел в серовато-пепельную бездонную даль полей. Туда, где Дон. И вдруг нараспев прочитал:

До сегодня еще мне снится
Наше поле, луга и лес,
Принакрытые сереньким ситцем
Этих северных бедных небес.

— Вот же шельма, этот Серега, как завертеть мог, душа замирает,— заключил он.

Только сейчас заметил я перемену в погоде. Все еще парило, но небо замглилось. И лишь иногда даль наполнялась слабым рассеянным светом полуоткрытого солнца. В небе у горизонта, а может быть, и за горизонтом гроыхнуло. И вроде бы не гроыхнуло даже, а шевельнулось.

— Кажись, ехать надо,— заметил Тихонов. Он задумался на минуту, не простившись, тронул вожжи. Вздогнула, потянула тощая кобыленка. И вскоре телега вместе с Тихоновым исчезла точно в сосущем, теперь уже сизом пространстве глубоко распахнутых полей.

Приближалась гроза. Экскурсанты заторопились к автобусам. Николай Иванович направился к обелиску. А я отошел в сторону и лег немного поодаль от чугунного столба в разнотравье нераспаханного поля. Меня пронзило чувство, что здесь мне все знакомо. Это чувство возникало и раньше. Даже когда я в первый раз пришел сюда, мне казалось, что я когда-то уже здесь был. И словно в душе моей очищалась от поздних на-

слоений, светледа черная от времени картина. И вспыхнули чистые краски.

Травы и простенькие цветы бежали под ветром в сторону Непрядвы. И всколыхнулось передо мной поначалу лишь тенью, летучим прахом, а потом все ярче в очертаниях своих, все отчетливей древнее русское воинство. И Дмитрий Иванович, князь Московский, еще не прозванный Донским, и дружинник Васюк Сухоборец, неизвестный еще, вопрошающе смотрят в себя и на поле Куликово... Что-то будет? Вижу лица не смутные, не потрескавшиеся, как на старых фресках, но близкие, в резком свете. И звучит «Задонщина»:

Сверкают сабли булатные около голов
богатырских,
Катятся шеломы злаченные добрым коням
под копыта,
Валяются головы многих богатырей
С добрых коней на сырую землю...

Какой особый характер у этого поля: сделало свое дело, и опять все просто — цветы и травы, и даль без конца и без края. Словно не здесь, в истоках Дона, начало национальной независимости великого народа... А где-то верстах в пятнадцати отсюда — деревенька, где родился Федор Полетаев, который погиб за свободу Италии. Замкнулась связь времен. И вдруг открылась глубина России, самая сокровенная суть ее.

...Грозу мы с Николаем Ивановичем переждали в кирпичном домике, на той половине, где живут реставраторы. За окнами лило, гремело, сверкало. Я неосознанно ждал этой грозы. Радовался ее вольному, мощному духу. И без конца повторял про себя: «Гроза! А в сердце буря света и обещание добра». Повторял и был несказанно счастлив.

Гроза была короткой, а через час поле Куликово и глубокая круговая даль засветились от капель, наполненных солнцем. Третий раз за день сменились краски.

Мы с Николаем Ивановичем закатали брюки, сняли ботинки и пошли босиком. Нас ожидал долгий путь.

ОДНАЖДЫ В ДОРОГЕ

Однажды в дороге случай свел меня со старой женщиной. Она разыскивала какие-то документы, связанные с минувшей войной, расспрашивала людей. Меня заинтересовала эта женщина, потому что выглядела она очень старой и дело, которым занималась, было ей, по-моему, не под силу. Разговорились мы в тесной комнате сельской библиотеки. Оказалось, что женщине за восемьдесят, что живет она далеко отсюда (полтора часа езды на автобусе) — в небольшом подмосковном городке, а здесь потому, что собирает материалы о местах, где воевал ее сын. Несколько раз ей удалось восстановить биографии неизвестных солдат. Зовут женщину Ксения Аркадьевна Афанасьева. Седые волосы дымятся над ее морщинистым, когда-то, кажется, красивым лицом. «Если будете в наших местах, — сказала Ксения Аркадьевна, — загляните, я расскажу вам о сыне. Он был художником...»

Через несколько месяцев после этого разговора я отыскал ее дом — старую деревянную постройку над зеленым замшелым прудом, в котором уже ничто не отражается.

Ксения Аркадьевна показала мне письма сына с фронта и еще одно письмо из роты, в которой он, корректировщик минометного огня, воевал в звании старшего сержанта:

«Я Вам сообщаю, что Ваш сын, Афанасьев Игорь Владимирович, погиб на поле боя смертью храброго командира. Товарищ Афанасьев похоронен. Он дрался за нашу Родину. Вам дополнительно сообщат официально через военкомат. Некогда описывать. Политрук минометной роты А. Соловьев».

Мать долгими вечерами перечитывала письма. То одно, то другое, то отдельные страницы, отдельные фразы. А потом стала переписывать в тетрадь. Она хотела своей рукой заново ощутить слова, которые когда-то, когда был еще жив, писал ее сын.

Письма Игоря Афанасьева — не особый, яркий документ, запечатлевший человеческую личность во время жесточайшей войны. Обыкновенные письма солдата своей матери, негромкие, сдержанные. Но вот в описание военного быта врывается тонкая, щемящая краска, замеченная глазами художника:

«...Рано утром стоишь на краю лощины. Цветы переливаются всеми тонами. Когда вдохнешь, медово-сладкий запах заполняет ноздри, а в ушах звенит невозможная тишина. И сам себе не веришь, что идет сейчас кровопролитная битва не на живот, а на смерть...»

Или в другом письме:

«Сейчас весна. И сила поднимается. И зажигается энергия к труду и творчеству. Я стараюсь закрепить в себе наблюдаемые мною картины и образы для работы после нашей победы».

У матери сохранилось всего несколько карандашных рисунков Игоря да эскизы к спектаклю «Коварство и любовь».

Старший сержант Афанасьев сумел дойти лишь до деревни Жулебино на Смоленщине, где погиб 12 августа 1942 года.

А еще он писал:

«После войны, конечно, все мы увидимся... я горю негодованием к подлым мерзавцам, громящим и разрушающим нашу страну и ее культуру».

Он не был самым храбрым или самым опытным солдатом, но он был солдатом, на которого могла положиться Россия. Если новые и новейшие варвары посягают на Отечество, художник становится коррективщиком огня.

Александр Трифонович Твардовский написал когда-то: «Война — жесточе нету слова». И чуть дальше: «Война — святее нету слова»... О мать скорбящая! Если б тогда, в разгар битвы чудом вернули тебе сына, ты прижала бы его стриженую голову, залечила б раны, вдохнула в него жизнь и, благословив, снова пошла бы провожать его на заплаканный, запетый, заклятый вокзал войны...

Я прощаюсь с Ксенией Аркадьевной. Вот уже четверть века, как без ее сына встают рассветы, шумят дожди, проплывают облака. А она все ходит, неприка-

янная, по местам, где воевал ее сын, в память о нем где-то в глубине России ищет биографии безымянных солдат. И все видится мне ее лицо, когда-то точно красивое, а теперь, с этими морщинами и слезящимися глазами, прекрасное. И все думается:

«Доколе матери тужить?
Доколе коршуну кружить?»

ТРИ АВТОГРАФА РОМЕНА РОЛЛАНА

Александр Григорьевич Лаврик, тульский писатель, неутомимый собиратель рукописей, автографов и прочего добра для до сих пор не открытого литературного музея, попросил меня зайти. Он поднял грустные, медленные глаза, подумал о чем-то, вздохнул по поводу своей вечной замотанности, из которой никак не выберешься.

— Ты, кажется, в Ясную собрался? Отвез бы старику книги, вот эти три. А то я давно обещал вернуть их, да все как-то не получается...

— Что за книги?

Я открыл мягкую, блекло-зеленую обложку верхней из них. Надпись по-французски. Четкий, изящный, мужской почерк. Побледневшие чернила...

— Это старику от Ромена Роллана.

С Булгаковым я был знаком давно, еще когда он жил при усадьбе в Доме Волконского. Летними вечерами несколько раз слушал его живые рассказы о Бунине, о Рерихе, о Луначарском. Рассказы, поведенные на чистейшем, как бы резком литературном языке, без малейшей примеси диалектизмов и словечек разных. Этот великолепный русский язык гармонировал с внешностью Булгакова, с его белой головой, с живыми, ясными глазами, высоким ростом и много поработавшими сильными руками. Ему как нельзя лучше подходило определение: светлый старик.

Однажды мы сговорились встретиться. Был июль, и в дороге меня застала гроза с градом. Крупные белые градины густо сыпались в похолоднувшем воздухе, сухо стучали по асфальту, по деревянному крыльцу, по железному навесу... Все вокруг стало непривычно белым. А через несколько минут белое снова превратилось в зеленое. Только градины отдельными островками и полосками лежали еще некоторое время по обочинам и овражкам. А потом был послегрозовой, ясный с прохладой среднерусский вечер, с щемящей его интонацией, с птичьими голосами в распахнутом окне, с горя-

чим чаем. Валентин Федорович читал свежие страницы воспоминаний. Единство места и действия создавало необыкновенно яркие образы давно ушедших от нас. А разность во времени делала эти образы чуть-чуть волшебными, во всяком случае, для меня, — невероятными в своей обыкновенности. Мы разговаривали неторопливо и негромко. О христианской этике Толстого и о марксизме, о новом поколении интеллигенции, о колебаниях современной литературы, об итальянском неореализме. Возможен ли сейчас взлет искусства, подобный раннему Возрождению? Возможно ли возникновение писателя толстовской силы и толстовских свершений?

Говорил Булгаков вежливо, даже предупредительно, без тени снобизма. Он не махал руками, не поучал раздраженно, как некоторые люди пенсионного возраста. Нетерпение даже тенью не сквозило в нем. И чувствовались в этом крепкая сибирская порода, европейская культура и неослабевающий инстинкт жизни.

С тех пор образ Булгакова у меня накрепко связался с прохладным июльским вечером, с чаем в Доме Волконского, с окном, распахнутым в послегрозовую тишину яснополянского сада.

К моменту моего приезда с книгами Ромена Роллана Булгаков с женой Анной Владимировной жили в новом доме, построенном музеем для своих работников. Дом стоит возле поворота шоссе к усадьбе, несколько поодаль; от дома ведет тропинка, по которой быстрее добираться до белых башенок у входа, до кафе, до газетного киоска...

На парадной двери булгаковской квартиры аккуратная полоска бумаги, на которой крупным почерком: «Стучите погромче!»

— Здравствуйте, Владимир Яковлевич! — Хозяин протянул руку с обычной для него сдержанной приветливостью. Меня всегда поражала память старика на имена. Я был тогда чересчур молод, и никто до Булгакова, да и сам я, даже мысленно, не называл себя по имени и отчеству.

Старик поблагодарил за книги. Улыбнулся: «Еще еще крошки в нашем лукошке... Удивительное все-таки это создание!» Мы несколько минут хорошо поговорили о веселом человеке, о Кола Брюньоне, переполненном

острой галльской мудростью и солнечным светом жизни.

Я вспомнил об этих минутах через несколько лет, когда перечитывал роллановского мудреца и балагура, неожиданно остановившись на словах Кола, сказанных своему автору: «Малыш, ты поговоришь, когда я кончу. Во-первых, ничего занятнее ты все равно не расскажешь. Садись сюда, слушай и ни слова не пропускай... Право, мальчик ты мой, сделай это ради старика! Ты сам потом поймешь, когда будешь там, где мы... Самое тяжелое в смерти, видишь ли,— это молчание...»

Потом Булгаков заговорил о «Великих жизнях» Роллана: о Микеланджело, о Бетховене и, конечно, о Толстом. Он достал и прочел одно из писем Роллана, датированное 11 апреля 1929 года, из Швейцарии. Вместе с двумя другими письмами к Булгакову оно вошло в «Русские тетради» Ромена Роллана (переписка его с Россией), подготовленные вдовой писателя, русской по происхождению¹. Об этом Валентину Федоровичу рассказал французский профессор Жан Перюс, который побывал у него в гостях лет за десять до нашего разговора и который тогда начинал работать над книгой о Толстом и Ромене Роллане. Поэтому нет необходимости полностью приводить письмо великого француза. Однако тогда же, у Булгакова, я это письмо переписал. Две выдержки оттуда представляются мне весьма характерными.

Вот одна из них... «Я неизменно сохраняю и утверждаю свою независимость по отношению к нему (Л. Толстому.— В. Л.). По многим существенным вопросам — об искусстве, о науке, о цивилизации, о правах и обязанностях безгранично развитого человеческого разума я думаю иначе, чем он. От него я перенял прежде всего основное правило поведения, которое инстинктивно было и моим, что нельзя верить на слово человеку, как бы свят и высок он ни был».

Булгаков тоже, несмотря на страстное увлечение личностью Толстого, сохранил, а вернее, обрел свою независимость по отношению к нему. Исторический

¹ С Марией Павловной Роллан-Кудашевой я познакомился в 1973 году, когда она приезжала из Парижа в Москву. Мы беседовали о связях Р. Роллана с русской культурой и, в частности, о его добром отношении к В. Ф. Булгакову.

опыт, драма собственной жизни помогли Булгакову преодолеть силу толстовского притяжения, во власти которого долгие годы он пребывал безоговорочно. Валентин Федорович уже на закате написал книгу «В споре с Толстым». Это достойная, некрикливая книга. О мировоззрении Толстого писал Плеханов, всемирно известны высказывания Ленина по этому вопросу. В чем же смысл работы Булгакова? Он выступает как человек, разделявший многие годы мировоззрение Льва Николаевича, и поэтому, изменившись, сегодня он спорит с Толстым как бы изнутри. Булгаков анализирует идейные позиции своего учителя с общегуманистической точки зрения, ведь нельзя забывать, что Валентин Федорович начинал с «Христианской этики». Книга эта была издана на французском языке в Париже с предваряющим письмом Толстого: «...сочинение это мною внимательно прочитано, и я нашел в нем верное и очень хорошо переданное изложение моего религиозного мировоззрения. Ясная Поляна, 27 марта 1910 г.». Поэтому рассказ об изменениях в мировоззрении личного секретаря величайшего из русских писателей является документом большой человеческой, литературной и исторической ценности.

Помнятся хлопоты по проведению булгаковского юбилея — семидесятилетия Валентина Федоровича. Где его провести? Мы в Союзе писателей остановились на пединституте. Один из тогдашних «деятелей» от литературы, псевдозначительный и неиссякаемый, в недоумении развел руками: «Ну уж, право, Булгаков мог бы обойтись и районным Домом культуры... Фигура не областная, нечего раздувать». К счастью, не от этого человека зависело проведение нашего праздника.

Время от времени я перечитываю письма Булгакова, перелистываю старые записные книжки, связанные с ним. Он вел подвижническую жизнь, в Праге организовал русский культурно-исторический музей, став его директором и единственным сотрудником, собирал по Европе произведения русских художников, в Париже встречался с Александром Николаевичем Бенуа, буквально вылавливал рукописи Льва Николаевича и отправлял их посылками в Россию. Вот страничка из записной книжки, продиктованная мне Булгаковым:

«В 1948 году выслал в Россию 25 ящиков с книгами, рукописями, предметами русской старины и более 150 работ русских художников: картины Репина, 15 картин Рериха, работы Билибина, Добужинского... Все это находится сейчас в Третьяковской галерее, *в Историческом музее, в Театральном музее имени Бахрушина, в Музее Октябрьской революции СССР, в Ясной Поляне».

Валентин Федорович — щедро одаренная натура, да к тому же еще и неожиданная. Вдруг выясняется, что он и в кинематографе снимался, притом с успехом. В «Клятве» (режиссер Чиаурели), в «Трех встречах» (режиссер Птушко) и в «Сказании о земле Сибирской» (режиссер Пырьев). В последнем фильме он играл профессора Московской консерватории. Вот уж, и впрямь удивил! Сразу чувствуется, не пропало в нем сибирское первородство...

— С чего началось ваше знакомство с Ролланом?

Валентин Федорович улыбается:

— С Горького. Алексей Максимович 31 марта 1924 года написал Роллану про мою книгу о последних днях Льва Николаевича. Письмо это приведено полностью в книге Жана Перюса «Роллан и Горький». В последних числах мая того же двадцать четвертого года мы встретились с Роменом Ролланом в Праге...

Вот еще один отрывок из того же письма Роллана Булгакову, датированного 11 апреля 1929 года:

«...я не перестану защищать Русскую Революцию против отвратительного лицемерия империалистов Европы или Америки и их цепной своры...»

Человек, которому было адресовано это письмо, за все годы жизни за границей ни разу не менял подданства, оставаясь советским гражданином. Вот почему 22 июня 1941 года как советский гражданин Булгаков был арестован гитлеровцами.

Музей, созданный Булгаковым, находился в замке под Прагой, в местечке Сбраслав (теперь в этом замке филиал чешской национальной галереи). Музей открывался раз в неделю, по воскресеньям. Кроме картин, милых русскому сердцу предметов отечественной старины, автографов Льва Толстого, были там и писатель-

ские подарки музею — книги и рукописи. Иван Бунин подарил перо, которым писал.

Вот сюда в первый же день войны с Советским Союзом явились немецкий офицер и сержант. Их сопровождал чех-переводчик.

— Мне собираться? — спросил Булгаков.

— Что вы так торопитесь? — ухмыльнулся офицер. — Поговорим. Посмотрим музей.

Осмотрели деловито. Быстро. У двух-трех картин постояли с минуту, офицер что-то отметил про себя. У сержанта были дикие, бессмысленные глаза.

— А теперь поехали. Вы в течение нескольких дней будете нашим гостем.

Чех шепнул Булгакову:

— Вы как следует попрощайтесь с женой.

После «экскурсии» пришельцы словно бы подобрели. Офицер спросил, есть ли ресторан поблизости, с улыбкой предложил:

— Выпьем пива с сосисками... Я угощаю!

Булгаков отказался:

— Спасибо. Я сыт.

Постоял на улице, подождал. В дороге офицер рассуждал об искусстве. Когда подъехали к Праге, Булгаков заметил, что лица у соседей по машине сделались ледяными. Монолог об искусстве оборвался. Офицер, выходя, бросил шоферу:

— В Панкратц.

— В тюрьму? — спросил Булгаков. Офицер не ответил.

Около трех лет находился Валентин Федорович «в гостях» у фашистов, сначала в Чехословакии, затем в Германии, в Баварском концлагере, между Нюрнбергом и Мюнхеном. Не раз потом вспоминал секретарь Льва Толстого ледяные лица немцев тогда в машине и думал, что система фашизма прививает отчуждение, нежелание приблизиться к духовному миру других людей, особенно иноплеменных, дабы не размягчиться, не потерять самоуверенности и (не дай бог!) не засомневаться в самом существовании системы.

Валентин Федорович улыбается:

— Сила жизни, она часто корректирует, а порой даже изменяет наши понятия и пристрастия. Я содрогаюсь, вспоминая годы фашистского концлагеря, но вот,

знаете, без юмора не обошлось. Тридцать пять лет я был вегетарианцем. В тюрьме понял: не выдержу, решил учиться есть мясо...

Я спрашиваю, какое наиболее сильное впечатление осталось у него от тех лет?

— Окончание войны и возвращение на Родину,— отвечает он и, помедлив, добавляет: — У меня вообще в жизни два самых сильных впечатления: встреча с Толстым когда-то и вот возвращение на Родину... В это окно я часто смотрю,— говорит Булгаков.— Там березы и поля, они мне все курорты заменяют, я лечусь этим. Когда в Праге до войны я прочел первые рассказы Паустовского о родной земле — так ярко представилось все, так сердце защемило... Тогда же ему письмо отправил, да не знал, получил ли он его. А недавно (мы еще в Доме Волконского жили) проснулся рано поутру, слышу, какие-то люди со сторожем разговаривают, будто меня спрашивают. Сторож что-то отвечает. Потом мужской голос обращается к кому-то: «Пойдем, пойдем... не будем беспокоить». И женский громкий: «Вы, пожалуйста, передайте потом, что были писатель Паустовский с женой...» Я вышел, как мог, быстро. Так мы и встретились. Оказывается, Константин Георгиевич письмо мое получил...

Старик посмотрел в окно. Там в глубине лиловели прозрачные яснополянские рощи. Я видел, что ему светло оттого, что за окном эти рощи. И это чувство Родины не притупляется в нем ни на миг, не затухает и не затухнет до последнего его предела, как светлый его разум и ясная память.

Я вижу Булгакова в разные времена года, в разные дни, вижу его комнату, аккуратно заставленную книгами и папками, прозрачное окно, чистый лист бумаги... и рукописи книг (так пока и оставшихся в рукописях): «Чтобы спасти от забвения...» (о людях, с которыми встречался) и «Как прожита жизнь» (это исповедь).

По тропинке между сугробами мы добрались до шоссе. Был ветер. Завевалась пороша. Старик шел первым, прямо, едва сутулясь, подняв воротник. Он опирался на палку, нащупывая прочные места, но от помощи категорически отказывался. («Я каждый день по два раза хожу этой дорожкой, туда и обратно, один в любую погоду, так что...»). Старик упрямо шел впереди. Мне снова вспомнился роллановский упрямец Кола, его сло-

ва «Есть еще крошки в нашем лукошке», и наивная гордость за старика остро обожгла меня.

Потом мы посидели в тепле яснополянского кафе, и зимние сумерки быстро настигли нас. Какие-то разноцветные люди шумно ели поодаль. «Это, наверное, из киногруппы,— заметил Валентин Федорович,— между прочим, они здесь около двух недель, кажется, снимают сцены «Войны и мира», и никто, ни Бондарчук, ни сценарист, никто не полюбопытствовал поговорить со мной». Голос старика звучал бесстрастно, без тени досады или удивления. А я рассердился, заодно уж и на разноцветных людей, которые, возможно, и не были киношниками.

Телеграмма о смерти В. Ф. Булгакова попала мне в руки за два часа до его похорон — никаким образом я не успевал. Походил по холодным московским улицам. Белоголовое, большое лицо старика все стояло передо мной.

Булгаков заболел за полмесяца до моего возвращения из сибирской поездки. (Я все вспоминал, что делал в то число...)

Разные люди относились к нему по-разному. И это естественно по отношению к любому человеку, а тем более к человеку такой сложной и нелегкой судьбы. С ним можно было спорить, не соглашаться, но вряд ли кто-либо возьмется оспаривать в нем чувство человеческого достоинства.

В начале лета я пошел поклониться старику. Из Ясной Поляны через деревню, если пройти логом, можно довольно быстро добраться до Николо-Кочаковской церкви, где фамильное кладбище Толстых. Полевая дорога вела посевами, над которыми, провисая, тоскливо постанывали провода высоковольтных линий. Пахло горячей пылью и лошадиным пометом. Сперва боком задевало дорогу ситцевое деревенское кладбище с крестами и звездами. Потом пестрыми лоскутами теснились огородики. А затем уж толстовский некрополь. Там среди графских и княжеских захоронений у дальней стены рядом две могилы: одна ладная, с плитой у изголовья — «Анна Владимировна Булгакова», другая большая, неуклюжая, и плиту еще не успели поставить, просто насыпанная земля... А с боков, сверху, сзади — зеленый шум и молчание.

— ...Как будет прожита жизнь?

В ТАРУСУ

На сырой, потемневшей от частых дождей калитке издалека заметен белый, не успевший еще промокнуть прямоугольный листок. На нем две строчки: «Константин Георгиевич болен и никого не принимает».

Мы уже несколько дней в Тарусе. По берегу Оки вразброс рыбаки и художники. Таруса притягательна летом не только Окой, не только мягкими лесами, молочными от туманов по утрам и вечерам, но и самими художниками, писателями, музыкантами, издавна облюбовавшими эти места. Одни строят дачи, высокие и неприступные, а те, что не так удачливы, снимают у хозяев полдома с верандой, иные же довольствуются развалюхами, как мой знакомый Алексей Шеметов. Но всем здесь, кажется, хорошо. Гуляют, пишут, ловят рыбу, шумно спорят. Все время появляются откуда-то корреспонденты и опять пропадают. Тут можно случайно встретить человека, с которым года три в Москве не встречался... Таруса притягательна. Здесь по несколько месяцев кряду живет Паустовский.

Поначалу я попал в ту самую тарусскую неразбериху. Меня куда-то водили, с кем-то знакомили. И глаза не сразу привыкли к этой пестроте жестов и лиц.

На окраине Тарусы, поодаль от реки Оки, над оврагом, лепилось несколько черных хаток. Одна из них была особенно шумной, многолюдной. Это «резиденция» поэта Аркадия Ш. Мы с Алексеем пришли в самый разгар веселого спора. Хозяин почти не взглянул на нас и продолжал азартно говорить. Некоторых присутствующих я знал, некоторых видел впервые, но все они, как сказал мне Шеметов, — друзья Паустовского. И еще два молодых художника. Один коренастый, с крепкой шеей и толстыми пальцами, как шепнули мне, очень талантливый, другой — в посконной рубахе навыпуск, с чистым лицом деревенского юродивого, очень-очень талантливый. Да еще сын Ш., скульптор, худой, бородастый, бледный парень. Вся изба заставлена его деревянными разновысокими скульптурами, грубыми и лаки-

рованными, темными и чуть красноватыми, придающими избе облик адской кухни.

Идет спор о предполагаемых путях развития мировой живописи. Страсти накаляются. Хозяин дома в ярости ходит по избе. Его закопченное лицо бледнеет. Глянцевитая, гладкая кожа еще больше натягивается, и весь он кажется сделанным из желтовато-красного дерева, сродни деревянным идолам, заполнившим избу. Вот он останавливается, и его жесткие, черные волосы рассыпаются. Он машет руками у самого моего лица. Его пальцы ядовито пахнут махрой. Через минуту я уже вижу его резной профиль и глаз, поблескивающий огоньком.

Спор обрывается неожиданно. Хозяин начинает читать прекрасные стихи о звездах, падающих в черные сибирские реки, о нелегких судьбах, о добром косматом костре, о себе... И я начинаю понимать, что это — старый добрый черт из породы вечно неустроенных людей, восторженный и каждый раз заново влюбленный в какую-нибудь женщину, пустобрех и философ, старый искуситель и тонкий знаток литературы, словом, тот самый спутник, который в том или ином виде есть, кажется, у каждого большого писателя.

Хозяин читал много и хорошо. На него преданно смотрела тощая смуглая девица. Курила и смотрела. А рядом с нею сидела молодая женщина с белыми распущенными волосами, вылитая скандинавочка, с широко раскрытыми печальными глазами. У нее была нежная кожа и нежные губы, но лицо казалось каким-то странным в этой прокуренной, шумной, тесной избе. Около скандинавочки сидел, расставив ноги, губастый парень, мрачноватый, с тяжелой шевелюрой. По всей видимости, муж. Потом я понял, что она беременна, и странность ее лицу придавала оттянутая под глазами кожа.

Хозяин вдруг встрепенулся.

— Надо старика проведать,— сказал он не то нам, не то самому себе,— но всей оравой не стоит. Так человек пять, шесть... Он просил зайти.

По дороге мне почему-то запомнилась на зеленой буйной живописи лета черная графика высохшего, тонкого, как тень, дерева.

III. уверенно открыл калитку, на которой висел белый прямоугольник. Я вопросительно посмотрел на него,

— Старик очень болел этой весной,— сказал Ш.

— Тогда зачем же...

— Да нет... К нему без конца ходят всякие туристы по делу и без дела... А он сейчас не может принимать всех: устает очень.— Ш. улыбнулся.— Нам он будет рад.

Паустовскому принадлежит полдома, две больших светлых просторных комнаты с тесовыми красными потолками. Ничего кричащего. На письменном столе аккуратная стопа бумаги и рукопись. Над столом продолговатое окно, не перекрещенное рамой. Цельный чистый прямоугольник стекла. За ним широкий лес. Он тонет в мягком тумане, и верхний ярус леса кажется продолговатым облаком.

Константин Георгиевич вошел, поздоровался и, как-то застеснявшись, стал предлагать чаю. Он небольшого роста, подобран. У него сухая легкая рука. На мгновение я подумал: странно, что у него большое сердце, он совсем не похож на сердечника. Говорит негромко, смеется негромко. В нем чувствуется работник. Не молчалив, но на слово расчетлив.

Говорили о простом. Беседа была общей. Ш. сразу как-то потерялся, даже как будто потускнели краски его лица. Скандинавочка поотдадилась. И ее мрачноватый муж... Чувствовалось, Паустовский инстинктивно боится, что кто-нибудь затеет многозначительный разговор о литературе. Старые мастера не любят говорить о своей работе. Это я заметил еще у некоторых ружейных мастеров, с которыми трудился на заводе. Что о ней походя говорить! Работа есть работа. А говорить можно о цветах, о рыбной ловле, да мало ли еще о чем...

Паустовский с полуприкрытой гордостью показывал рыболовную снасть, подаренную французами, осторожными пальцами брал и рассматривал на свет, слегка поворачивал разноцветные поплавки, внутри которых находились лампочки. Во время клева лампочка вспыхивала во мгле прерывистым мерцающим сигналом. Вспоминая веселое изящество французов, он вдруг рассказал, как попал в бедный парижский квартал и как, узнав, что он русский, жители где-то отыскали и привели небритого, оцетинившегося, похожего на ежа старика, который чуть ли не во времена Наполеона был в России. Старик упирался, тарашил глаза на Паустовского и не говорил ни слова ни по-русски, ни по-фран-

цузски. Константин Георгиевич вспоминал старика и смеялся. Ему было приятно вспоминать и хотелось поделиться с нами этим приятным. Грустный и добрый свет любви к человеку исходил от него. И было так, как в лесу, когда пройдет тихий и мягкий грибной дождь. Казалось, что Паустовский просто разговаривает и не наблюдает за тобой, хотя я знал точно, что он наблюдает и многое видит. Но это не смущало, и хотелось раскрыться и пойти навстречу его волшебству.

А еще он рассказывал о цыганах, об их веселых праздниках и о том, что они («представьте себе!») ежегодно выбирают международного короля и что последний цыганский король живет у нас в Молдавии... Он рассказывал необыкновенно интересно, заражал веселым любопытством, каким-то неиссякаемым инстинктом жизни. Один раз только грустно улыбнулся и сказал как бы вскользь: «Сколько ни живи, а жить не наскучит... Все впервые». А может быть, он сказал как-то по-другому... Но мне помнится так...

Помнятся леса в туманном прямоугольнике окна. На письменном столе белая бумага и рукопись. Уходя, я успел прочесть на ней: «Книга скитаний». Прощаясь, я еще раз подумал, что он внешне скорее рыбак, чем писатель. Осторожен в движениях, аккуратен, словно боится вспугнуть рыбу.

И все-таки чем-то неуловимым в облике своем Паустовский похож на свои повести и рассказы. Он как бы незаметен, стараясь высмотреть самую глубину России и там, в сокровенной этой глубине, подслушать биение ее сердца.

...На улице мрачноватый парень, муж скандинавовки, который оказался прозаиком и которого так же, как Шеметова, звали Алексеем, сказал:

— Вот это старик!..

Внизу на Оке прогудел буксир. Меня охватило пронзительное ощущение жизни, которая была впереди: предстояло шататься по земле, плыть на плотах, летать на самолетах, сидеть в глухомани у костра, засыпать в стогу сена...

Алексей опять заговорил:

— У нас вот скоро будет ребенок, деньги нужны. Устоять надо, не халтурить. Честно надо, как старик. А ведь трудно, как старик. У него за всю жизнь ни одной обманной строки...

В адской избе Ш. опять закружилось безалаберное веселье. Опять разгорелись споры. Калужский писатель Владимир Кобликов сел за разбитое, расстроенное пианино и стал грустно наигрывать какую-то незнакомую мелодию. Я вышел на улицу. На крыльце сидели молодожены, мягко светлела льняная голова на мужнином плече.

— Лёш! — услышал я.

— Что ты?

— Страшно мне...

Я незаметно отошел в сторону. И мне вдруг тоже сделалось страшно. Во мне возникала, завязывалась большая книга, не какая-то отдельная, а одна, которую надо писать целую жизнь. И чтоб не было в ней ни одной обманной строки... Как у старика. Это очень трудно. Невероятно трудно... Смогу ли?..

Когда я вернулся, женщина сидела одна и смотрела на небо. Нежные очертания ее лица едва угадывались. Я несколько минут следил за ней. Она не шевельнулась. И снова смутная тревога коснулась меня.

А потом была ночь. Деревянные мостки. Внизу неясно белеющая Ока. Светало. Начала возникать и раздвигаться влажная туманная даль, серовато-зеленая, как вода в океане, — и в ней смутно, частями проявляться мощная лепка старого леса.

ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО МАСТЕР

Улица Петра Алексеева сплошь зеленая и одноэтажная. Здесь, в деревянном доме под номером 102, живет старый ружейный мастер, знаменитый гравер Михаил Исаевич Почукаев. Пожалуй, ни умом своим природным, ни ухваткой смекалистой, ни рукой чуткой не уступил бы он косому Левше....

Слегка покачивалось и золотилось раннее воскресное утро. Прохладный воздух быстро нагревался: июнь входил в силу. По будням в такие часы Тула деловито шумит, наполняясь людьми. Вместе с ними, несколько лет кряду, каждое утро ходил я к себе на завод. Это были годы моей юности, и потому кровно люблю я рабочее утро в Туле с его многоголосицей, с неизменными голубями, с привычными лицами и особой, мастеровой, что ли, строгостью. Люблю кремль тульский в ранние часы, его крепкую стать и сосредоточенность, знаменитые заводы на берегу незнаменитой тихой реки и весь город, который словно бы замок с секретом: не каждому дано ключ подобрать. Даже истый туляк всякий раз что-нибудь новое откроет. Ну вот хотя бы, что знаменитый шут Петра Первого, насмешник и умница, откопавший не одно жгучее слово, рыцарь бесцензурной литературы Иван Александрович Балакирев тоже туляк, а домик, в котором он, по преданию, жил, затерялся на окраине Заречья. Но это к слову...

Почукаеву за семьдесят. Хемингуэй, отмечая качества, необходимые писателю, назвал долголетие. Долголетие необходимо каждому мастеру, чтобы, усмирив нетерпение, успеть вполне закончить работу. Художник слова, или художник по металлу, или художник по дереву, не все ли равно!

Итак, открываю калитку во двор почукаевского дома. Михаил Исаевич идет навстречу. Ростом он невысок, но и не мал, слегка тяжеловат, в простой рубашке, расстегнутой по-домашнему. Голова стриженная, блеклый ежик волос еще крепок, глаза за очками выпцветшие, когда-то синие или голубые, трудно сказать, но

точно светлые, веснушки бледные, тоже выцветшие — на лице и на рыжеватых руках. Смотрит строго сквозь приветливость. И в поведении его, в каждом малом движении достоинство. С ним не боязно разговаривать, не стеснительно.

Возле дома, у самого крыльца, — летняя пристройка, похожая на киоск. Это — киоск чудес: чего в нем только нет! Здесь всевозможный инструмент — слесарный, и столярный, и граверный, крохотный токарный станок, сделанный собственноручно. Другой настольный станок, еще более миниатюрный, стоит в горнице, на рабочем столе. Здесь Почукаев, в основном, и колдует над своими микрогравюрами. Это не просто азарт, ставший привычкой, это физиологическая необходимость кожей рук своих ощущать рождение вещей вплоть до тончайшего узора, это потребность в первородстве, которая делает человека художником. И это дорого нам, потому что в вихре точных машин и сложнейших приспособлений, отдаливших нас от непосредственного соприкосновения с тем, что получается в результате труда, так необходимо услышать биение живого человеческого сердца. Может быть, неосознанно именно поэтому Почукаев не только приспособления, но даже инструмент, которым работает, делает сам. В семье старого оружейника есть потомственное клеймо с тремя буквами «Д. В. С.». Буквы эти начальные от слов: «Делай все сам». Придумано с детской непосредственностью, но во все это не детская забава. Так Почукаев и подписывает свои работы.

Собственно, микрогравюры — домашнее увлечение Михаила Исаевича, а на заводе он работал гравером, выполняя разные производственные заказы. Постичь граверное искусство, вывести самые малые секреты мастерства, овладеть начальной азбукой и то трудно было, а уж о виртуозности и говорить нечего.

— Подходим мы, бывало, с дружкой, — рассказывает Михаил Исаевич, — а то и сам подхожу к какому-нибудь старому мастеру: поглядеть надо, как он резец затачивает, и такое прочее... Значит, только глазом пристроюсь, а он локоть на верстак бух, работу прикроет, а сам ласково спрашивает: «Чего, Мишка, пришел? Как живешь-можешь?» — «Так вот и живу», — отвечаю я и пошел дальше, а он тогда продолжает...

Почукаев смеется:

— Никто тогда меня не учил, и не имелось такой привычки. Где посмотрю, где смекну, так вот и своровал свою профессию.

Мы сидим в глубине почукаевского сада, солнечные тени смещаются, преображая лицо собеседника. Я осторожно всматриваюсь в это лицо, в медленные рыжеватые руки, потом опять в лицо. И когда всматриваюсь, некоторые его слова, лишь задевая мой слух, тут же исчезают. Тогда я спохватываюсь, снова начинаю слышать и всматриваюсь теперь только в слова, и в то, что стоит за ними.

— Был у нас на заводе один мастер старый, редкие руки имел, но никаких новых приспособлений не признавал, железный человек был, все по старинке работал, но как работал, доложу вам, одно загляденье! Правда, в быстроте отставал... Помню, все приговаривал: «Где уж там за вами... Меня ведь варвар обучал (так он немца называл, под началом которого раньше работал), варвар он дурак был, вот часы мне подарил, а вы молодые все бежать норовите, не споткнитесь случаем». А время тогда горячее было. Советская власть наша только-только заступила. Мы, молодежь, приспособления разные мастерили, чтобы быстрее работать, ну и, конечно, заработок у нас иногда больше, чем у старых мастеров выходил. Вот на меня тогда кто-то письмом и настрочил, что, мол, я экономику Советского государства подрываю. Так прямо, черти, и написали, имея в виду высокий мой заработок. Письмо, конечно, глупое, но огорчений мне много на первых порах принесло, пока разобрались, что к чему... Так что натура человеческая — сложная штука, ее сразу не переделаешь.

А еще Почукаев рассказывал о том, как они с друзьями делали ружье Ленину. История это простая. В 1923 году, когда Владимир Ильич Ленин снова сильно заболел и вся страна напряженно прислушивалась к его пульсу, тульские оружейники решили сделать вождю подарок. А какой подарок могут они сделать? Ясно, лекарства нового не смастерят и живой воды не достанут, а вот ружье охотничье сработать могут. Поручили собирать его проверенным мастерам. Был среди них и Михаил Исаевич Почукаев. Задача его была скромная: нанести какой-нибудь рисунок на головной части ружья. Почукаев рассудил по-своему: Ленину пышный орнамент не к лицу, и опять же болен он. И решил

молодой мастер выгравировать на металле распущенную ветку дуба, как символ жизни, на каждом листочке чтобы прожилки видны были. И среди листьев — желуди: они еще дадут молодые побеги! Крепко верили мастера, что выдюжит Ленин, поправится, побродит с ружьем в подмосковных рощах... 17 апреля 1923 года ружье было готово. Приложили к нему и письмо:

«Дорогой Ильич!

Красная кузница, продолжая неуклонно ковать оружие для отражения нападений на Советскую землю, с сердечным замиранием следит за твоей болезнью, за течением тяжелого недуга, который нестерпимой болью отражается в душах трудящихся.

Пусть это ружье, до последнего винтика выкованное любящими руками, в самые ближайшие дни будет в твоих руках брать прицел так же точно, как за всю свою жизнь ты брал на мушку всех врагов пролетариата...»

Теперь и охотничье ружье, и письмо тульских оружейников находятся в Москве, в музее Владимира Ильича.

Почукаев рассказывает:

— Работа моя для ленинского ружья скромная была. Делали его тогда Соколов Василий Борисович, Бурмистров Николай Николаевич, Федосеев Иван Сергеевич, Пронин Василий Андреевич, братья Борисовы, Бородинский Петр Константинович. Вот кто ложу делал,— запамätовал. Граверы еще были Федоровские, отец и сын, они на крышке футляра для ружья изобразили общий вид оружейного завода. А ружейной мастерской командовал Кочетов Дмитрий Михайлович. Но вот что выходит: сейчас некоторые примазываются, на встречах разных рассказывают, как они ружье для Ленина делали. Верно, конечно, случись, и они бы могли делать, но делали-то не они. Негоже это примазываться...

Старик глянул на меня пристально, будто спросил: а в тебе-то какая порода сидит? Помолчал. И я молчал. И вчера с вечера, и несколько дней назад все тревожила меня одна и та же мысль, и беспокойно было: в чем мой смысл на земле? Работал на заводе, на стройке, стихи вот пишу, песни... Но чего-то не хватает, достоинства, что ли, прежнего, заводского, уверенности в своем деле, в его крупности, может быть?

Как работает Почукаев над своими микрогравюрами? В горнице, в правом углу от входа,—стол, лампа настольная, рядом крохотный токарный станок, о котором уже шла речь. На стеклышках и металлических пластинках размером с яблочное зерно, с горошину или чуть более, Почукаев и рисует свои микрогравюры. Делает он их, вооружившись микроскопом и резцом, на конце которого острогранный осколок алмаза. Воля мастера сосредоточена, рука, держащая резец, чутко напряжена. Глядя в микроскоп, он видит окончание резца и поверхность пластинки, увеличенные во много раз. Неуловимым движением наносятся штрихи, волнистые линии, скругления, пунктиры или пишутся буквы. Если следить со стороны — заметить перемещение руки невозможно. Она кажется неподвижной.

Так неподвижны жизнь или солнце, если наблюдать их со стороны в каждое отдельное мгновение. Пальцы живой связью содружены с резцом и как бы составляют с ним единую плоть. Почукаев думает, а не режет. Он гипнотизирует собственную волю, давая импульс зрячим пальцам своим; подушечки на пальцах, натренированные годами, сменой микроприкосновений, словно по копиру, передают резцу это движение, продиктованное воображением и волей. И на свет появляется отточенная буквочка русского алфавита, которую невооруженным глазом увидеть невозможно. Потом еще одна. Так рождается слово... На толщине человеческого волоса Почукаев помещает слова в три ряда. Адская нечеловеческая работа! Чтобы вывести несколько строк, он сидит всю ночь напролет. А работает только ночью, когда все стихает, чтобы ни одно дуновение не вспугнуло его руку. Ошибаться нельзя, потому что все испортишь: ошибку никак не сотрешь, не исправишь. Воистину, что написано пером, того не вырубишь топором.

Что может сделать Почукаев?

Он может широкую русскую песню записать на сверкающей паутинке струны. На пластинке, вмещающей не более трех яблочных семечек, нарисовать девять портретов борцов за мир с полными подписями их имен. И такое уникальное произведение человеческого искусства уже создано им...

Жизнь старого мастера, как и движение руки его, небогата видимыми перемещениями. Из Тулы не уезжал, по дальним морям не плавал, но глаза у него —

человека, повидавшего и перечувствовавшего многое. Сколько радостей, тревог прошло по его жизни, и все-народных и личных, сколько неподдельных удач посетило его творчество... Были и огорчения. Жизнь есть жизнь. Несколько лет назад он создал семь микрогравюр из жизни комсомола, год работал над ними. Послал в редакцию одной из газет. Оттуда пришел ответ: письмо, мол, получили, а гравюры, о которых шла речь в письме, почему-то еще не пришли. У мастера упало сердце: он не предупредил, а девочкам в отделе писем не пришлось и в голову, что «гравюры» транспортируются в конвертах. Так и пропали бесследно семь маленьких шедевров русского оружейного искусства.

— Чего не случается в жизни, — говорит Почукаев. — Мое же искусство против меня и обернулось непривычностью своей, а я не сообразил, что не все знают, что такое микрогравюра... Сейчас рана зажила, а раньше... Все-таки год работы в моем возрасте!..

Почукаев замолчал и посмотрел в сторону дома. К нам по садовой тропинке шел парень лет двадцати, простоволосый, в белой рубашке.

— Я запомнил сказать, ко мне ученик приехал из Ростова... Второй раз уж приезжает.

Парень был улыбчивый, не очень-то загорелый для июня, с едва заметными желтоватыми разводами на лбу. Отрекомендовался Иваном Кирилловичем Фисенко. «Сколько вам лет, Ваня?» — поинтересовался я. Оказалось, двадцать девять, но все ему дают чуть ли не семнадцать.

— А мне тоже возраста моего не дают, — похвастался Михаил Исаевич, — говорят, это от сада, а по мне не от сада, а от характера. У меня, к слову, характер внутри радостный... Некоторые вот всю жизнь в саду ковыряются, а лицо уже к пятидесяти сморщится, пожухнет...

Пора уходить: к мастеру пришел ученик... Ваня Фисенко работает на ростовском заводе «Электроаппарат». Однажды в заводской библиотеке попалась ему тоненькая книжечка о секретах граверного мастерства. Он написал письмо ее автору. Потом у них завязалась дружба. Тогда Ваня впервые и приехал в Тулу. И вот уже выполнил он сложный заказ для Армянской ССР, выгравировав национальный рисунок на ключах, которые будут дарить почетным гостям республики. На-

чальник цеха предложил Ивану поехать вместе с ним в Армению, повезти подарки, насладиться своей удачей. Иван хотел поехать, но неожиданно для самого себя попросил, в виде поощрения, командировать его к Почукаеву. И, осмысливая этот факт, я думаю: есть ли выше улада для художника, чем постижение неведомых еще тайн ремесла?

Ухожу от Почукаева по зеленой улочке. Думаю о художниках, о мастерах золотой пробы, которые не умеют ловчить, приспособливаться, приноравливаться, раболепствовать перед модой дня, но которые упрямо несут внутри огонь своего искусства и потому у некоторых своих современников слынут старомодными и скучными.

Тульские оружейные мастера или мастера палехские и мстерские, Федор Конь или Андрей Рублев, Микеланджело Буонаротти или Данте Алигьери... Как твое имя, Мастер? Но на каком бы языке оно ни звучало — непреодолимое смущение охватывает меня, я невольно отступаю и склоняю голову перед Вами, Ваше Величество Мастер!

Пишу эти строки за полночь; свежая мгла в приоткрытом окне тронулась, стала редеть. Явственно представилась почукаевская тишайшая горница. Человек, склонившийся над работой. Застывшая рука невидимо движется, как жизнь, как солнце, которое скоро взойдет.

В синем окне горит чистая раннеутренняя звезда. Напряженно работает сказочный старик, мой современник. Что за неиссякаемая жажда в нем?

СИНЯВИНСКАЯ ОБИДА

Хотя имена и некоторые детали в этой истории мною изменены, основа ее достоверна и нисколько не выдумана, как, впрочем, и сама деревня Синявино, расположенная несколько в стороне от главной дороги, соединяющей Тулу с Орлом, километрах в шести от районного города Плавска, бывшего села Сергиевского, на реке Плаве.

Некоторые шустрые умы, балагуры-домоседы утверждают, что Синявино есть то самое тургеневское село, где когда-то лепился над страшным оврагом кабачок, именуемый «притынным». В нем-то и встретились в споре знаменитые на всю округу певцы Рядчик и Яшка-Турок. В пользу этого приводятся веские доводы: овраг, существующий до сих пор, несколько дедов, которые помнят еще кабачок «притынный», куда хаживали сами, и тому подобное. Скептические умы возражают шустрым. Мол, у Тургенева-то село называется Колотовкой, а Колотовка совсем не здесь, а в Чернском районе. Балагуры-домоседы посмеиваются: в Колотовке сроду не пели, а названо село так, чтобы следы замести, писатели любят такое; а в Синявине как раз и поют до сих пор целыми семьями. И приводят фамилии: Богомолы, Пантелеевы, Рядчиковы...* Последних называют не без умысла: мол, от Рядчика эта фамилия и пошла. Тут приходит пора посмеиваться скептикам над наивностью шустрых умов. Тогда балагуры-домоседы, негодуя, достают растрепанную, с замусоленными углами книжку с размытым подобием рисунка на обложке и читают прямо из Тургенева: «В наших краях знают толк в пении, и недаром село Сергиевское, на большой орловской дороге, славится во всей России своим особенно приятным и согласным напевом».

Сергиевское с 1924 года носит новое имя — Плавск. А уж если сами плавчане признают первенство за си-

* Эти фамилии не изменены.

нявинскими голосами, Яшка-Турок «точно синявинский».

Спор этот не придуман ради красного словца. Слышал я его в разное время и в разных местах. В районной чайной, где русские мужички любят потолковать-похвастать земляками и знаменитостью своей округи, в редакции плавской газеты, в сельской школе и даже в Доме народного творчества в Туле. По мне этот спор — не спор. Однако с народной песней я знаком не наскоком, знаю ее не издали. Слышал, как поют на Орловщине, в Тульском и Калужском краях, в рязанских деревнях, под Липецком, на Владимирщине. Слышал в узком застолье Зыкину и Прокошину, сам не раз писал для народного хора. Одно могу сказать: поют в Синявине замечательно!

О самородном голосе, услышанном нечаянно где-нибудь в далекой деревеньке, лучше Ивана Сергеевича Тургенева не скажешь: «Русская, правдивая, горячая душа звучала и дышала в нем, и так и хватала вас за сердце, хватала прямо за его русские струны».

И какой бы знаменитый народный голос ни услышал ты в городе, он не произведет такого впечатления, как тот голос, который, может быть, и слегка надтреснут, но зато вписан в мягкие деревенские сумерки Подстепья, когда закат дотлевает и воздух, недавно еще розовевший, становится все прозрачней и прохладней. Послушать такой голос я в любую даль заберусь. Особенно хорошо выбраться под воскресенье в июне или в июле. Когда-то плавский учитель химии, самодеятельный композитор Александр Андреевич Мережко рассказал мне о синявинских голосах. Комната, в которой работал этот очень пожилой человек, была завалена тетрадями, книжками, фотографиями, нотами. Чувствовалось, что сюда часто приходят разные люди, садятся где попало, увлеченно говорят. Комната дышала разнообразными интересами и давней неухоженностью. Хозяин тоже был неухожен. Нездоровое, одутловатое лицо его, легкая синева, видимая в складках щек, в углах губ, частое дыхание говорили о больном сердце. Но в грузном теле жил взрывчатый темперамент. Разговаривал Александр Андреевич бурно, зажигаясь.

Сельский учитель, больной и увлекающийся человек, Мережко был организатором и художественным

руководителем плавского и окрестных хоров. Любил он эти поющие села: Молочные Дворы, Мещерино, Сорочинское и, наконец, Синявино. Добирался туда когда как: на попутной машине, на тряской, неспешной телеге, а то и пешком. На спевки приходил под вечер. Даже если дождик небольшой заладит, все равно ходил. Тяжело станет, таблетку — под язык, но без песни не мог.

— Любите редкие голоса? — Александр Андреевич испытующе посмотрел на меня. — Тогда — в Синявино! Там одни Богомолеры чего стоят: у ребят чудесные тенора, у девушек альты с бархатной окраской! А какая там девчущечка есть, совсем маленькая... Да чего говорить, поехали!.. Или пошли?..

Синявинцы — мягкий, радушный, хлебосольный народ. Не успели мы появиться у клуба, как нас обступили. Клуб без вывески, просторный крестьянский дом на две комнаты. В меньшей — библиотека. Большая — зал, где на собраниях толкуют о делах колхозных, пускают кино и собираются на спевки. Хозяйка клуба, смуглолицая, молодая женщина Анна Ивановна Соловьева, о чем-то негромко говорит моему спутнику. За общим беспорядочным разговором слов ее не слышу. Вдруг высокий худой мужик, лет тридцати пяти, с льстиво-внимательным выражением на лице и с какими-то стелющимися движениями покрывает общий шум деланно-громким басом: «Анна Ивановна, покажи-ка гостю грамоты, которые мы за пение получили». Он, очевидно, принял меня за какое-то важное лицо. Мужика тут же перебили: «Ты что, Гусь, рехнулся, не своим голосом орешь?.. Какие грамоты... Не похмелялся, что ли, еще?» Все засмеялись. «Точно гусь», — подумал я.

Через полчаса началась спевка.

— Кто с нами, кто с нами
Пашенку пахати,
Кто с нами?

— Мы с вами, мы с вами
Пашенку пахати,
Мы с вами!

— Кто с нами, кто с нами
Жито рассевати,
Кто с нами?

— Мы с вами, мы с вами
Жито рассевати,
Мы с вами!

Веселая игровая песня грянула и заколосилась многоголосьем:

— Кто с нами, кто с нами
Жито косити,
Кто с нами?
— Мы с вами, мы с вами
Жито косити,
Мы с вами!

Игровую песню сменила грустная, протяжная о несчастливой любви. Протяжную — молодецкая, удалая, а потом свадебная... Я слушал, и проходили передо мной суровые пахари и веселые косари, красные девки в продувных сарафанах и черные старухи с высохшими руками, сегодняшние комбайнеры и гармонисты, вчерашние коробейники и кудрявые, статные молодичи с неталанной судьбой. Лубочность и одновременно глубинная правда, наивность, почти примитив, и доподлинность, вся сложность крестьянской жизни в который раз слышались в народной песне.

Мережко останавливал поющих. И они начинали снова, отработывая чистоту многоголосья и звучание каждого слова. Это была работа.

Спевка кончилась. Расходились шумно. Анна Ивановна пригласила нас к себе домой. За нами увязался Гусь, пошли соседи Соловьевых — муж и жена, оба пожилые. Он в старом кителе и офицерской фуражке без ремешка, с едва различимым на ней пятиконечным следом от звезды. Жена — в цветастом платье и все еще красавица в свои пятьдесят. Хозяйка позвала и какого-то паренька лет пятнадцати-шестнадцати с виду, чрезвычайно застенчивого.

Муж Анны Ивановны на спевку не ходил. Встретил он нас без удивления, но и без особого радушия, спокойно. Пригласил в горницу. Был словно чем-то озабочен, и эта строгость не шла к его мягкому лицу, светлым глазам, всему ладному облику. Расхмурился он не сразу, все больше обращая к соседу в старом кителе и к Мережко, которому, видимо, симпатизировал. Потом стал хлопотать с женой в другой комнате. Оттуда принесли хлеб, помидоры, огурцы, лук, миску, наполненную кусками свежего, поблескивающего молодым жирком вареного мяса. На столе появилась бутылка самодельного прошлогоднего вина, скорее всего, слабого. Во

всяком случае, Гусь, увидев его, презрительно скринулся.

— А не позвать ли нам Ивана Никанорыча? — спросила Анна Ивановна у мужа.

— Погоди маленько, опосля сам придет. — Лицо хозяина посветлело, будто пелена спала с него, сделалось даже приятным.

— Кому он здесь нужен? Кадык мрачный, — бесцеремонно ввязался в разговор Гусь. — Всю обедню нам испортит.

— Ну и птица ты, Гусь! Самого с грехом пополам позвали, — с досадой сказал мужчина в старом кителе, намекая на то, что Гуся вовсе никто не приглашал. Гусь обиделся и замолчал. Мережко покачал головой. Красивая пожилая женщина с укором посмотрела на мужа, и тот растерянно заулыбался, засовестился:

— Ты уж меня прости, Гусь, я не хотел...

— Чего уж там! — незлобиво отозвался тот.

Я с нетерпением ожидал, когда кончатся разговоры и мы начнем есть, старался не смотреть на горку вареных яиц, на холодное мясо, на кисловато пахнущий деревенский хлеб.

В избу вошел высокий, нескладный человек, с тяжелыми плечами. Я сразу понял: это и есть Кадык. Точен же глаз у синявинцев, надо осторожничать, а то как бы прозвище какое не прилепили. Лицо вошедшего, закопченное долгим солнцем, выделялось исподбровным, несколько замедленным взглядом и скулами, жестко обтянутыми кожей. Впалые щеки вовсе не говорили о хвори, наоборот, вместе с кадыкастой шеей, длинными руками и этим замедленным взглядом скорее говорили о двужильной мужской силе. Вошедший держал за руку девочку лет семи-восьми с чистым, нежным подвижным личиком. Она, как видно, заволновалась, увидя сразу столько людей в горнице, легко высвободилась, словно выпорхнула, из огромной руки мужчины.

— Мамочка, а Никанорыч чего сделал! — И она протянула матери вырезанного из дерева человечка.

— Ой, какой настоящий! А ты спасибо сказала?

— Сказала, сказала! Человечек мой, человечек!.. Мы сошьем ему одежду?

— Олюшка, ты посмотри, кто к нам приехал! — Анна Ивановна глазами показала на Мережко. Девочка подошла к старику, прижалась к нему и потерялась, как

котенок. Александр Андреевич разволновался, стал громче дышать: «Ну, как поживаешь, душа моя Похлебочка?» Меня удивила эта открытая ласковость девочки, не очень свойственная крестьянским детям.

— Иван Никанорыч, наш агроном. — Хозяин первый раз улыбнулся. — Сосед...

Наконец все уселся за стол. Сначала, как водится, помолчали. Потом проклюнулся, пошел разговор. Приятно было есть, слушая этих людей, сидеть с ними рядом за столом, где никто не лишний. И даже Гусь, которого вроде бы и не звали, был в самую пору здесь, его стелющиеся движения, сладкое выражение лица, болтливый язык не вызывали раздражения, а добавляли какую-то немаловажную краску в общий портрет. Агроном до сих пор не промолвил ни слова. Несколько раз я встречался с его медленным, не выражавшим любопытства взглядом. Девочка, сидевшая между агрономом и Мережкой, ничего не ела и вела с Александром Андреевичем какую-то им двоим понятную игру, очевидно, возникшую только что. Глядя на хозяев, не очень-то уделявших друг другу внимание за столом, но с полдвижения понимавших друг друга, я угадывал те добрые, ровные отношения между ними, в которые входит любовь, потерявшая остроту первых лет совместной жизни. Зато соседи их по усадьбе, которые намного старше, являли собой иную картину, ведя общий разговор, успевали остаться в какие-то мгновения наедине, переброситься двумя-тремя словами, переглянуться. У меня мелькнула мысль, что судьба их свела недавно, что это поздняя любовь — заря вечерняя. Захотелось взглянуть в их лица. Красоту этой пожилой женщины я отметил сразу при встрече — типичную для Подстепня красоту, полную свободы и затишья, с большими глазами, с косой вокруг головы. Его же лицо было неброским, разве что махорочные, коротко стриженные усы, могли приметиться, да не то серовато-синяя, не то белесая мгла в глазах. (Вечером при свете не разобрать). Мужик он скорее всего хожалый, вот и набрел на любовь свою. Интересно, как это все вышло?.. И, наконец, по правую руку от меня сидел тот чрезвычайно застенчивый отрок, которого Анна Ивановна пригласила явно для того, чтобы он пел, и который, очевидно, привык к таким приглашениям, потому как держался во взрослой компании с достоинством местной знаменитости, хотя

скромно и даже застенчиво. Его звали Женей, и был он учеником киномеханика.

Постепенно все наполнилось ожиданием песни, во всяком случае, так казалось. И песня возникла. Я даже не понял, как это произошло. Давняя, знакомая, общая песня.

«...Ты, товарищ мой, не попомни зла...» Пели согласно, однако вели песню Гусь (у него оказался приятный тенор!) и муж красивой женщины. Голоса их мягко сливались, несколько поднимаясь над общим пением, и потому явственно улавливались в хоре. Слух мой радовался и ждал новых песен. И они были. Знакомые с незапамятного детства и ни разу не слышанные. Но главная песня еще мерещилась только, не зря же Мережко днем упоминал про какую-то синявинскую девчущечку. И не иначе, как она сидела сейчас с нами за столом... А тем временем муж красивой женщины запел одну из самых любимых моих песен. Между прочим, неосознанно я ожидал услышать ее именно от него:

...Еще косою острою
В лугах трава не скошена,
Еще не вся черемуха
К тебе в окошко брошена.

Пел он, аккомпанируя себе на гитаре. Пел мужественно и светло и, как показалось, чуть романтично. Но, может быть, это только показалось... Есть люди, очень похожие на ту песню, которую они часто и охотно поют.

— Послушай, Платонов, — обратился к нему Гусь, — сыграй эту твою...

— Романс, что ли?

— Романс, романс! — обрадовался Гусь.

— Лучше вместе чего-нибудь.

— Нет, ты один! Будя карагоды водить! — смягчая, ослабляя «г», настаивал тот.

— Чудак же ты, Гусь, никак «хоровод» не выговоришь, — второй раз с начала вечера улыбнулся хозяин. — Ну что такое «карагод»? Глупость без смысла...

— Знаю не хуже тебя, да язык сам собой складывается...

— То-то и оно, что язык твой — сам собой! — съязвил Платонов.

Фамилия эта, как и песня, которую он только что пел, странно шла к нему. Платонова все-таки уговари-

ли, и он, опять же аккомпанируя себе на гитаре, неожиданно исполнил «Я встретил вас». То ли оттого, что это было неожиданно, то ли оттого, что он пел слишком высоко для своего голоса, мне послышалась излишняя красивость в его исполнении. Конечно, он пел искренне и, видимо, очень любил слова этого романса, но иной душевный опыт мешал Платонову произносить слова так, будто это его слова, будто они только что рождены. Естественность подменилась подражанием кому-то. Красота обернулась красивостью. Проверая себя, я окинул взглядом сидящих. Лишь глаза агронома словно бы посмеивались, да Мережко пытался скрыть свое неудовольствие, остальные же смотрели на Платонова благосклонно, а Гусь даже с восторгом.

— Прямо, как в театре, еще даже лучше! — выпалил он, когда Платонов кончил. — Ты, Платоша, убей меня бог, зазя в артисты не подался...

— Это он нынче еще не в полном духе! — сказала красивая женщина, и щеки ее слегка порозовели.

— А теперя Ольгин черед! — торжественно промолвил Гусь.

— Пускай сперва Женька, — негромко, словно бы самому себе, сказал агроном.

Я насторожился. Приближалось, наступало то, чего я, быть может, весь вечер ждал.

— Женька, так Женька! Я не против, — быстро сказал Гусь и преданно посмотрел на агронома. Тот слегка поморщился и отвел глаза.

Женя встал. Аккуратненький, с галстуком, в модном пиджаке. Спросил:

— Эстраду или старое?

И застеснялся. Скулы пошли красными пятнами.

— Ты уж нам что-нибудь старое, — сказал Мережко, — Некрасова спой, Женечка!

И Женя затянул «Коробейников». Что за прелесть голос у него — русский тенор: в верха заберется и тут же вниз падает, и опять круто вверх, чисто, смело; страшно и сладко делается, аж душа замрет. Заулыбались слушатели, понимающе качал головой Платонов, агроном наклонил голову набок, застыл, даже скулы, обтянутые кожей, смягчились. А Женя пел открытым звуком, вольготно, празднично. И я никак не мог уразуметь, как у него получаются эстрадные песни. (Но чего не бывает!). Женя не противился, его просили —

он пел. Уж и не припомню всего, что он пел. Но запомнилось настроение, и стало картиной: широкое поле, парень с пшеничными кудрями, он только что простился с девчонкой и уходит куда-то. Ему надо отмахать верст десять полем и лесом... А впереди жизнь!

— Я ж говорил, Женьку на конец ставить надо! — восторженно завопил Гусь, хотя ничего такого он не говорил.

— Послушайте, — обратился к нему Мережко, — у вас ничего в роду кавказского нету? Очень уж вы гемпераментный.

— Кто его знает, сейчас все перемешалось, — махнул рукой Гусь. — Ну, душа моя Похлёбочка! — обратился он к девочке... «Почему ее все так называют?» — тихо спросил я у Мережко. Олин отец услышал мой вопрос, усмехнулся:

— Это года три назад было. Мы с мужиками на дальний покос уходили, а моя-то еду нам готовила, а Ольга, совсем тогда махонькая, ей помогала. А помогала тем, что первая пробовала. Особенно ей похлебка по вкусу пришлась. Помнишь, Ольга, похлебочку-то?.. Отдыхаем мы, значит, в тени, пока ее колокольчик не разнесется: «Душа моя похлебочка!.. Похлебочку ведем...» Вот с тех пор и прозвали.

...Встала Оля на табуретку. Разомкнулся наш стол — полукругом в ее сторону. Тишина сделалась особенная, не просто молчание, словно все ожидали издалека первый звук и боялись пропустить его. Общее волнение почему-то передалось и мне, хоть сам я Олю ни разу не слышал, да и видел первый раз.

Голосок девочки был похож на ее лицо, такой же чистый, нежный и подвижный...

Ты пчелынька,
Пчелка ярая!
Ты вылети за море...

Не слышал раньше я эту песню-веснянку в наших краях. Откуда залетела она? Кто научил девочку петь ее: Александр Андреевич или, может быть, Платонов? Или отец с матерью?.. Не запомнил я слов всех сразу (переспрашивать потом как-то неловко было), но словно золотое семечко заронилось в душу. А совсем недавно в старом сборнике народных песен отыскал я эту веснянку:

Ты пчелынька,
Пчелка ярая!
Ты вылети за море,
Ты вынеси ключики,
Ключики золотые.
Ты замкни зимыньку,
Зимыньку студеную!
Отомкни летечко,
Летечко теплое,
Летечко теплое,
Лето хлебородное!

Голосок струился тоненько и прозрачно. Теплая, живая, обнаженная радость светилась в нем. Но дело даже не в голосе. Что-то стояло за голосом, за радостью, где-то далеко-далеко, но связанное с тем, кто пел. Что-то большое, неподвижное, похожее не то на печаль, не то на нежность... Это потрясало. Но откуда такая печаль или такая нежность в этом крохотном существе?.. Сейчас, когда я вижу те мгновения, кажется, что девочка и не пела вовсе, а сама песня-веснянка с теплеющими синими глазами приходила к нам. Но тогда песня пронеслась мгновенно, как жемчужная точка, и исчезла.

И все. Девочку увели и уложили спать в соседней комнате. Я бы мог описать, как просветлело хмурое лицо агронома, как Гусь рукавом утирал глаза... Но ничего такого не помню. И не знаю, говорил ли кто по поводу Олиного голоса... Какой-то провал в памяти! Отзвучала песня. Наступило молчание. Казалось, все должно кончиться сейчас, и гости — разойтись. Смысл происходящего был исчерпан. Но никто почему-то не расходился. Беседа продолжалась. На какое-то время я потерял всякий интерес к ней. И вечер наш в эти минуты как бы переломился пополам.

...Помню, потом речь зашла о разных манерах народного пения. О том, как не худо бы встретиться в споре с Афанасьевским хором из-под Алексина («Как они старинные песни поют!») или с Песковатским хором («У них одна Аверина * чего стоит!»). Да встретиться не на областной сцене, а деревня на деревню, чтоб односельчане «поболеть» пришли, чтоб страсти разгорелись («Один Гусь чего бы творил, страшно подумать!»). И та-нец чтобы семью цветами запылал, и хоровод поплыл:

* Невымышленная фамилия руководительницы Песковатского хора.

от движения песня играет! (Раньше говорили, да и сейчас кое-где в деревнях говорят не «спой песню», а «сыграй песню»!). Рожденная в естестве, она лучше всего и видна в естестве, к примеру, свадебная на свадьбе...

— Нельзя сказать, чтобы наша манера от песковатской отличалась, как уральская от воронежской или казачьей,— раздумчиво сказал Мережко.— Однако отличается. Люди везде своеобразные живут. И поют везде по-разному: на Снежеди иначе, чем на Плаве, на Красивой Мече не так, как на Оке...

— Но, Александр Андреевич,— возразил Платонов,— вы же сами говорили, что и у нас, и в Орле, и в Курске, и на Брянщине общая манера: женские голоса стелются по земле, так, что ли... а мужские вьются высоко в небе...

Гусь одобряюще закивал головой, всем своим видом выражая восхищение ученостью соседа. Агроном же усмешливо сузил глаза, но в разговор опять не вступил.

— Поговорочку я, конечно, говорил такую,— сразу вспыхнул Мережко, и дыхание его стало отрывистым.— От слов своих не отказываюсь. Но речь не об том. У вас, к слову, характеры с ним (он кивнул на Гуся) или с Женечкой разные, да и жизнь несходная, вот вы одно и то же петь по-разному будете. А потом в каждом месте по-разному каждая песня приживалась. Вы так к ней относитесь, другие по-другому. Я ведь не лезу со своей трактовкой, я слушаю вас. Особинку вашу закрепляю. Вот и манера вам.

«Глубоко старик пашет,— подумал я.— Взять хоть песню «Белым снегом». Ее и по телевидению, и по радио хор Пятницкого поет. А на Тульской земле слушают, но поют по-своему: протяжнее, строже».

— Или голоса, к слову сказать,— продолжал Мережко.— В какой деревне какие уродились цветики, такие и в букет собираем. Из-за моря не привезешь. Тут мужские голоса сильнее, там женские. А в иньй деревне подголосье любят...

Было уже поздно. Пора устраиваться на ночлег. Но на столе появились новые бутылки, а в руках у Гуся выдавшая виды гармошка. Анна Ивановна с улыбочкой, как-то невсерьез, завела частушку. Надо признаться, не люблю я частушек на местные, злободневные темы. Не знаю уж почему, а не люблю. А тут еще устал. Однако Гусь, разгорячившись, вовсю наяривал на гармошке, и

не только подыгрывал Анне Ивановне, но и сам пел. Тут, надо сказать, Гусь выказал большой талант. Он именно не пел, а играл частушки, юродствуя на разные голоса — то густым, низким, то высоким, почти бабым, мастерски менялся в лице, изображая каких-то людей, очевидно, хорошо знакомых большинству сидящих, потому что они покатывались со смеху. А Женечка даже слезы из глаз вынимал углом цветного платочка. Встала жена Платонова. Мягкая власть ее движения тотчас же передалась музыке в руках Гуся, и я почти въявь увидел, какая она была пригожая лет десять назад. Женщина прошла и низким грудным голосом вывела не очень складную частушечку о житье-бытье синявинцев, где, между прочим, упоминался и агроном. Я глянул в его сторону: он сидел, устало опустив плечи, усмехался. Жена Платонова затеяла новую частушечку о том, что молодым мужикам негоже в бобылях ходить. И опять же агроном упоминался. Частушка была не злая, заботливая даже.

— Машенька,—останавливая ее, позвал Платонов,—всех частушек не перескажешь, поздно уже.

Гусь остановил гармонь и с досадой, отдельно так сказал:

— Ирниковый ты, Платоша.—И тут же поправил себя:—Страсть какой ревниковый! Дай бабе поиграть-то хоть...

— Что? —слегка бледнея, стал подниматься Платонов.—Я тебе покажу сейчас ирникового...

— Ну мне пора! —деловито сказал Гусь.—Спасибо за угощенье.

— В самом деле, пора! —поддержал его Мережко, улыбнулся.—Тароватому хозяину слава! И хозяйшке его слава!..

Все стали расходиться. Александр Андреевич остался у Соловьевых. А я пошел ночевать к Платоновым.

Я попросился спать в саду: у Платоновых стояла там лежанка. «Хорошо выпитесь под черемой!» — сказала хозяйка и пошла в дом. Мы с Платоновым сели на лавочку. Он закурил. Хотелось о многом порасспросить его, но я ждал, чтобы он заговорил первым.

— Чистая ночка какая! И теплая,—сказал Платонов.

— Хоть до утра гуляй! Самое время...— попытался я зацепить разговор. Между прочим, ночной воздух, и правда, смахнул давешнюю усталость.

— Помолоду оно, конечно, можно,— отозвался Платонов и замолчал. Хозяйка прошла в сад устраивать мне постель. Вернулась.

— Ты ложись, Маша, мы посидим маленько,— сказал ей Платонов. «Значит, разговор будет»,— мелькнуло у меня. Но разговор никак не получался. Все-таки Платонов переждал меня.

— А почему Гусь был недоволен, что агроном придет?— наконец, спросил я.

— А потому, что они с Кадыком не любят друг дружку. Кадык, он как лошадь тянет, а Гусь, того, слаб в работе. Кадык с него однажды такую стружку снимал...

— А-а!..

— Да. Потом характеры у них обратные: Гусю хоть плюй в глаза, ему все божья роса...

От Платонова я узнал, что Гусь — неприкаянный в Синявине человек. То за одну работу брался, то за другую: и счетоводом был, и на ферме работал, и в пастухах ходил — получал натурой с каждого двора, да все что-то у него не ладилось. То ли руки такие, то ли охоты нет. Умел он смолоду частушки складывать и зубоскалить с клубной сцены. И решил, что его дело — артистом быть. А другое дело ему и не делом казалось — свысока глядел, все норовил легким хлебом прожить. Заленился вконец, и частушки его никому не нужны стали. Гнать его начали с разных мест за нерадивость, и он вроде юродивого сделался. Из зубоскала превратился в угодника: всем угождает, лишь бы его не трогали. И девки, которые смолоду вокруг него вертелись, раскусили, в чем дело, замуж повыходили, насмехаться стали над Гусем. Совсем его дело плохо стало. Подобрала Гуся вдова одна лет на пятнадцать старше его, приголубила. Хозяйство у нее аккуратное и еще самогон она втихую гонит; тут его Гуталином кличут. Вот и живут они не худо, не бедно, и без Гуся в деревне ни одного праздника не обходится.

— А Кадык, он работать силен,— продолжал Платонов,— и пить здоров, но на чужбинку никогда пить не будет и вообще ничего задарма не любит, все на своей

хребтине тянет. Пьет — да, но сроду его пьяным не видели. Гусь, тот с трех рюмок бузить начинает, а этот, сколько б ни пил, тяжелеет только, да глаза совсем белыми делаются... Однако мужик он странный, никак его не пойму, вроде бы и силушка дадена, и слабина в нем какая-то затаена, как червячок в яблоке...

— Почему вы так думаете?..

— Почему? У него тоже своя история особая...

Оказывается, агроном был родом из этих мест. Трактор водил, работал комбайнером. Послали его учиться на агронома в Москву за счет колхоза. Привез из столицы жену, дробненькую женщину с кукольным лицом, хохотушку. Работал он с утра до ночи, она к сельской жизни привыкла. А в Синявине, если дождь пройдет, без резиновых сапог не выходи, особенно весной или осенью. Когда первый раз надела агрономша сапоги да пиджачишко какой-то нацепила, жалко смотреть на нее было. Встретила жену Платонова, которой доверялась, и говорит: «Иду по деревне, а сама хохочу и плачу». И в глазах у нее были слезы. Пожили они в Синявине с агрономом год с небольшим, детей у них не было. Влияние она на него сильное оказывала, все удивлялись, какой он с ней безвольный делался, на работе — как зверь, а дома — что жена скажет, то и делает, никакого своего мнения не имел. Уехали они в город, получил он какое-то большое назначение. Что уж там произошло, никто точно не знает, но вернулся оттуда через два года один...

— То ли не прижился он там, то ли супротив кого пошел, — раздумывая, сказал Платонов, — на работе корявистый он мужик... А может, с женой чего вышло, либо отказалась в Синявино возвратиться, кто его знает, сам он не скажет, а с ним не очень разговоришься... Вот ходит к Соловьевым, девочку ихнюю любит, видно, душа по теплу мается, а все бобылем живет. Бабам, да и девкам еще он нравится, мужики ревнуют... Про меня, конечно, Гусь чепуху нес, мы с женой душа в душу живем, а вот мужики ревнуют!

— По-моему, с Гусем в компании весело.

— И то правда.

Я подумал: «Нужен им Гусь!» Вот ругают его, смеются, а ведь не могут без него обойтись. Он стал частью их жизни, словно бы уравновешивая в их сознании тяжеловатую хмурость агронома. Безалаберный, конечно,

вечно ищет работку «не бей лежачего», но исчезни Гусь, и чего-то не хватать будет.

— Особенно в застолье Гусь дорогой человек, — улыбнулся Платонов. — И песню он любит, и в романсах соображает, а что он тогда про грамоты ляпнул, помни-те, чтоб Анна Ивановна вам показала, так это блажь... Врет он все, не стали бы мы из-за грамот глотку драть... Понимаете сами, жизнь сельская нелегкая, поди, заставь людей петь, ежели они не хотят... Голоса здешнему народу природой дадены, хоть рот затыкай, все равно петь будут... Сам-то я с Севера, архангельский...

— И жена оттуда?

— Нет, Маша здешняя... Там у нас совсем другая манера петь. В здешних местах веселую песню играют, как с плеча рубят, крупно пляшут, размашисто, а там плывут... Здесь бабы шустрые, сарафаны обрезают, а на Севере в длинных сарафанах петь любят, спокойнее... И песни там протяжные, и словно бы даже лежит на них туман какой... Знаете, когда стол или комод полируют — туман такой тусклый на дереве, и тает... Так бы и слушал те песни неотрывно... Да на белые ночи глядел! Недавно к родным ездил туда, посмотрел, аж внутри засосало. Я у писателя Паустовского вычитал про северные ночи, когда раннее лето... И что от тоски по этим краям сердце глухо колотится... Так прямо и написано: «Глухо колотится». Видать, тоже с наших мест.

— Нет. Паустовский не из ваших мест, он с Украины. А слова эти я знаю. И там сказано не «от тоски», наверное, а «от любви» или еще как. Не может быть, чтобы «от тоски».

— Или от любви, не помню уж. Но что «глухо сердце колотится», — точно помню. Со мной всегда такое творится...

Я подумал, что пришло самое время спросить у Платонова, как он встретил свою Машу, как возникла у них эта поздняя любовь... Мне мерещилась здесь, судя по наклонностям Платонова, какая-то романтическая история. Я понимал, что спрашивать нетактично, но любопытство взяло верх.

— А вы с Машей давно вместе?

— Давно? — удивился Платонов. — У нас уже ребята выросли, разлетелись. А почему спрашиваете?

Пришла моя пора удивляться. Оказывается, никакой романтической истории — они всю жизнь вместе про-

жили. А я-то, профессор, думал!.. Как бы ему поделikatнее ответить или соврать что-нибудь, оно легче будет...

— Понимаете, смотрел я на вас... как бы это лучше сказать: вы как молодые...

— А-а! Это не впервой слышать приходится. Неослабая у нас любовь. Странно со стороны? Однако ж так оно и есть. Приезжала Машенька в наши места погостить, я за нею и сорвался. И пошло, и поехало. Вот ведь и война была, и голодуха, и жизнь заскорузлая, и чего только не было, а жена мне по сей день желанная, на других баб никогда не зарился. Чудно, да? Оленькин отец подтвердить может, мы с ним, с Соловьевым, оба плотничаем, в разных местах бываем, я еще и столяр...

Как только Платонов упомянул имя девочки, я вспомнил ее голосок и подвижное, чистое лицо. И то, неосмысленное еще впечатление от ее пения всколыхнулось во мне... И та необъяснимая нежность или печаль, которая, не колеблясь, стояла за подвижным девочкиным голосом... Я вдруг понял, что все это время подсознательно думал об Оле. И она, именно она, занимала меня более всего... Это особое отношение к ней взрослых... Ее быстрое исчезновение после того, как она кончила петь... И, наконец (как это я не обратил сразу внимания!) никто ни разу не обмолвился ни о ее пении, ни о ней самой... Почему? Или я этого не помню?

На мой вопрос Платонов ответил не сразу... Помялся как-то (это при его-то словоохотливости):

— Олечка... она, ну как бы... болезная.

— А что у нее такое?

— Да не говорят... Чуть чего побегает, вроде бы дыханья не хватает. Сердечко, вроде бы.

Мне знакома эта деревенская стыдливость: не рассказывать, особенно помолоду, о своих хворях и несчастьях, если они выходят из ряда привычного. И словно бы боязнь жалости к себе, признания своей ущербности и еще чего-то неправомерного в кругу понятий суровой деревенской жизни.

— И Кадык вот, и мы с женой, и Александр Андреевич,—сами, небось видели, безо всякого умысла привечаем Оленьку... Кадык ей разные игрушки из дерева вырезает... Голосок ее всю душу вынимает... А может, и не за это, кто его знает, любим ее по-особенному,

и все тут... Вот остались бы вы у нас, с малость пожили, сами бы все поняли, а на словах рассказать трудно.

— Я бы с великим удовольствием, да в командировку завтра, вернее, сегодня: время-то полвторого!.. Уж и билет в кармане...

— А-а!.. Тогда после приезжайте, как раз мадина пойдет...

Живая черемуховая крыша, кое-где пробитая звездами, едва шевелилась над моей постелью. Я лежал на спине и думал о людях, с которыми свела судьба. О больной девочке, которая удивительно пела. Так вот, наверное, почему лицо хозяина было отстраненно строгим!..

В соседнем саду кто-то прошел и стал устраиваться на ночлег совсем близко от меня. Потом слышались еще шаги, осторожные... Ночь была наполнена теплой свежестью и томлением жизни, входящей в июль. Всю ночь меня куда-то увозил поезд. Он почему-то отходил от синявинского клуба в сторону оврага. Я не понимал, как же мы переедем: моста ведь нету. Мережку, Платонов и Маша махали вслед руками, а Гусь, изловчившись, прыгнул на подножку и, подмигнув, громко зашептал: «Кадыка червь точит!» Рот у Гуся был перемазан малиной. Он вдруг поморщился, и я увидел, как по щеке его ползет длинная слеза... Кто-то тронул меня за рукав. Оля! Девочка стала что-то говорить, говорить... Я наклонился к ней, но слов не услышал, повернулся к Гусю, тот, крепко вцепившись в поручни, испуганно смотрел мимо меня. Поезд набирал скорость. Я повернулся опять к Оле. Но ее уже не было. Я заглянул в тамбур, за подножку, высунувшись, посмотрел назад... Ее не было нигде. И Синявино куда-то пропало. Была равнина, огромная смутная равнина. Мчащийся поезд. И Гусь все еще висел на подножке, судорожно вцепившись в поручни...

Я проснулся, как от толчка. Ныло сердце. Почему? Вспомнил про сон. И тут же забыл: всю разгоралось утро, надо было собираться в дорогу...

С тех пор прошло несколько лет. В разных поездках своих, у рыбацкого костра или в реактивном самолете, нет-нет да и вспоминал Синявино. И словно бы малая жемчужинка, затерянная то в зеленых, то в белых пространствах Родины, возникала и светила мне.

Но выбраться в Синявино все как-то не получалось. За это время несколько раз слышал синявинский хор по радио. И ничего более о нем не знал. Зашел как-то в Дом народного творчества в Туле, поинтересовался. Сказали, что никак подходящего руководителя для синявинского хора не найдут. «А Мережко?» — «А Мережко вот уже год, как умер...». Вот так, а я ничего и не знал! Тут же решил поехать в Синявино, но опять не поехал. И лишь через несколько месяцев, по заданию одной газеты, отправился в Плавский район, в самый разгар жатвы.

Проливень с грозой опять остановил работы. Я дождал-подождал и подался на ночевку в плавскую гостиницу. Это ветхое деревянное строение о двух этажах было заполнено до отказа всякого рода командированными. Меня едва пристроили в комнатенку, где уже жили двое. Один — исключительно неприятная личность с вьедливым голосом. Другого я знал по Туле, он занимался народным творчеством. Фамилия его Крупник. Он худощав, с перепончатым носом, глаз у него круглый, как у петуха. Он меня встретил шумно и даже обнял, хотя в Туле мы знакомы были почти шапочно.

В районной гостинице — что в местном поезде: легко завязываются разные философские разговоры.

— Остарела деревня, — поморщившись, высказался представитель собеса.

Мы промолчали.

— Да, остарела! — уже с явным зацепом повторил он. — Я деревню точно знаю, и не первый год.

— Для вас она, конечно, остарела, — не выдержал Крупник. — Вы ведь по пенсионной части...

— Экой вы непочтительный, молодой человек. Что-бы выслушать до конца! Глупых бы реплик тогда не подклеивали... Я ведь о пении народном.

— О пе-ни-и?! — Щеки у Крупника порозовели. — Тогда переведем разговорчик!

— Почему это мы должны переводить разговорчик? Вы, я вижу, молодой человек...

— Пойдем покурим! — предложил мне Крупник. Мы вышли. В коридоре я спросил его:

— Кстати, как синявинский хор? Нашли руководителя?..

— Ну что вы все: «Синявино, Синявино»? Это ведь

не единственная поющая точка в области. У меня таких Синявиных...

— Какая точка? — переспросил я.

— Поющая! — в сердцах повторил он. — Да будет вам известно: синявинский хор даже лица своего не имеет...

— Что вы говорите такое?

— Знаю, что говорю... Может, когда и имел, да теперь потерял.

Я предложил Крупнику вместе отправиться в Синявино, чтобы убедиться в обратном. Он наотрез отказался.

— Пойдем, не пожалеете, — настаивал я. — К Соловьевым сведу... Соловьевых знаете? У них девочка еще поет... Оленька.

— Что за девочка? Никакой девочки не помню... Соловьевы? У меня на имена память плохая. В общем, не пойду. Там неприятность вышла...

— Неприятность?

— Ну да! Решили их в Москву на смотр везти. Меня к ним прикрепили — поднатаскать. Весна была ранняя, распутица, холод. Я из Тулы два раза в неделю ездил. А зачем, спрашивается? Через месяц вызывает меня Рябчиков в управление культуры. «Не надо, — говорит, — синявинский хор; венецкий оркестр решено послать». Решено, значит, решено. Я человек маленький...

На следующий день после полудня, сделав свои дела, отправился я в Синявино. Вот и смутно знакомые крыши показались вдалеке. Сердце забилося с замиранием.

В клубе шел ремонт. Скамейки были сдвинуты к сцене. Посередине зала лежали доски. В воздухе стоял крепкий приятный запах свежих стружек и извести. Два мужика, облокотясь на подоконник, курили в открытое окно. Спиной ко мне стояла женщина в мужской рубаше с закатанными по локоть рукавами. Она обернулась. Смуглое, знакомое лицо. Косынка по самые брови. Женщина внимательно посмотрела на меня: «Господи, какими судьбами?..» Анна Ивановна почти не изменилась, разве что взгляд строже стал. И говорила она, — хоть мы давно не виделись, а может быть, именно поэтому, — сдержанно.

— А Женечку не узнаете? — кивнула она в сторону курящих. Один из них улыбнулся и подошел. Действительно, Женечка! Тот самый, что тогда «Коробейников» пел и от голоса которого душа замирала. Но как изменился! Был застенчивым мальчиком, а тут повзрослел, стал усталым мужичком. Что с ним произошло за эти несколько лет? Этого я так и не узнал.

— Теперь в Синявине собрать хор трудно, — негромко сказала Анна Ивановна.

— Оно понятно, самая жатва...

— Я не про жатву, я вообще... Как Александра Андреевича не стало... — женщина на мгновение замолчала и снова внимательно глянула на меня, — растерялись мы малость, а потом опять на спевки собираться стали. Обещали нам в Плавске руководителя нового... А в прошлую весну, еще до грачей, прилетел к нам Крупник из Тулы. Засуетил меня: собирай певцов, в Москву поедem! А как их соберешь? Половодье! Половина на том берегу, половина на этом... Вот Платонов придет — подтвердит, как мы через Локну сообща речи держали, хорошо, что голосистые...

— Смеху-то было! — заулыбался Женечка, и у него на скулах смутно проступил прежний румянец. — Мужики баб перетаскивали вброд на закорках: на Москву прицеливались! Гусь, так тот от смеху по земле прямо стелился... Визг стоял. Авдотью Николюкину мужик в воду уронил, он кочерыжка, а она баба могучая... Что тут было!

— Было, как было, а на спевку собрались. И не единожды, — продолжала Анна Ивановна. — Но Крупник этот самый один раз не явился. И в другой раз... Пропал... Обида нас взяла: что мы — потешные? Подождали-подождали и жалобу на него в Тулу настрочили в Дом народного творчества, чтоб знали там, какой он человек... А оттуда ни привет, ни ответа. Посудите сами: перестали люди в хор ходить, такое не прикажешь... Да и зачем?..

— Не поете, значит, больше?

— Как вам сказать...

В клуб вошел Платонов. Загорелый. Махорочные, коротко стриженные усы еще больше повыцвели. Серовато-синяя мгла в глазах приветливо засветилась. Мы обнялись, расцеловались.

— Пошли бы к нам, — обратилась к Платонову Анна

Ивановна.— Муж дома... Вот кончим, и я приду... Повечеряли бы.

Мы вышли из клуба, не торопясь, направились к дому Соловьевых. Зной ослабевал, исчезал, замирая в белой пыли большака. Было хорошо в эти предвечерние часы летнего деревенского дня.

— Ну, как жизнь? — спросил я. Платонова. — Как агроном поживает? Не женился ли?

— Агроном-то?... Теперь у нас новый. А Кадык опять в город уехал. Приезжала его краля, пожила немного. Он через полгода и уехал...

— А Гусь?

— А Гусь... что ему сделается... А вот душа моя Похлебочка померла.

— Как померла?..

— Так и померла. Дыхание совсем трудное сделалось. Чуть что — задыхается... Возили ее в Тулу в больницу, там велели в Москву везти, направление дали, что-то у нее в сердечке, порок какой-то был особенный. Кровь, что ли, разная смешивалась... Надо было операцию прямо в сердце делать. Не повезли Олю, не решились. Жалко было: махонькая. Решили, сколько отпущено, столько уж и отпущено... Последние дни совсем почернела.

— И давно?

— Давно уж...

Я стоял, ошарашенный, посереде Синявина. Избы на взгорье, колодезный сруб, теленок, неподвижно уставившийся в пространство, овраг внизу, лицо Платонова — все приобрело жестокую ясность очертаний. Обнаженное, сложное чувство охватило меня... Нет, не скорби, а чего-то еще...

У дома Соловьевых забеспокоились гуси. Пригибаясь к земле, потянулись к нам их холодные змеиные шеи. Неприязнь колыхнулась во мне к этим стелющимся шеям, к этим пыльным тяжелым туловищам...

Пригнувшись, мы вошли в избу. В ней было прохладно и тихо. Хозяин поднял голову от стола, поздоровался:

— Заходите, заходите.— Пристально посмотрел на меня.— Слыхали про Ольгу-то нашу?

Я кивнул. Он заморгал, отвернулся. Полез в буфет, поставил на стол графин, до половины наполненный. Мы выпили по четверти стакана. Он стал рассказывать

то, что я уже знал. И о том, что они с Нюрой еще тогда решили второго ребенка заиметь: девочка-то хвора. И о том, что вот у них мальчишка теперь растет, и здоровенький он, а все Оленьку забыть не могут... Как только он упоминал имя девочки или называл ее «душа моя Похлебочка», веки его начинали краснеть, вздрагивать, и он выбегал в соседнюю комнату. Через минуту возвращался, опять начинал говорить. Пришла Анна Ивановна, нахмурилась, но ничего не сказала. Он бросил глуховато:

— Ты, мать, приготовь нам... а мы с гостем пройдемся малость.

Платонов пошел к себе, как сказал, минут на пяток. А мы с хозяином отправились посидеть на бревна: место, очевидно, излюбленное в Синявине и предназначенное для посиделок. Это домов за шесть от Соловьевых.

Мы сидели долго. Говорили редко. Молчали. Пришел Платонов, сел рядом. Было тепло. Сумерки перерисовывали все мягкими очертаниями. И, как ни странно, душа поддавалась этому обману. Платонов о чем-то философствовал. А я вспоминал, как впервые с Александром Андреевичем пришел в Синявино и как в клубе многоголосно звенело и колосилось:

Кто с нами, кто с нами
Пашенку пахати,
Кто с нами?

Люди отдыхали, намаевшись за день. И стояла тишина по деревне. Безлунье. В черном небе разгорались пшеничные зерна. Но что это?.. Где-то в самом конце улицы забрезжила песня... Или это показалось?.. Нет, точно поют. Что за песня, еще и не разобрать даже, но голоса приближались. Кто-то подошел к бревнам, спросил:

— Слушаете?

— Слушаем,— как эхо, отозвался Платонов.

ПИСЬМА С РАСТЕРЯЕВОЙ УЛИЦЫ



«В г. Т. существует Растеряева улица». Так начинается книга Глеба Ивановича Успенского «Нравы Растеряевой улицы».

Вернее, как таковой Растеряевой улицы не существовало. Была Никитская. Но, по всем достоверным источникам, именно эта Никитская с впадающими в нее улочками и закоулками явилась для Успенского прототипом Растеряевой улицы (разумеется, с последующим обобщением). Теперь она носит имя соратника Ленина, первого председателя ВЦИК Свердлова.

Вот на этой самой улице, в доме под номером сорок два я и прожил несколько лет своего детства. Только что отгремела Великая Отечественная война. Время было суровое. Страна поднималась из разрухи. Тень горя стояла почти над каждым двором. Но детство брало свое. Школа. Первые книги. Голуби над утренними крышами...

И вновь я на улице своего детства. Не день и не два прихожу сюда: прихожу в разное время. Постепенно передо мной сквозь дома, сквозь характеры и лица людей проступает одно лицо. Сегодняшнее лицо улицы. Возникает потребность заносить отдельные штрихи в блокнот. Какую форму придать этим записям? Что это будет — очерк, размышления, невыдуманные рассказы? Может быть, условно назвать эти записки «Письмами», но лишь условно?

Возвращение на старую улицу, встречи с людьми, беседы — все это открыло передо мной повседневный поток жизни, в котором без конца изменяется людская психология. И сам я, возможно, в чем-то изменился за это время.

Новые города и новые широкие проспекты поражают, конечно, воображение. Но никуда ведь не денешь и эти исходящие из глубины веков улочки и переулки, которые перестраиваются еще очень медленно. Я вот многих на этой улице знаю: у кого в гостях чай пил, с кем рюмку опрокинул, с кем просто так словом у ворот

перебросился. Может быть, я и не написал бы этих «писем». Но улица все больше изменялась. Она стала важнейшей осевой магистралью, по которой без конца тянутся машины на Новотульский металлургический и в город химиков — Новомосковск. Многоэтажные корпуса, теснясь, заполняют пространство. Скоро и не сможешь восстановить очертания, сколько-нибудь напоминающие прежнюю улицу. И многие ее жители переехали в новые районы, получили квартиры на Красном Перекопе, на проспекте Ленина, на улице Мира... И даже нумерация домов сильно изменилась. Вот я и решил записать все, что увидел и услышал на улице своего детства. Ведь совсем скоро исчезнут с нее последние деревянные домишки. Уйдут и те свидетели старины, чья жизнь многообразно менялась и чье живое слово не сохранится в архивах.

Хочу предупредить: написанное ни в коей мере не претендует на глубинные социальные исследования, но, может быть, явится сегодняшним комментарием к знаменитой книге Г. Успенского.

Письмо первое

ВОЗВРАЩЕНИЕ НА УЛИЦУ ДЕТСТВА

Верчу головой направо и налево, будто раньше я здесь сроду не бывал. Майский вечер после дождя. Прозрачные деревья уже охвачены легким зеленым дымом. Еще не скоро зажгутся фонари. Над мокрым асфальтом, над разновысотными крышами, над паутиной телевизионных антенн слегка подрагивают весенние сумерки. Какая-то девчонка стоит возле дома, где я жил. В сиреновом коротком пальтишке. Погрустила с минуту и убежала куда-то.

Улица, как река, начинается с истока.

Свердлова, 1. Под этим номером — два здания. Тульский горком партии и областной Дом политпросвещения.

Чуть подальше голубеет купол нового цирка — свещающегося дворца из стали, камня и стекла. Купол поблескивает над крышами старинных домиков. С другой стороны, почти напротив цирка, — уходящие в глубину до самой Оборонной улицы новые дома, там же — свет-

лое многоэтажное здание школы-интерната. И опять каскад деревянных одноэтажных и двухэтажных домиков. Некоторые смешанные: первый этаж белокаменный, второй — деревянный, темный, уже слегка подгнивший. В ином деревянном доме кошка в окошке; неподвижна, как изваяние. Вечерами возле ворот стоят старухи в строгих платках и о чем-то судачат. А мимо, тяжело рыча, идут бесконечные грузовики.

В верхней части улицы с разных сторон — кондитерская фабрика и большое желтое здание бывшей семинарии. У этого здания сложная судьба. Когда семинария была распущена, здесь размещалась артиллерийская часть, потом пулеметное училище, потом Суворовское, а теперь школа-интернат. Гуща деревянных домиков с приусадебными садами редет, постепенно превращается в цепочку.

Здесь, где улица Свердлова, сливаясь с Оборонной, впадает в загородное шоссе, стоит, поблескивая куполами, церквушка Двенадцати апостолов. На церквушку надвинулся огромный многоэтажный район, заселенный оружейниками, — Красный Перекоп. Рядом с ним — новый трамвайный парк.

Я иду по улице своего детства. Мой попутчик — старожил этих мест и мой давний знакомый Николай Николаевич Мелиоранский. Большой, широкий в кости, с красиво посаженной головой и удивительно легкий на ходу человек, несмотря на массивность и преклонный возраст. Он солист Тульского государственного хора. У него роскошный бас и какая-то особая ласковость в обращении. Смеется — грохочет, как будто камешки в горле перекатывает.

— Послушай, — говорит он мне, — я полстраны с хорм нашим объездил. Каких только улиц не видывал, аж дух захватывает! А все на нашу улицу тянет. И не только потому, что привычка, — глубина у нашей улицы имеется.

Мне не терпелось попросить Николая Николаевича свести меня со старожилками, от рождения живущими на этой улице. Хотелось непременно посидеть в их кругу, не мешая разговору, послушать их. Но такое не делается сразу, и я смолчал.

— Вон видишь, — указал Николай Николаевич, — на соседней улочке, на Пионерской — раньше она Сушкинской называлась, — вон видишь белая церковь. В ней

теперь Государственный архив размещается. Сходил бы туда, в глубину нашей улицы заглянул, в самый ее старинный корень... А без корня никак нельзя, сам понимаешь.

Я отправился в архив.

Перелистывая в архиве пожелтевшие страницы газет и книг, я опять увидел (только мысленно) улицу своего детства.

...Ствольная, Штыковая, Дульная, Курковая! Это названия тульских улиц по профессиям их жителей (хорошо, что никому не пришло в голову переименовывать их!)*. Эти названия звучат как песня работному люду, песня оружейному мастерству и смекалке.

А была и есть в Туле улица, на которой жили перемежку оружейники, гармонщики, самоварщики... А еще стояли на ней кабаки и трактиры. Великое множество характеров и профессий скопилось на этой улице — нельзя было ее назвать по какой-нибудь одной профессии. Когда же Глеб Иванович Успенский с беспощадной, горькой силой своего таланта изобразил быт, нравы, характеры ее и Никитская улица стала Растеряевой, жителей этой стороны стали в Туле кликать растеряевцами. И хотя растеряевцев по всей Руси было когда-то немало, это прозвище прилепилось именно к тулякам, живущим в той стороне. Было в нем что-то обидное, насмешливое, определяющее глухую беспробудность, пьянство и нищету старых русских захолустьев.

В непролазной пыли летом, в непролазной грязи весной и осенью улица упиралась одним концом в болото, где время от времени тонул воз вместе с лошадей какого-нибудь нерасторопного крестьянина, который приехал в город на базар и, захмелев, на обратном пути ночью, не зная подробно проезжих мест, попадал в трясины... Темень, хоть глаз выколи. Из кабака с шумом вываливаются мастеровые и неверными шагами идут куда-то. А на другом конце улицы кого-то грабят. Ставни в домишках пугливо заперты.

В блокноте у меня появились выписки из старых книг.

Вот несколько строчек из «Нравов Растеряевой ули-

* Переименовали все-таки одну: Литейную улицу, где жили дятухи (медного дела литейщики) в улицу Теплова.— Ред.

цы»: «С крыш лил дождь; где-то вдали с легким гулом вода била в пустую еще кадущку.

— Господи,— шептал Порфирыч.— Сохрани и милуй раба твоего!

Лил дождь.

— Ка-арра-у-у-ул! —бушевало где-то далеко».

И на этой же странице, немного ниже:

«Горе по горю»,— говорит пословица, а, стало быть, и в Растеряевой улице все по-старому. Только вид ее и физиономия изменяются сообразно временам года... Растворилась грязь, настала непроходимая топь, и отовсюду навалилась какая-то непроглядная тоска... Ежатся обыватели и устами старух говорят: «Господи! Хоть бы зима поскорей!»...

Но вот начались крепкие утренние заморозки; подошел Варварин день, и повалил пухлый, рыхлый снег... из-под которого, словно лица мертвецов из-под савана, смотрят черные, гнилые, полуразрушенные растеряевские лачужки...

— Эка стыдь, эка стыдь,— твердят старухи, кутаясь на холодной печи.— И когда это только весна придет!..»

Приходит весна, и все начинается сначала. Зловоние и грязь. В мутных потоках несется все, что выкидывалось на улицу зимой и было прикрыто снегом.

Отец писателя Вересаева — санитарный врач Викентий Игнатьевич Смидович — издал в 1880 году санитарно-экономический очерк о Туле. Я просматриваю эту блекло-зеленую книжицу, приобретшую особый архивный запах и цвет. Вот место о городской свалке нечистот: «Нет и речи о том, чтобы эти кучи и самую яму посыпать от времени до времени известью, землю или чем-нибудь подобным, поэтому поднимающиеся здесь испарения частыми западными ветрами заносятся в город и заражают воздух... С первыми весенними днями, при первом хорошем дожде вся эта масса нечистот возвращается обратно в город и осаждается на улицах».

К пьянству, нищете, бескультурью добавлялись эпидемии. В Растеряевской стороне (улицы Подъяческая, Никитская, Воронежская и т. д.), сплошь заболоченной и немощеной, с особой силой разгуливали лихорадка и малярия. По свидетельству того же В. И. Смидовича, они составляли 18 процентов всех остальных болезней.

Вглядываясь в глубину времени, я искал факты. Их суховатый лаконичный язык мощнее самих красочных

рассуждений. Пусть читатель простит меня еще за несколько выписок, теперь уже из газет, некогда издававшихся в Туле.

«ГУБЕРНСКИЕ ВЕДОМОСТИ» № 27 за 1864 год. В разделе «Местные известия» сказано: «В губернии умерло от пьянства:

в 1861 г.—73 человека,

в 1862 г.—93 человека,

в 1863 г.—176 человек.

...В последнее время от пьянства умирают уже люди, полные сил, женщины и даже дети». Газета делает вывод: «Причина этого усиления смертности, по мнению нашему, заключается единственно в изменении существующей системы продажи водки».

В начале нашего столетия стала выходить газета «Тульская молва». Ни одного дня не проходило, чтобы она в разделе «Происшествия» не напечатала объявлений о пожарах, грабежах, эпидемиях, смерти от пьянства, о подкидышах, самоубийствах. Добрая часть этих происшествий падает на Никитскую и прилегающие к ней улицы.

«ТУЛЬСКАЯ МОЛВА», 22 марта 1909 года:

«20 марта, около 11 часов вечера, на проходившего по Никитской улице... мещанина Семена Ефимовича Ковалева напали двое неизвестных и ограбили его...»

Через день — объявление о дневном грабеже в этом же районе, еще через несколько дней — «о попытке ограбить казенную винную лавку № 27 на Никитской улице...»

И так без конца!

Читаю документы и меня обступают кошмары скуки, грабежей, нищеты, пьянства. Становится невмогуту сидеть в архиве. Я вышел оттуда, как из глубокой шахты. Солнце ударило в глаза. Я отправился к своему старому знакомому.

— Николай Николаевич, — сказал я ему, — вы сможете меня познакомить с кем-нибудь из прошлого? С живым растеряевцем?

— Конечно, смогу, — с басовитой ласковостью ответил он. — Еще как смогу. Вот хотя бы печник у меня знакомый есть. Ионов... Завтра дождемся, или сегодня к нему?..

И снова мне показалось, что у него в горле перекашиваются веселые камешки.

ПЕЧНИК ИОНОВ

Алексей Федорович Ионов, щуплый мужичишка в простой русской рубаше, в ржавом картузе, слегка сдвинутом набок. Небритый. В очках. За стеклами поблескивают умные глазки. Видать, мужик — дока! Встречает он нас во дворе, придерживая в руках рыжую, азартную собачонку, чем-то до смешного напоминающую хозяина. «Здравствуйте! — раздается сквозь заливистый лай. — Да заткнись ты, треклятая! Проходите...»

Мне очень интересно и даже как-то неправдоподобно вдруг увидеть человека, помнящего времена, описанные Успенским. Я смотрю на него, он на меня.

Любопытство так и прет из Ионова: кто я и зачем пожаловал? Не печку ли починить? Но он сдерживает любопытство и обращается к моему попутчику:

— Уж лето больно-то жаркое, Николай Николаевич.

— Жаркое, дорогой мой, жаркое...

— Огурчик-то посóх, глянь на грядки!.. А без огурчика какая она, выпивка!

«Этот придураться будет, — мелькает у меня. — У него язык не сразу разматается».

Предчувствие не обмануло. Ионов делал вид, что не понимает, о чем я его спрашиваю.

— Что было — бывшем поросло, — приговаривает он, — память у меня никудышная сделалась.

Входим в дом. В углу сидит жена Ионова, Василиса Емельяновна, большая полная женщина, с усталыми глазами многодетной матери. Загорелый парень в майке читает какой-то роман. И девушка, совсем молоденькая, торопится уйти.

— Вот знакомьтесь, хозяйка моя, — Ионов делает широкий жест. — Детишек мне полон стол насажала! Одно слово — героиня, медаль имеет... А детишки-то у нас, как грибы после дождя: один за одним, один за одним...

— Будет насмехаться-то, Алексей Федорович.

— Не обижайся, мать, это я к слову...

— Это, наверное, самые младшие? — обращаюсь я к Ионовым, указывая на парня и девушку.

— Галинка младшенькая, с сорок второго она, — от-

кликнулась Василиса Емельяновна,— а Саша не сын нам, Пешков его фамилия, другой нашей дочери муж. Из Киргизии погостить приехал. А Галинка с самого Сахалина прилетела, учительницей она там...

Из разговора, который разматывается медленно, как бы нехотя, узнаю, что дети Ионовых разлетелись-разъехали по всей стране. Работают на заводах, в больницах, на стройках, в школах. Теперь уж и внуки у стариков Ионовых подрастают.

— Дед-то мой,— говорит Василиса Емельяновна,— всю жисть по земле ходил, а на старости лет расхорохорился, разлетался, как словно бы крылья заимел. Недавно в Киргизию летал — детей и внуков наведывал. Нынче на Сахалин собирается... Меня уж с места не сдвинешь, а он хоть бы что!

Ионов откликается не сразу, а откликнувшись, говорит как бы самому себе:

— Разъехаться-то наши детки разъехали, но помнить они должны крепко, что корешок их в Туле, на этой самой улице... что отец их, Алексей Федорович,— печник... Да, да, почти все печи в округе поставил, а починил уж точно все.

Тут в самый раз вступает в беседу Николай Николаевич:

— Это верно, Алексей Федорович. У кого что не ладится, к тебе идут: «Не откажи, Федорыч, посмотри печку». — И, уже обращаясь ко мне, Мелиоранский продолжает: — Он, как врач, обстукает, обслушает ее и диагноз безошибочно поставит и вылечит.

Ионов довольно улыбается.

— Сейчас, правда, газ и все прочее, но на мой век и печек хватит, так что руки наши еще нужны людям. Стало быть, списывать нас со счетов рановато.

«Тебя спишешь,— думаю я,— черта с два, ты сам кого хочешь спишешь».

Ионов разохотился на слово, перестал приbedняться. Наконец-то! (Прошло два часа после нашего знакомства).

— Вот, сказывают, звезда какая выпадет,— говорит он, и в голосе у него задиристые нотки,— повезет, из рабочего директором сделаешься да еще и «Москвича» по лотерее выиграешь... А я никогда по лотерее не выигрывал, был рабочим и помру рабочим, и карьера моя вроде никуда не двигалась... Ан врешь! У меня рабо-

чая карьера и слава, знаешь какая: другой директор позавидует.

— Ты что, отец, с утра выпил, что ли? — вставляет Василиса Емельяновна. — Ишь расхвастался.

— Обожди, мать, дело говорю, я ведь не о себе только... Твердят часто: руки золотые, а ведь руки эти самые добыть надо. Двенадцати лет меня привели в город к печнику учиться, сказали: вот колодец, вот глина, вот песок... С этого все и началось. Понятно, сынок? И пошло, и поехало... Тогда на мастера экзамен, не то что сейчас, — через шесть месяцев: шесть лет в подмастерьях ходишь, и то мало... Да если вам рассказать все, что за эти годы случилось, недели и то не хватит, я вот нигде особенно не учился, а книги страсть как люблю, и чтобы с передышкой, с разумением...

— Да, читать он мастак, — Василиса Емельяновна улыбочиво и гордо смотрит на мужа, — встает до света, уйдет на кухню и читает книги и газеты разные...

— Это точно, старуха не соврет. Всю жизнь против загибов и мне загнуть вот самую толику не дает. А через книги разные я, как это, атеистом сделался. Правда, и случай такой со мной приключился еще до революции... Рассказать, что ли?

— Конечно, рассказать.

— Ну, идем, значит, мы с мастером Рябчиковым, Александром Платонычем, полями из Ревякина в Руднево — в церкви печи ставить. Все на себе: шайки, кирочки, молоточки, постель несем. А подмастерью знаешь как доставалось!.. Раньше в мастерские через водку принимали, а теперь не то. Вон Константиныч по соседству живет, он и сейчас все норовит!.. Да, значит, приходим мы в Руднево...

— А кто такой Константиныч? — спросил я.

— Константиныч! А я разве чего говорил про Константиныча? Ты слушай дальше... Заходим, значит, в церковь. В церкви звонко. Боялся я тогда и бога, и святых, и попов всех... Иду по церкви, а святые глядят на меня... Так и кладу крест-накрест. А потом послал меня Рябчиков глину разводить. Слышу шум. Вхожу в церковь на цыпочках. А Рябчиков в цене с попом не договорился и кричит: «Ишь, длинногривый, пузо себе отрастил! Куда пятнадцать камней из оклада сперли?» У меня волосы дыбом встали. Думаю, сейчас бог их покарает... А потом, сделав дело, мы с Рябчиковым домой

возвращались, и он все над попом надсмехался. С того дня я и сомневаться в этих попах стал.

Так и живет в растеряевской стороне со своей супругой Алексей Федорович Ионов, рабочий человек. Сотни печей поставил, и все отменно работают. Знает, у кого какая печка в округе, у кого стоящая, у кого нет, и кто с кем ругается по всей улице. Детей поднял. Всегда в курсе мировой политики. Все знает. За стеклами очков поблескивают хитрые глазки...

Прощаемся. Ионовы приглашают заходить, в саду посидеть, чайку испить; не торопясь, о многом поговорить. «Второе знакомство — не то что первое!» — посмеиваясь, говорит Алексей Федорович.

Дом Ионовых числится под номером 73. Рядом, в здании бывшей семинарии, расположена школа-интернат № 3. Я прощаюсь с Мелиоранским и захожу в школу. Сейчас лето, и в проходных коридорах необычно тихо. Слышу гулкое эхо собственных шагов. Интересно, кто-нибудь из жителей этой улицы работает в интернате?

Навстречу идет загорелая девушка. Она оказывается воспитательницей, Зинаидой Николаевной Еланской. От нее я узнаю, что ребята в летних лагерях и здесь сейчас только те, кто поступает в институт. Кто из учителей живет на этой улице?

Костина Луиза Александровна. Ее адрес: Свердлов-ва, 95.

У дома, где живет Костина, стоят высокие пирамидальные тополя. Таких тополей не встретишь на всей улице, да и во всей Туле вряд ли сыщешь. Давно уж я замечал этих стройных красавцев и все думал, откуда они попали сюда? Что за любитель посадил их возле своего дома?

Постоял я, полюбовался на тополя, но в дверь не постучал и калитки не открыл. Что-то удержало меня, может быть, эти самые деревья... Приду как-нибудь в другой раз, на сегодня хватит.

КОСТИНЫ

Дверь открыл седой старик с морщинистым загорелым лицом. На меня глядели младенчески чистые глаза. С минуту я вспоминал, что надо у него спросить. Никак не мог оторваться от этих глаз и от морщин.

Луизы Александровны не было дома. Она оказалась невесткой старика — женой сына Евгения. Старик отрекомендовался Владимиром Степановичем, пригласил в сад, угостил яблоками и ушел в дом. Я хрустел яблоками и осматривал деревья, ожидая, когда он вернется. Яблоки были сочные, отборные. «Сад здесь отмечен особым вниманием,— подумал я.— Скорее всего, старик имеет к этому прямое отношение». Он вернулся в свежей бедой рубаше с расстегнутым воротом. Каждый едва уловимый жест его был проникнут радушием и прямотой. И я не стал мудрствовать лукаво, а сказал напрямую, мол, так-то и так-то: раньше жил на этой улице, потом, много позже, узнал, что она — прототип Растеряевой, и потянуло меня любопытство на старую свою улицу, захотелось заново всмотреться в нее. Но ведь не придешь так к людям с бухты-барахты и не скажешь: «Здравствуйте, я ваш бывший сосед!...». Вот и приходится так ниточку тянуть — от знакомства к знакомству. Старик отнесся к моему рассказу серьезно и, судя по всему, доброжелательно. В разговоре пошел навстречу. Немного погодя я спросил его:

— Владимир Степанович, за садом вы ухаживаете?

— Я, сынок... Уж и не припомню, когда к садам пристратился.

— А пирамидальные тополя у дома?..

Старик как будто только и ждал этого вопроса. Просветлел, сказал, какие они красивые, подбористые, крепкие. На дом не ложатся, а от солнца закрывают и от пыли берегут. Старику их с Украины еще до войны 25 штук привезли. Он их у дома посадил, знакомым роздал. С тех пор много уже лет во все двери стучится, доказывает преимущество пирамидальных тополей.

— Наверное, за чудака считают,— глуховато говорит Владимир Степанович.— А я ведь не первый год с деревьями дело имею. И новые сорта даже пробую выращивать.

Оказывается, Владимир Степанович вывел свой сорт груши. Плоды получились до 300 граммов веса! Скрещивает он и яблоньки и вот уже третий год выводит из семян новые сорта флоксов. Ему семьдесят четыре года. Но до сих пор он по-молодому любит живую красоту сада.

Он полон энергии, удивляется, почему иногда люди не понимают необходимости перенимать опыт.

— У меня по соседству тридцать первая школа,— говорит Костин,— сколько раз просил ребят прислать, чтобы опыт им передать, но из школы разве что за цветами приходят... Вот и сейчас к сентябрю жду. Я уж приметил, которые им цветы отдам.

Он поворачивает шею, крепкую, выдубленную солнцем и ветром, изрезанную морщинами, еще более крупными, чем на лице, и я вижу его упрямо очерченную голову, затылок, коротко стриженные седые волосы. Чувствую возрастающую открытую симпатию к этому человеку. А он в разговоре снова возвращается к пирамидальным тополям:

— Посадить бы в разных концах Тулы, по новым улицам. Они бы город выше сделали, стройнее... Точно говорю.

А любовь у Владимира Степановича к садам еще от отца. Отец был агентом по садам. В семье было тринадцать детей. На этой самой улице, через дом отсюда, и родился Володя Костин. И вся жизнь у него прошла здесь. Девяти лет отдали его в школу. Тогда же член городской думы, арендатор садов, некто Борисов набирал мальчишек сады сторожить под Одоевом. В звездную ночь, в шелестящем саду какие только мысли не приходят в голову, о чем только не мечтается! Тогда и зародилась у Володи Костина любовь к дереву. Но в ту пору он еще не осознал в себе эту любовь. Да и где там было осознать: сад большой, на двенадцать гектаров. Пока обежишь все, как собачонка, умаешься... А сторожили долго. В Тулу возвращались, когда уже первые утренники траву подсеребривали. И привезли Володю однажды укутанного в рогожку, чтоб не замерз.

А потом учился Костин в оружейно-технической школе. Был чернорабочим на самоварной фабрике Баташова, о самодурствах которого до сих пор ходят по Туле легенды. Приходилось целые дни, не разгибаясь, таскать свинцовые чушки, иногда по восемь пудов ве-

са, тюки с латуною. Возвращался домой разбитый, с налитыми тяжестью руками. стакан водки в субботнем кабаке заставлял на миг забыть кошмар адской работы. А пили тульские мастеровые жестоко, иногда и на спор.

Но кабацкий дурман не затянул Владимира Костина. Кто-то из друзей по работе дал ему однажды почитать подпольную революционную газету. И с тех пор он пристрастился к чтению. В нем стал расти осознанный протест против немыслимых условий жизни рабочего человека. В 1913 году Костина увольняют с фабрики за политическую неблагонадежность. Через несколько месяцев ему удается устроиться слесарем-сборщиком на оружейный завод. Здесь он встретил революцию. Принял ее как радостный поворот к добру и свету. Тогда же встретил и полюбил веселую зареченскую девчонку Катерину. Вот уже около пятидесяти лет живут они в мире и согласии, Владимир Степанович и Екатерина Николаевна Костины. Сын и дочь тоже живут с ними. А теперь и внуки подрастают, как подлесок возле кряжистых, выдавших виды деревьев.

Костин говорит, что как ни трудна была жизнь, никогда не забывал он свою давнишнюю любовь к садам. И когда на оружейном слесарил, и когда тюки с латуною таскал. Билась в нем, как малый родничок, надежда, что когда-нибудь займется он своим главным делом — садоводством. Любовь к плодovому дереву жила в самой натуре, в самом существе Костина. Не мог он без нее, без этой любви. Товарищи иногда посмеивались: «Хороший он мужик, Костин, да вот чужак какой-то, все про сады байки рассказывает». А уж когда диковинные тополя, которых сроду в Туле не бывало, у себя под окнами посадил, точно решили: «Чужак». Однако Владимир Степанович стал выписывать книги и журналы по садоводству. Перешел работать в Зеленстрой. Всерьез занялся выращиванием плодовых деревьев и цветов и вот вывел свой сорт груши. Ее так и величают «Груша Костина».

Владимир Степанович ладонью приглаживает усы и говорит как бы сам себе:

— Сад для красоты, для радости даден человеку... Волю бы мне да силы молодые, я по всей земле сады бы насадил... Это же радость живая, вы гляньте только, а? Которые из сада одну выгоду высосать хотят, не

увидят этого, не поймут ни за что. Такие каждую былку норовят втридорога на базаре сплавить, не хуже Константиныча!

— Владимир Степанович, а кто этот Константиныч?

— Константиныч! Хм, Константиныч... Жил здесь такой. Нет его уже. Помер недавно.

По заминке да по тону я понял, что старик лукавит. Не хочет говорить правды. Но кто этот таинственный Константиныч? Второй раз слышу о нем. А узнать не могу ровным счетом ничего.

— А вы прошлое, которое Успенский описывал, хорошо помните?

— Еще бы, сынок, не помнить! Пойдем-ка лучше на улицу, там нагляднее получится.

Мы выходим на шумную улицу. Сейчас середина дня. И движение особенно напряженное. Идем к перекрестку. Старик несколько раз влюбленно поглядывает на свои пирамидальные тополя. Ему кажется, что он делает это незаметно. Неожиданно останавливается.

— Вот здесь трактир Минакова был... А здесь кабак. Дом все тот же, ничего ему не сделалось. А люди, конечно, другие. Внук того кабатчика теперь в институте работает. Наукам людей учит. Я его недавно встречал. Ладный такой, высокий... Здесь тогда самые пьянки и драки происходили... А там, вон у поворота, лошадь с возом на моих глазах утопла в трясине, и поминай как звали. Напротив меня жили Пузыревы. Бывало, мы стоим возле домишек-то своих и перекидываемся словами, а перейти друг к дружке никак невозможно — грязь. Бабы соседские или мужики поругаются, всю, какая есть, ругань выльют друг на друга, а потом не выдержит кто-нибудь, да и завопит: «Заткнись, гадина, а то сейчас по морде вдарю!» — «А ну-кась, попробуй, вдарь!» — кричат с другой стороны улицы. А улицу никак перейти нельзя, в грязи утопнешь.

Мой попутчик неожиданно останавливается и бьет себя ладонью по лбу:

— Самое главное чуть не позабыл: про кулачные бои-то! На Семинарском лугу они разгорались... Ух, вся улица содрогалась! Такого я и у Глеба Иваныча не читывал.

В глазах у старика заметались искры. И я понял, что он снова явственно увидел, как на лугу собирались на драку семинарские и подьяческие. Начиналось все с

пацанов. Они, как молодые петушки, на скакивали друг на друга, барабая кулачками и разбивая в кровь носы. А потом включались взрослые. Тут уж кости трещали. В самый разгар заступали бомбардиры Алеша Калашников от семинарских и Дмитрий Татаринов с Подъяческой. Иногда на смерть зашибали. Под девятое ребро кулачищем, как кувалдой, бухнут, и дух вон. Но больше всего боялись Петрушки Крылова, белобрысого, ширококостного детины, главаря Никитской... Только жестокие пьянки да вот такие кулачные бои могли кое-как взбудоражить растеряевскую затхлую жизнь. А после с неделю ходили растеряевцы ошарашенные, крихтели да синяки отмачивали.

У школы-интерната, где я узнал адрес Костиных, мы попрощались с Владимиром Степановичем. Наноследок он сказал, чтобы я в субботу приходил: тогда всех молодых разом и застану.

Письмо четвертое

СНОВА У КОСТИНЫХ

В книге «Нравы Растеряевой улицы» есть глава «Суббота». В ней сказано: «В субботу мрачная физиономия Растеряевой улицы несколько оживает... Все полагают, что завтра в воскресенье почему-то будет легче на душе, хотя в то же время все вполне достоверно знают, что и завтра будет такая же смертельная тоска и скука, только слегка поддурманенная густым колокольным звоном...»

Памятуя недавний разговор с Владимиром Степановичем, я выбрал субботу, чтобы застать дома Костиных всех сразу. Вечер выдался теплый и какой-то золотистый, как костинские яблоки. Я не спешил, постоял у пивного ларька в очереди. Мужчины, не торопясь, пили пиво, курили. Говорили, тоже не торопясь, о простом. О том, что рыба плохо стала брать в Упе, что ее, Упу, пора бы и почистить; о голубях, какие предпочтительней: монахи или тучерезы; о завтрашнем футболе, стоит ли на него идти и т. д.

Солнце все ниже. Поток машин разрежен. Рабочая улица отдыхает. Из иного сада слышен подчеркнуто резкий стук костяшек: там «забивают козла». Играют в

домино и возле пятиэтажного дома, самодельный стол вкопан в землю, вокруг него толпятся мужчины, некоторые из них в майках. Слышны громкие голоса... Иду, смотрю, стараюсь ничего не пропустить. И вот я у дома Костиных.

Молодые Костины — такие же гостеприимные, открытые люди, как и старик Костин. Выяснилось, что с его детьми, сыном Евгением и дочерью Верой, мы в разное время окончили один и тот же институт: Тульский политехнический. Это еще больше развеивает условности: мы сразу же находим общий язык. Евгений Владимирович работает на комбайновом заводе, Вера Владимировна — на оружейном. Она без отрыва от производства окончила еще один институт — педагогический, факультет иностранных языков. Это второе поколение жителей улицы; их отца, когда он был подростком, их деда брал в расчет еще Прохор Порфирьич, герой Успенского, когда продирался, пробивался «в люди».

Молодые Костины хорошо знают эту книгу, а старик Костин подробно помнит те времена. Мы говорим о том, как трудно, как медленно человеческая натура обретает новые свойства и качества. «Ум уже вперед шагнул, человек нового смысла набрался, — говорит старик Костин, — а натура нет-нет да по-старому сработает... И то ведь: сколько русскому человеку пережить пришлось... войны какие, эпидемии, голодуху...»

«Да, — откликается Евгений Владимирович, — нового человека трудно сразу построить, тут нетерпение — не помощник, моя Луиза это, наверное, лучше нашего знает. У них в интернате вон сколько детей! Но я что хочу сказать: любить человека надо, обязательно надо любить человека. Этому далеко не каждый научился, верно я говорю, отец?»

Я спрашиваю Луизу Александровну, знает ли она книжку санитарного врача Смидовича, изданную некогда в Туле? Она отвечает, что слышала об этом издании, знает, что книжка уникальная, но сама не читала. Я открываю блокнот и показываю Костиным выписки из очерка В. И. Смидовича.

Владимир Степанович берет блокнот и читает вслух, с расстановкой, чуть глуховатым стариковским голосом:

«Семейство М., из двух взрослых и трех детей. Муж пьяница, приносит домой не более 1½ рубля в неделю; по вторникам получают от купцов Сушкиных по марке на человека и сверх того покупают себе 10—15 марок, платя по две копейки за каждую (3 марки дают право на получение порции, состоящей из щей или гречневой похлебки с салом или небольшим количеством крошеной говядины и 1½ фунта хлеба). Жена М. утверждает, что если бы муж приносил домой все заработанные 3—5 рублей в неделю, то семья не только бы могла прокормиться, но и иметь утром чай и несколько раз в неделю говядину».

— Да, это правда,— опуская блокнот, говорит старик Костин,— сущая правда, рабочим семьям не вмоготу было, не вмоготу...

— Вот и стоит такая труднейшая проблема,— сказала Вера Владимировна, дочь старика, которая до сих пор только слушала.— С одной стороны, люди должны познать благополучие, с другой стороны, человек должен быть всегда... как это говорится, выше сытости!

— Вы не думайте,— обратился ко мне Евгений Владимирович,— это у нас не праздный разговор по случаю гостя, мы об этом не раз и не два говорили и с сестрой вот, и с женой; особенно, когда о детях своих размышляем, в каких правилах их воспитывать, чему обучать... У нас это крепко в семье заведено — воспитание на самотек не пускать...

Смотрю на Костиных и тайно радуюсь их крепкой стати, открытости, внутренней серьезности. Они не будут об ерунде говорить. И хотя молодые Костины не пошли по отцовской линии, но переняли его целеустремленность, острый ум, пытливость. Он разводил сады, скрещивал деревья — они работают на заводах, но внутренний смысл у них один: человек должен быть творцом. И в этом цельность костинской линии.

Евгений Владимирович вызвался меня проводить. Мы вышли на улицу. Слышны были неясные разговоры. Вспыхивали огоньки сигарет. Мой провожатый, как бы продолжая прежний разговор, сказал:

— Вот еще какой узелок... И его развязать надо, обязательно. Как раньше растеряевцы работали? Рывками. Сделают какую-нибудь удивительную вещь, как говорится, «блоху подкуют», и впадают в уныние или в пьянство беспробудное. Вот Растеряева улица нам в

наследство и смекалку свою передала, и эту традицию неровно работать... Мучает нас эта традиция, воюем мы с ней, ломаем ее в себе. Отец вот мой любит повторять: «Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается». То-то и оно. Мы многое сделали, но надо еще научиться ровно, четко работать, без срывов; надо, чтоб это в кровь вошло...

В теплой ночи слегка покачивались пирамидальные тополя. Вдалеке светились и вздрагивали наплывающие фары машин. И вдруг прямо перед нами слегка засветился край неба. Розовый свет начал нарастать, разливаясь, густеть. И вот уже над ночной улицей повис огромный, в полнеба, багровый сполох.

— На Новотульском шлак льют,—сказал Костин.

Мы подошли к небольшому аккуратному домику. Он стоял в таком месте, откуда справа отчетливо были видны купола церквушки, поблескивающие в электрическом свете, а слева — разметнувшееся на полнеба торжественное зарево завода.

— Чем больше живешь, тем больше задумываешься над жизнью,—говорит мой попутчик.—А она меняется, только поспевай... Чуть загляделся и — отстал. К одному привыкнуть не успеешь, новое заступает. Знаете, как сейчас дома ставят: идешь утром на работу, смотришь, три этажа только, возвращаешься к вечеру, а уж он четырехэтажный, дом-то. Так вот и жизнь, многоэтажная она!

— Многоэтажная? Это правда,—откликаюсь я.— Много слоев у нее, у жизни, пойдя сосчитай попробуй.

— К моему старику вот друзья приходят: спорят, какой оружейный мастер лучше гравюры делает, кто настоящий художник, а кто поддельщик, спорят, как лучше линии на металл наносить... Им все подробности ремесла важны. Для нас с вами — это старина, экзотика даже. А для них это продолжение жизни, где столько еще неразрешенных проблем. Я эту жизнь уважаю, прислушиваюсь к старикам.

Я промолчал, но понял, что последние слова Евгений Владимирович не просто сказал. Может быть, он подумал, что меня привела сюда эта вот «экзотика старины», досужее любопытство, кто знает? Во всяком случае, уловив его мысль, я не обиделся, наоборот, про себя поблагодарил его за предупреждение. Проверить себя никогда не мешает.

— Что это за домик такой аккуратненький? — спросил я Костина. — Словно точка в конце улицы.

— Домик, как домик. Здесь Оводовы живут. Работали много лет на Алтае, на старости лет вернулись на родную улицу. А на Алтае у них сын Сережа остался, тоже агроном, по родительскому пути пошел... Многие ребята с нашей улицы по белу свету разлетелись, на карте сразу не отыщешь. Вон в 106-м Хрусловы живут. Их старший сын, мой тезка, окончил Ленинградское военно-морское училище. Где-нибудь сейчас бороздит Тихий океан. Много славных ребят на нашей улице выросло! А ведь скольких война унесла. На одном нашем перекрестке восемнадцать человек с войны не вернулись. Сверстники мои: братья Леоновы, Саша и Володя Картышевы, Костя Пашков, Сахаров Боря, Николай Моисеев, Володя Борисов... Ребята до сих пор стоят перед глазами. В 1941-м фашисты к самой нашей улице подошли. Ее тогда не узнать было.

Костин рассказывает, а я вдруг, будто воочию, вижу улицу, изрезанную траншеями, перегороженную надолбами; копающих рвы и окопы бойцов Тульского рабочего полка... В одну сторону везут раненых, в другую — боеприпасы. В помещении кондитерской фабрики расположился штаб одного из полков, а в доме Костиных — взвод пешей и конной разведки. Его составляли люди разных национальностей. В одном из боев погиб политрук взвода, младший лейтенант, уральский рабочий Павел Косых. Во дворе школы-интерната № 3 стоит обелиск над его могилой. И каждый год сюда с далекого Урала приезжают поседевшая женщина и молчаливый парень: жена и сын Павла Косых.

«Так и не прошли враги по нашей улице, — говорит Евгений Владимирович, — не прошли».

Письмо пятое

ИСТОРИЯ МАСТЕРА КОРЯКИНА

В саду, при доме, в косых лучах солнца, поблескивает зеленый от окислов, даже чуть в голубизну, пузатый — вся грудь в медальях — самовар, каких уж давно не делают. Пыхтит, дымится. То-то славный чаек будет по первой прохладе! Старики-мастера любят посидеть

возле такого самовара, потолковать о разных насущных проблемах своих. А то и без самовара собираются. И прав был молодой Костин, когда предупреждал, что не в старине здесь дело, что надо в корень смотреть, сметке у стариков учиться, вслушиваться в ход их рассуждений. Тут, за самоваром, конечно, и прошлое вспоминают. И Якова Батищева, что у самой колыбели оружейных заводов стоял, и Сурнина, с которого, может быть, образ самого косого Левши был списан. Но самое интересное начинается тогда, когда старые мастера, присматриваясь к словам других, сами выбирают точное, весомое слово и, будто прицеливаясь, как бы с прищуром, определяют качества того или иного умельца. Надо сказать, что в этой среде более всего ценится изобретательность, хитрость какого-нибудь неожиданного приспособления, разрешающего вдруг неразрешимую проблему «Как делать?»

Нельзя сказать, чтобы туляк был задним умом крепок. Он всегда на острие смысла, ум его быстр, смекалист. Эта особенность издавна отличает особую породу тульских оружейных мастеров. Однако надо оговориться, что, высоко ставя хитроумность, изобретательность, мастеровые на вес золота ценят честность в товарищеском кругу. Если в товариществе, как говорится, «изобретать» начнешь, лукавить, хитрить, — все: пощады не жди; упрекать даже не очень будут и меж собой обсуждать многословно не станут, а то и вовсе смолчат, но из круга мастеров исключат, и баста. Никогда уже больше в этот круг не войдешь, не вернешься — это уж навсегда тебе заказано. Будь ты хоть потом честным-пречестным, святее святого будь, раскланиваясь с тобой будут, не обидят, но и только. Такой суровый закон неписанный был у старых тульских мастеров. Меж собой у них и споры бывают, и дружба у них — не без ревности к работе друг друга, особенно когда громкий успех на чью-либо долю выпадает, но это уж другое дело. Какие тут слова ни произносились бы, какая критика ни наводилась бы, истинные мастера цену друг другу всегда втайне знают. И это главное. Вот и во время вечерних бесед на бывшей Растеряевой улице услышать можно:

— А Василий-то зря думает, что его забыли. Зря приbedняется.

— Еще бы, ясно зря. Нешто мы не помним, как у

него смекалка блеснула, когда на заводе секрет граниения дамасской стали разгадывали.

— Было дело, было!.. Надо его, Ваську, в гости звать. Бирюк он какой-то.

Или такой разговор возникает. Спор — не спор, а что-то вроде этого:

— Мишка-то не работник уже, слабый сделался, рука дрожит.

— Слабый, не слабый, а блоху еще подкует.

— Нет, уж не подкует.

— Плохо ты его знаешь!

В один из таких вечеров услышал я историю мастера Корякина. Собрались тогда среди прочих Николай Николаевич Мелиоранский, старик Костин, печник Ионов, художник Алексей Иванович Пеньков. Разговор зашел о микрогравюрах. Искусство это чрезвычайно ценится в среде оружейников. Возникло давно. Граверы, особо искусные, умели, изловчившись, при помощи разных приспособлений рисовать целые картины на мельчайших металлических пластинках. Только под микроскопом можно разглядеть такую картину. Мастер Григорий Корякин тоже занимался изготовлением микрогравюр. Только делал он их намного быстрее, чем другие мастера. Правда, были корякинские микрогравюры грубее. Да зато количеством он брал. И сбыт у него был налажен. А потому и молва пошла, что он, Корякин, кудесник какой-то, что второго такого мастера нет. Был у Корякина секрет какой-то. У каждого гравера был свой секрет. Однако чутье подсказывало другим мастерам, что в секрете Корякина есть что-то нечистое. Но что? Пытались его в разговор втянуть, обменяться опытом. Но он отмалчивался и на сближение не шел.

— Я его, Гришку, давно знаю,— говорит печник Ионов,— он всю жизнь корячился, с малолетства самого... У него фамилия как раз по нему. Упрямый черт, самолюбивый! Вон его крыша видна. Он всегда там жил, на отшибе, поближе к реке...

— Я и то его однажды пытал, расшевеливал,— злобиво смеется художник Алексей Иванович Пеньков.— Гришка, говорю, что это у тебя рисунки на мелких гравюрах корявые больно? Смотрел я на них в микроскоп, неприглядные какие-то. Хочешь, я тебе нарисую на обычном листе любой рисунок, а ты потом

скопируешь... А он, видно, подвох почувствовал и усмехнулся. Спасибо, Алеша,— говорит,— не надо, на наш век и корявых рисунков хватит.

Крепко хранил свой секрет Григорий Корякин. Но сколько ни храни секрет, в какую-нибудь щель он все-таки да просочится. И вот эта история.

Рос Гришка в растеряевой стороне. Был третьим сыном в многодетной семье, но не последним. Любовью его сроду не баловали. Рано определили на оружейный завод. Подростком он был хмурым, ни на кого не надеялся. Умел приглядываться незаметно, как бы невзначай. Глаз у него был цепкий. Обучался он граверному делу, но живого таланта, судя по всему, у него не было. Иной ученик гравера так незаметно линию положит, что радостно на нее смотреть. Живет рисунок на ружье, и все тут. А Гришке это не дано было, не понимал он жизни линий, не было у него в кончиках пальцев чувства прекрасного. Редко мастер его за работу хвалил, был он словно пасынок в своем деле. Потом женился Гришка, раздался в кости, заматерел. Дети пошли. И вот однажды углядел он у одного кустика старый, без дела лежавший пантограф — нечто вроде копировального устройства, которое тот чуть ли не из Киевской Лавры привез. При помощи этого устройства маленький резец в точности повторял движения большого и наносил на крохотное стеклышко или металлическую пластинку изображение, подобное тому, которое было на большой картине. Если большое изображение было совершенным, то и микроизображение получалось таким же, радуя глаз точностью и законченностью линий и сопряжений.

Корякин купил у кустика это хитрое устройство, подремонтировал его, почистил, подправил все звенья и пустил в дело... Сообразил, что с его помощью можно приспособиться микрогравюры делать, над изготовлением которых самые талантливые мастера месяцами сидели, отрывая время от сна. Работал Корякин над микрогравюрами ночью, как и другие мастера. Никому, даже жене, не открывал своего секрета. Друзья по цеху удивлялись, как это ловко и быстро у Корякина все получается. Кто-кто, а они-то знали цену корякинским рукам. Пожимали плечами, одно слово — секрет! Знает Корякин секрет, ему и удача. А он специально копировал свои примитивные неумелые рисунки, а не репро-

дукции с картин художников, чтобы разгадать его секрет нельзя было. (Вот почему угрюмо усмехнулся, когда художник Пеньков предложил ему рисунок сделать на большом листе). Шли годы. Микрогравюры Корякина имели хороший сбыт. В дом пришел большой достаток. Про искусство Корякина даже в газетах писать стали. Корреспондентов он дурачил, рассказывая, хоть и нехотя, что часами сидит над микроскопом, чтобы нанести одну линию. И только некоторое угрюмство, несмотря на успех, не покидало Корякина. Иногда с ним случалось что-то неладное. Он часами сидел сам-друг с удочкой на берегу Упы или на скамейке возле дома, надолго забрасывая работу, принесшую ему славу. Хотел научиться радоваться жизни, да не получалось. Младший сын Лешка любил вертеться возле его верстака, просил: «Батя, научи рисовать на железяках!». «Сопливы еще ты для этого», — ворчал Корякин и мягко подталкивал его к выходу. Когда жизнь гравера стала клониться к старости, стал он спешить работать, как автомат. Был ли он жаден, трудно сказать, но какой-то мрачноватый азарт жил в нем. Не терпел веселья в доме, словно боялся его. Запрещал жене в театр ходить. Долго не хотел телевизор покупать. А когда дочери настояли все-таки, крепился, крепился, плотно закрывал двери в свою комнату, а через год (в сердцах по какому-то случаю), как схватит телевизор да как шмякнет его об пол, так вдребезги и разбил. Только крикнул жене и дочерям: «Вот вам ваш дурацкий ящик». Так что трудно сказать, жаден ли Корякин.

Сын вырос, в институт поступил. Как-то опять попросил отца:

— Поучи микрогравюры делать, страсть как хочу научиться!

— Не спеши, рано еще... Придет время, выучу.

— Боюсь, поздно будет, рука затвердеет, выучусь ли?

— Говорю, не бойсь...

На том разговор и кончился. Алеша Корякин толковым парнем вырос, смышленным. Инженером стал. Мастеровой славой отца гордился. И вот зовет его к себе отец, закрывает дверь и говорит так приглушенно-тихо: «Вот что, Алешка, стар я стал... Пришла пора секрет тебе передать». Сын необыкновенно заволновался, руки у него даже задрожали. «Может, рано еще,

отец?..» «Нет, пора», — сказал Корякин-старший. И рассказал сыну свой секрет, и показал хитрое приспособление и как оно работает... Сын, когда узнал, побледнел, засмеялся, заплакал и убежал. Корякин с места не двинулся. Несколько часов, как изваяние, просидел. Потом пришел в себя, велел старухе сына найти. Сказал ему, прямо глядя в глаза: «Сопляк ты еще, Лешка, сопляк! Я тебе славу свою передаю, дело и достаток на долгие годы, а ты...» Алексей опустил голову и выдавил из себя: «И рад бы я у тебя это взять, отец, да не умею... иначе меня жизнь выучила». Корякин нахмурился и вызвал на своем лице подобие улыбки. «Значит... говоришь, ни к чему тебе это?» Алексей ничего не ответил.

После того разговора гравер Корякин неделю молчал, ни с кем ни одного слова не проронил.

Письмо шестое

Я УЗНАЮ КОНСТАНТИНЫЧА

История мастера Корякина заставила меня над многим задуматься. Словно в резком свете обнажился внутренний механизм улицы моего детства. Может быть, с сыном Корякина, Алешей, я знаком даже; может быть, мы футбол на пустыре гоняли или в Упе когда-нибудь вместе купались, кто знает... Мог ли я предположить тогда, что за спиной какого-нибудь худенького, белобрысого веселого мальчишки таится далеко не простая жизнь, что ему предстоит пережить нелегкую драму в отношениях с отцом, славой которого он гордился и мастерство которого мечтал унаследовать. Истинное от ложного едва ли удастся отделить безболезненно. Но, судя по всему, Алеша Корякин отстоять сумеет свой дух, характер его не надломится. Ему, Алеше, конечно, труднее пришлось, чем Евгению Владимировичу Костину. У Костиных в семье отроду доброта, открытость в союзе с творчеством жили, радушие соседствовало с любовью к деревьям, ко всему живому. Отец передал детям великое чувство природы и, наряду с ним, чувство справедливости. Алеше ж придется, наверное, преодолевать многое в укладе семьи, сложившемся по воле отца. Но на этом пути и должен возмужать характер молодого Корякина...

Чем больше я бывал на своей улице, тем больше и глубже мне хотелось знать о людях, живущих на ней. Не скрою: порой мучало меня и любопытство, особенно, когда мне казалось, что от меня что-то скрывают. В разговоре с Алексеем Федоровичем Ионовым, с Константиным, с Мелиоранским несколько раз слышал я имя некоего Константиныча. Но всякий раз на мой вопрос об этом человеке отвечали уклончиво: дескать, жил здесь когда-то такой, а сейчас его нету, кто говорил, что он переехал куда-то, кто о том, что он умер недавно... Словом, я никак не мог уразуметь, кто этот мифический Константиныч, и почему его так усердно скрывают от меня.

Как-то идем мы с Мелиоранским, разговариваем, смотрим, — несколько женщин стоят у ворот большого деревянного дома, ладного, свежего, прочно вросшего в землю. Стоят бабоньки, о чем-то весело судачат, смеются. Со двора выходит худой, невзрачный, смуглый мужик, откуда-то знакомый мне. Увидев женщин, он хочет сделать независимый вид и пройти мимо. Но не тут-то было. Одна из женщин, полная, в ярком платке, держа тяжелые руки на животе, усмехаясь, цепляет его:

— Вот мой родной, страмотной! Куда это ты, Константиныч, подался?

— Ну, ну!.. — неуверенно ворчит он, опускает глаза и — ходу.

Мелиоранский смеется.

— Бойтся своей бабы Константиныч... Заметил, как он при виде ее свою постную физиономию сморщил? И правда, срамотной...

— Значит, Константиныч этот никуда не исчезал и не пропадал? Вот он, живет по соседству с вами...

— Ну конечно, живет и умирать пока не собирается.

— А что же тогда все мнутя при его имени? Был да сплыл, и все такое. Да вот и вы тоже, Николай Николаевич, не очень-то, кажется, хотели о нем рассказывать...

— Выходит, что так, выходит... А ты не понимаешь, почему? Сосед он нам всем. А мужик он зловредный, кляузный. Мы у себя в округе все знаем, кто он такой, и соответственно относимся... поэтому, чего зря вслух болтать. Знаем, и все.

Но я все-таки разговорил Николая Николаевича. И он рассказал, что Константиныч все свободное время проводит в саду и на огороде, но не из особой любви, а чтобы, как говорил старик Костин, из «каждой былочки деньгу выколотить». Он и зимой умудряется втридорога продавать яблоки. Есть у Константиныча еще одно пристрастие — чайные розы. У него они особые, с прозрачно-нежными лепестками. Так он и их по штуке продает, сукин сын.

Николай Николаевич не на шутку злится и говорит уже не бархатным, а грозным басом:

— Ты понимаешь, он, вроде бы, на заводе вес какой-то имеет. Но если кто попросит, чтобы сына в ученики взял, магарыч затребует такой, что не приведи господь. Это по всей улице знают. Не любят его.

— Николай Николаевич, а ведь я знаком с ним.

— Ну да?!

Теперь пришла пора удивиться Николаю Николаевичу.

Я и в самом деле знаю Константиныча. Мы работали на одном заводе, в соседних цехах. Он — старший мастер, из кадровых. Заводское дело знает отлично. Скуп на слово, зря болтать не станет. В чертежах не хуже инженера разбирается. И программу тащит. Начальство его ценит. А вот рабочие, из молодых, и особенно девчонки, от него чуть не плачут. Придет с похмелья злой, так и рыщет, у кого бы рублик одолжить. Одолжил — не отдаст. У тебя день рождения — ставь ему четвертинку, у него день рождения — все равно ставь. Кто-нибудь из токарей изобретет что-нибудь, Константиныч тут как тут — примазывается в соавторы. А попробуй не взять его в соавторы — так хитро и незаметно прижмет тебя, что хоть на другой участок уходи. Конечно, не такая уж он, Константиныч, страшная птица, прибрать его к рукам в два счета можно, но это живущее еще в нас малодушие дает Константинычу жить и процветать. «Черт с ним, — думает иной токарь или фрезеровщик, — возьму его в соавторы, а то еще замаринует рацпредложение, и баста».

А ведь и я чуть было не поддался этому искушению смягчить краски о Константиныче и про себя подумал: «Черт с ним, подретуширую!». Вот ведь и во мне сидит малодушие, и во мне, значит, живы еще растерьевские

черты. Подумал так и разозлился на самого себя. Нет, шалишь! Напишу, как есть.

Несмотря на хорошую зарплату и доходы от огорода и сада, он, Константиныч, всегда бедно одет. Его видят на праздники и будни в одном и том же пиджачке с потертыми локтями. Ходят слухи, что жена у него ведьма, все деньги отбирает. Но я думаю, что это только слухи. Просто ненасытная жадность и страх перед людьми одолели его.

Жители этого района часто обсуждают между собой, кого когда сносить будут. Предполагают, прикидывают, иногда даже сроки называют. Многие с нетерпением ждут этого часа. Константиныч, конечно, дрожит, что ему когда-нибудь придется все-таки оставить собственный дом, огород, сад и чайные розы с нежно-прозрачными лепестками... и переселиться в новую квартиру, жить на втором или третьем этаже.

Константиныч — настоящий растеряевский «брильянт» старой пробы. Но «караты» Константиныча нет-нет да и «блеснут» в характере того или иного обитателя бывшей растеряевой стороны. Да и только ли ее?

Недавно в районе произошло прелюбопытное событие. Разрушали старый дом. Он оседал в клубах затхлой пыли и постепенно оголялся. А когда стали разбивать фундамент, нашли бутыль, а в ней старые деньги, еще екатеринки-стورублевки. Хозяева переехали в новый дом и бутыль с собой не взяли.

А возле бульдозера стоял большой парень, чумазый, в комбинезоне и с веселыми вихрами из-под кепки. Он смеялся, он хохотал и раздавал мальчишкам пачками эти кредитки. Мальчишки пускали ассигнации по ветру, смотрели сквозь них на солнце. И тоже смеялись. Вокруг собралась толпа. Вдруг к бульдозеристу подошел Константиныч, неожиданно, как вынырнул. Прочно так, двумя руками, взял пачку ассигнаций. Внимательно пролистал их. Подержал несколько мгновений на дрожащей ладони, как будто взвешивал... И, зло сплюнув, бросил под ноги...

СВАДЬБА

В самом конце лета побывал я на свадьбе, какой уж давно не видывал. А вот что вышло. Алеша Корякин после памятного разговора с отцом решил было уйти из дома. Но мать уговорила его. Пожалел он мать и остался. А через полгода или год девушку домой привел, сказал матери, что жениться хочет. Девушка эта — работница из того же цеха, где он технологом. Только что школу окончила. Светлая, дробенькая, смотрит серьезно. «Ну что ж, — мать улыбнулась, — надо и отцу сказать». Думали, что старик и разговаривать не станет. Он благословил сухо, пробормотал что-то себе под нос, пожевал губами и вдруг сказал отчетливо: «Свадьбу, широкую сделаем».

В растеряевой стороне издавна придавали свадьбам особое значение. Даже самые бедные семьи старались не ударить в грязь лицом. В. И. Смидович рассказывает в своей книжке, что на этих свадьбах, по обыкновению, пропивалось «не только все приданое невесты, если оно было, но и вся семья (особенно из мастеровых) разорялась и входила в громадные долги».

Свадьбам предшествует знакомство. От Мелиоранского я узнал, что в Туле существовал негласный обычай выставки невест. Растеряевские мамы к церковным праздникам приводили своих дочерей — тех, что похуже, к Всехсвятской церкви и выстраивали их в ряд. Девушки, подмазанные белилами и нарумяненные, скромно опускали глаза и оправляли платья, взятые по такому случаю напрокат. Мимо них проходили предполагаемые женихи, лузгали семечки, прицениваясь, оглядывали живой товар, перекидывались замечаниями, обсуждали со своими знакомыми достоинства и недостатки той или иной девушки. Этот чудовищный базар не за горами ведь, не за веками, он ведь еще на памяти старожил. И свадьбы, которые возникали вслед за таким знакомством и сговором, не обходились без вспышек неожиданного утрусства, без драк, без растеряевской жути...

«Свадьбу сделаем широкую», — эти слова Корякин не впустую сказал. Столы поставили во дворе. Людей собралось видимо-невидимо. И ряженые были. И широ-

ко, словно переламываясь, растягивались гармонии. И пелись-выкрикивались частушки, как бы пылающие во рту. И были нестройные голоса, с хрипотцой орущие: «Го-о-рь-ко!» И девочки, подруги невесты, пели: «Бежит река, в тумане тает» и тульскую песню «О далекой девчонке». А потом все вместе скричали: «Я люблю тебя, жизнь!». И опять «Го-о-рь-ко!» И какие-то случайные люди, заглянувшие на веселье, тут же были приглашены за стол.

Гости начинают танцевать, потом плясать, выводящая круг для самых отчаянных. Плывут по кругу лица ребят, стариков, покрасневшие лица женщин. Вот мелькнули чуть испуганные и счастливые глаза невесты. Лицо Алеши Корякина, строгое, несколько бледное, вызывает симпатию. Нет, я его никогда раньше не видел, хоть предположительно и могли встречаться в детстве. Я стою среди старых мастеров, моих знакомых, смотрю, слушаю. Один говорит другому:

— Смотри, Коряка-то какую свадьбу отгрохал Алешке своему!

— Кто бы мог подумать?

— М-да-а... Небось тыщу на это дело отсчитал, я так полагаю.

— И еще полтыщи прибавь, не оцибешся.

Кружится свадьба! Поет, гуляет улица. И вот посеред свадьбы встает Григорий Корякин. Нескладно встает, словно бы через силу («Совсем старый Гришка стал», — произносит кто-то сзади меня). Алеша смотрит на отца, чуть приметно хмурится; старается согнать хмурость улыбкой; болеет за него. «Дорогие гости, — говорит Корякин, — спасибо, что пришли, наш дом уважили... Если что не так, простите... Если обидел кого за всю жизнь... если не ладил с кем... Одно слово, простите. На миру говорю». С минуту, наверное, после этого молчание стояло. Что-то в голосе Корякина цепляло за душу, что-то было за словами большее, чем в самих словах. Молодым, однако, показалось, что это подвыпившего старика сентимент прошиб. Еще бы, младшего женит! Трогательно, конечно. И снова закружилось, заиграло, запело вокруг.

— Не выдержала Гришкина душа, — тихо сказал Ионов, — исповедоваться затребовала. А ведь, кто бы знал, из него слова лишнего не выдавишь, улыбки не выпросишь.

— Ну вот сказал, и полегчает, — отозвался старик Костин.

— Может, помирать собрался? — предположил Ионов.

Через пять минут странная речь Корякина словно позабылась. Не все угадали в ней отблеск старого конфликта. Говорили о разном, например, о том, что вот переезжаешь в девятиэтажный дом, а голубей куда девать? Трудно их будет держать на новом месте, несподручно. Говорили и о другом. Но щемящая нота после слов Корякина осталась и продолжала звучать в общей музыке. Потом опять вспомнили эти слова, и кому-то даже показалось, что в них, в этих словах, скрывалось прощание с улицей, на которой протекала жизнь старых мастеров. И даже на чьи-то глаза по этому поводу набежала хмельная влага...

Но Тула слезам не верит, так же, как и Москва.

Итак, в старом доме, на старой улице появилась новая семья. А значит, жди вскорости и нового человека. Что сулит ему жизнь, что ожидает его на всем протяжении ее? Чему научится он, потомок бывших растеряевцев, что постигнет такого, чего еще не постигли мы?

КООРДИНАТЫ

(Стихотворения и поэмы)



I

* * *

Вся словно бы в облаке гула,
Привычки заветно храня,
Живет оружейная Тула,
Чуть хмурая в отблесках дня.

Когда еще рано-прерано,
Когда еще зябко слегка,
Дружище мой, Валька Степанов,
Наладчик, стоит у станка.
Как вспомню, так сразу нахлынет
Тоска или, может быть, грусть:
Я в качестве блудного сына
Сюда еще, может, вернусь.
Ах, матушка Тула развяжет
Все беды — таи, не таи! —
И выманит все, и расскажет
Мне хитрые байки свои.

Почувствую сладкую тягу
И в засеку к другу пойду.
Под шелестом яблони лягу
В каком-нибудь малом саду.
Засну и почувствую внятно
С землею связавшую нить.
И солнца горячие пятна
По мне будут тихо ходить.

СЕРДЦЕБИЕНИЕ

С чего начинается жажда?
Однажды
Ты в кузню заходишь,
Заносишь дыхание леса,
А в кузне —
Огонь,
сквозняк
и железо!

Над глупой важностью смеюсь,
Ну, что она умеет, важность?
На что она способна, спесь?
А я живу в заботах ваших —
Я мастер.

Все при мне, что есть.
И дело вовсе не в поверьях,
Мы просто встретились с утра,
Я умер?
Никому не верьте —
Не умирают мастера!

НОВИЧОК

Гул моторов — к нему привыкаешь не скоро..
Он слоился,

я видел его,

им дышал!

Я его пронесил мимо строгих вахтеров —

Я его выносил

из завода

в ушах.

Где-то пели скворцы...

где-то плакал ребенок...

Тени звуков касались меня отдаленно.

Даже хлеб мне казался тяжелым и горьким.

Наспех ел.

Не умывшись, валился в кровать,

Гнуло плечи мои:

я работал на сборке

И домой приходил,

чтобы досыта спать.

Только веки сомкну —

и работа приснится.

Я стою. Что-то мастер кричит на бегу...

И знобящая робость

сквозь сон

шевелится:

«Может, мало силенок?

Может быть, не смогу?»

...Но я чувствовал,

окна распахнуты настежь,

Отступали лучи отгремевшего дня.

И густое,
 прохладное,
 смутное счастье
Широко через окна
 вплывало в меня..

• • •

Мгла. Беззвучье. Теплые зарницы.
Вот опять одна из них горит,—
Видно, кто-то вздумал наклониться,
Чиркнуть спичкой, чтобы прикурить.
Видно, кто-то, на меня похожий,
Ходит неприкаянный в ночи,
Что он ищет?..
Все заснуть не может,
Топчет травы,
 курит
 и молчит.

• • •

Синяя, сияющая свежесть,
Так и хочется лицо прижать..
— Как тебя зовут, речушка?
— Свежей.
— Сежа... А меня Володькой звать.

Худенькая русая речушка,
Можно мне с тобой вдвоем побыть?
Ты, как грустившая девчушка,
В чисто поле вышла побродить.

И, знакомый с реками другими,
Я еще такой не находил.
Сежа, кто тебе придумал имя
И такую синью одарил?

Я вдыхаю утренние звуки,
Раздвигаю зорнюю росу,
Хочешь, я возьму тебя на руки,
К морю-океану понесу?..

Но и в бездорожье океана,
Где сыпучи волны, как песок,
Ты не потеряешь свой гортанный,
Свой неповторимый голосок.

Много дел мне предстоит на свете.
Сто излучин у судьбы моей...
Если б, Сежа, я тебя не встретил,
Я б наполовину был бедней.

И когда нагрянут дни лихие,—
Упаду, и кровь прожжет висок,—
Ты подай мне из глубин России
Свой неистребимый голосок,

* * *

Запела душа,
Как трава проросла,
Как в школьные годы,
Запела душа.
Легко и свободно
На вешнем тепле,
С огромной любовью
К всему на земле.
Как будто дано мне
С урока сбежать,
Идти сквозь деревья,
Свободой дышать.
И сердце мое
Соразмерено лишь
С мерцанием капель,
Слетающих с крыш...

ТРИПТИХ

НОЧНОЙ ПЕЙЗАЖ С БЕЛЫМ КОНЕМ

Белый конь под ночною звездою.
Лунный сумрак. Дрожанье огня.
Белый конь над ночною водою —
Над зеленым рисунком коня...

Млечный конь, он лугов не затопчет,
С ним я рядом от всех вдалеке
Во Вселенной, на доньшке ночи,
Под Белевом, на тихой Оке.
Скрип травы. Шорох. Шелест. Дыханье.
Влажный отзвук в туманных лугах.
Млечный Путь... И живое созданье
Где-то рядом белеет впотьмах.
Я в ночи, в захолустье, в безвестье,
И туманная млечность в зрачках.
Грусть. Мгновенное чувство бессмертья.
Конь, белеющий где-то впотьмах...

КУПАНЬЕ КРАСНОГО КОНЯ

Не в слабом отблеске икон —
Живой,
пружина тело сильное,
Плыл подо мною красный конь,
И даль была синее синего.
Плыл красный зной, прохладный жар,
И было сладостно, и молодо.
И конь всей шкурой задрожал,
Заржал,
мотая мокрой мордою.
И золотистый дым парил.
И брызги бились озаренные.
И воздух сам себя дарил,
Пылал и воды пил зеленые.
Была ли это тишина?..
И конь, и отрок тот неистовый?..
Какие там полутона,—
Во мне пылали краски чистые!

ВУНТ СИНЕГО КОНЯ

Черный конь,
Он пылает,
Он вовсе не черный, а синий.
Он движением сильным
Пытается всадника сбросить.
Он косит
Левым глазом,
Похожим на сливу,

Что за норы в крутом повороте
Этой шеи,
В хребтине?
И по холке его пробегает
Синий шелест.
Он на задние ноги слегка приседает,
Пружиня,
И, передние выбросив ноги,
Пытается вырваться в небо!
Только что ж она может —
Одна лошадиная сила?!
И во мне возникает к коню
непонятная нежность,

ХВАЛА МАСТЕРУ

...А хороши
Из глины
Горшки —
Обожжены
Огнем,
Озарены
Лучом,
Как купола, —
Им
глаза
слепить...
Хочется
точно такие
слепить!
Мало хотеть,
Надо уметь.
Парни такие,
как я и ты,
Ставят мосты,
Пишут холсты
Ошеломляющей
Красоты.
К горлу
волной поднимается
Счастье —
Губы твои разлепляются:
«Мастер»!

Все, что ты чувствовал
Смутно,
 подспудно,
Вдруг проступило,
Как ясное утро.

* * *

Есть в каждом деле круг особый
Прошедших через сто ветров —
Круг мастеров высокой пробы,
Суровых старых мастеров.

Не просто опыт или званье —
Робей, пройдоха и нахал! —
Их молчаливое признание
Превыше всяческих похвал.

Бунтуй, коль можешь, — ты мужчина,
Паши, вгоняя землю в дрожь!
Но только знай, что на мякине
Тех стариков не проведешь.

Они ворчат — а ты не сетуй.
Без шапки к ним входи в жилье:
Они живут вблизи от смерти —
Иною мерой видят все.

И это повелось от века;
Коль их благословенья нет,
Какой ты токарь или пекарь,
Какой ты, к черту там, поэт!

И вся твоя мирская слава
Без их сурового добра —
Всего лишь детская забава,
Пустая, в сущности, игра...

МИСКА СУПА

В дверь упирается дорога.
Усталый, я по ней пришел
И говорю уже с порога:
«Мать, собери-ка мне на стол...»

Наклонены над шумными станками.
Сквозь немоту, сквозь холод, жар и дым
Прекрасное становится живым.
Преодолев небытие металла,
Резцы рискуют засветиться ало!
Мы этот воздух раскаленный пьем,
Не роботы — насмешники ребята,
И во плоти является работа
В том самом лучшем облике своем,
Когда душа, не ведая предела,
Так плодородна в радости живой
И вся, как есть, сочувственно и смело
С другой соприкасается душой!
Потом мы это как бы забываем
В своей беспечной жизни молодой
И жажду совершенства запиваем
Соленой газированной водой.

ПАМЯТИ Ф. В. ТОКАРЕВА

Пусть меня извинят, что принес запоздало
Эти несколько грубо сколоченных строк.
Я был в дальней дороге, когда вас не стало,
И в прощальный тот путь проводить вас не смог.
Что последний приют вам сработают в Туле,
Я узнал из газет. Помянул вас тогда.
Славный мастер оружия, вот вы вернулись
В дорогие места и теперь навсегда.
В пролетающих сроках, делах и заботах
Мне б достойно прожить, не клоня головы.
Что ж, закалку прошел я на тех же заводах,
На которых когда-то работали вы.

ХМУРЫЕ МАСТЕРА

Есть такое понятие — рабочая кость.
В нем — надежность, двужильность, смекалка
и прочее.
Но, а слыхивал ты про рабочую злость?
Не обычную злость, повторяю, — рабочую.
В чем отличие ее?
Мастерком ли, пером
Ты орудуешь, долго орудуешь, истово.

Бьется сердце, как капля, стучит о ребро,
Чтоб добиться до сути, до самой до истины.
Круто спину саднит — ты к такому готов —
Трудно мастером быть: не пророк ты, не гений,
Но, как струйка муки сквозь напор жерновов,
Возникает и тонко сквозит вдохновенье.
Вот сверкнуло оно!
На удачу — и гость,
Вечный гость тут как тут. Он примазаться
хочет,

Он дешевыми байками ум заморочит.
И тогда возникает рабочая злость,
Благородная злость закипает в рабочем.
Мастер в зрелости часто бывает суров:
Под друзей маскируясь, жужжат шарлатаны.
Потому-то, быть может, и хмур Смеляков,
И мой друг с оружейного — Валька Степанов,

ПРОСТЫЕ РЕМЕСЛА

Слежу, затаив дыханье
(Готов каждый жест стеречь!),
Когда, ликуя заранее,
Печник поднимает печь.

И всей своей жаркой плотью
Завидую я тому,
Как точно и прочно плотник
Стелет полы в дому.

И как он кору сдирает
С дуба или сосны!
Строгает он, как стирает,—
До пенистой белизны.

Он крепко с рубанком дружит,—
Суха рука и легка,
Смолистая пена стружек
Ползет с его верстака.

Сегодня нас манят звезды —
Как некогда острова,
А рядом живут ремесла
Простые, как дважды два.

В них — мудрость. И наслажденье,
Таятся в них неспроста
Телесное возрожденье
И трудная простота.

БАНЯ В БОГУЧАРОВЕ

В бане светятся парни
Смутно, будто во сне.
Липким веником шпарят
По ногам,
 по спине.

Струям радостно литься.
В свете утренних лиц.
И березовый листик
Меж лопаток прилип.

В парнях сила и рвение
Восемнадцати лет.
Ни следа от ранения,
Ни царапины нет.

Им еще распрямляться
И осматривать свет.
Им еще подниматься
По ступеням ракет.

А пока что в тумане
Рассыпается смех,
А пока что из бани —
В замирающий снег,
Под распахнутый,
 белый,
 кружевной снегопад
Всем дымящимся телом
В эту стынь —
 и назад!
Руки ходят-хлопочут,
А водица-то, ах!
Только мышцы хохочут
На гудящих телах.

Это все на пределе
Молодой новизны,
Это все на прицеле
И в зрачке у войны!

Ой вы, жаркие бани,
Красный след от снежка,
И живое дыханье,
И биенье виска...

ЖАВОРОНОК

Рванул июнь цветастую рубаху,
Разлегся, смотрит в небо над собой.
Комочек жизни, крохотная птица,
Пульсирует над млеющей землей:

Исчезнет в дымке и к земле вернется,
Как будто силы новые возьмет,
А не вернись к земле он — мне сдается,
И песня оборвется, пропадет...

ПРИБЛИЖЕНИЕ

Что мы? Капля в звездных океанах?
Родинка у неба на виске?
Но беру я зерна крупным планом,
Собранные в спелом колоске.
Ничего не сделаешь со мною,
Я полетом в небо не горю,
Всматриваюсь пристально в земное,
Напряженно, пристально смотрю...

II

КООРДИНАТЫ

Все очень просто.
Очень просто:
Дорога,
Отчий дом,
Крыльцо.
И дождь — не дождь,
А будто просо
Покалывает мне лицо.
И даль.
И сонный подорожник...
Большие города любя,
Я все ж немыслим,
Невозможен,
Мое подстепье, без тебя.

ТОСКА ПО ОКЕ

1

Лугова, простоволоса
Красна девица Ока —
В волосах цветок с покоса,
Запах меда у виска,

2

Неизменно вдалеке
Я тоскую по Оке;
По мостам ее резным,
По глазам ее лесным,
По лесам ее сосновым —
По лесам ее сквозным,
Да по ситцевым лесам,
Да по чистым голосам,
Да по слову,
красну слову,
Что услышать должен сам!

О, Кашира!
 О, Калуга!
 О, Коломна!
 Ока шира,
 Ока луга,
 Ока ломана,
 Широка лугова река ломаная!..

ЗАКАТ В ПОЛЕНОВЕ

К. Г. Паустовскому

Изгибы, повороты, дуги
 И в зелени, и в синеве.
 И словно раскаленный уголь
 Прощально светится в листве.
 Окончен день. Краснеет точка.
 Вот вспыхнула... и нет ее,
 И тонет все во мгле молочной,
 И сердце все чего-то ждет.
 Сошла, исчезла позолота.
 Звезда вечерняя легка.
 А идиллическая лодка
 Стоит в реке без рыбака.
 Разновысоки пади леса
 Вдали.

Туманная Ока,—
 Вторая русская река,—
 Она молочна и белеса.
 И в четырех верстах Таруса...

КУДЕЯРОВ КОЛОДЕЦ

Как молва идет в народе,
 Достоверная вполне:
 От дороги в стороне
 Кудеяров есть колодец!

Там, в зеленых поворотах,
 Змейкой черною скользит

И блесстит, и шелестит
Речка малая — Воронка.

Там тропинка выход ищет,
Там сплетение ветвей,
Современный соловей
Там разбойно песни свищет.

Мы пойдем с тобой на пару,
Без тропы отыщем путь,
Чтоб в колодец Кудеяров
Самолично заглянуть,

В отраженьях расколоться,
Раздробиться... Онеметь,
И в лесных глазах колодца
Тайну леса разглядеть.

Сколько ягод, погляди-ка,
С левой, с правой стороны!
Коли губы солоны,
Подсласти их земляникой!

Вот колодец. Видишь, годы
Не сломали (крепок-стар!)
Может, впрямь отсюда воду
Брал разбойник Кудеяр?

Затесался сруб смоленый
В шум зеленый, в тишину.
Вольных песен зачерпну
Из глубин его студеньях.

Посмотри-ка, недотрога,
Как темно здесь белым днем!

А вдали гудит дорога
Между Тулой и Орлом.

ПАДАЮЩЕЕ ЯБЛОКО

Посреди четырех застав,
На ветру четырех дорог
Я всю ночь брожу, не устав,
Молодой и веселый бог.

Ты бледна, ты косишь слегка.
Перешелест и перезвон.
В чистом небе летит серьга —
Это месяц новорожден.

Ты тревожна, ты так близка.
Ты, отталкивая, зовешь.
Молодая звенит тоска
Или радость — не разберешь.

Эта сладкая кутерьма,
Перешелест и перезвон,
Влажной дрожью пылает тьма
Возле нас с четырех стóрон.

Но все выше летит серьга.
Возникая в лунной реке,
Так щемяще блестят стога
И туманятся вдалеке.
Тихо падают звезды ниц,
Превращаясь в летучий прах.

И дыханье лесных криниц
На запретных твоих губах.

Этот самый запретный миг
Приближается, настает.
Миг... И листья проклюнут мир.
Миг... И яблоко упадет.

А черты твои так светлы!
А колени твои теплы!
И тепло от скошенных трав
За чертой четырех застав,
Посреди четырех дорог,
На ветру четырех тревог.

* * *

Когда вошло в мое сознание
Скопление утренних берез,
Их свет, их тонкое дыханье,
Что тяжко за душу берет,

Излучина Оки туманной,
Дрожащий лист, росистый дым?..
И стало музыкой пространство
И пульсом, может быть, моим...

СЕРГЕЙ ЕСЕНИН

Туманною майской ранью,
В попутчики взявши рассвет,
Иду я в село под Рязанью,
Где жил синеглазый поэт.

А листья в росистых накрапах,
И скрытая птаха поет.
Волнения мягкие лапы
Сжимают дыханье мое.

Мне шепчут трава и дорога,
Мне шепчут Ока и кусты:
«Мы помним, мы знаем Серегу.
А ты кто? Откудова ты?»

Мне сад его надо послушать,
Ведь слухи в народе идут,
Что сбитые прежнею стужей
Опять его вишни цветут.

Его соловьиные ночи
Садами во мне шелестят.
Опять его синие очи
Над белой Окою стоят...

Я был у Левши в подмастерьях,
Характер свой взял у огня.
Я тульский. Но полон доверья
К селу Константинову я.

Вы ложь во мне, песни, корите
И делайте чище меня!
Здесь нет за душою корысти,
И нет в откровеньях вранья...

* * *

Ока, смотрю в глаза твои,
Прощаюсь с летом,
А на воде вдали стоит
Столб света.
Он не скользит, как робкий луч,—
Струится сонно
Меж белых и зеленых туч
Столб солнца.
От глубины до глубины
Отвесен.
Наверно, камешки видны
В том месте.
Тот столб исчезнет без следа
В пейзаже строгом.
Как плотен свет: за ним едва
Видна дорога!
Дорогой этою пешком
Вчера под вечер
Сюда я с легким посошком
Шел издалече.

* * *

Льнет ко мне льняная челка —
Тихо греется девчонка,
Искупавшись только-только...
И луны томится долька.

Дышит северная нега.
Воздух грешен, чист и юн.
Светит простенькое небо,
Таает в сумерках июнь,
Тонет он в тепле туманном,
Шелковистый, необманный,
На больших лутах настоян,
На семи духах...
Дыши!
И отхлынет все пустое
С истомившейся души.

ТРИ КРАСОТЫ

Дурманя голову, как слава,
Та красота войдет в права,
Едва проклонут землю травы,
И губы загрузят едва.
И пропадет.

А есть другая.
Ее увидеть сможешь ты
Лишь в час, когда изнемогая,
Она просветит сквозь плоды.
А кто сумеет мне ответить —
Он знает что-нибудь про третью?
А есть такая, что невнятно
Всю жизнь на глубине течет?
И лишь в прощальный час заката
Нежданной щедростью блеснет!..

• • •

В глубинах мироздания слышу слово —
Его еще никто не смел найти.
С невыносимой маятой немого
Я вслух его хочу произнести...

• • •

Опять осенний свет сквозит в Красивой Мече,
И неслышно лист касается реки.
И я стою один. Ознобно чуток вечер.
Переночую здесь, привычкам вопреки.
Один я встречу ночь, тревожную, сухую,
Всем зрением своим почувствую простор.
Потом пойду себе, пойду напропалую
И где-нибудь в ночи да отыщу костер.
А рано поутру падет на землю иней,
И будет холод жить и в поле, и в реке.
Но вот семья берез в пространстве светло-синем
Со мной заговорит на звучном языке.
Какой прибудет день? Какой ударит бурей
Безмерный океан в стучащие виски?
В Европе нес печаль и задыхался Бунин

От скорби и любви, от жажды и тоски.
О, жажда слов живых, раскат родимой речи,
Знакомый поворот дороги и реки!..
Осенний свет и дым сквозят в Красивой Мече.
Переночую здесь, рассудку вопреки.
Нам жизнь одна дана — неведомая сила,
Нам вся земля дана и малый край земли.

А как писалось вам, Иван Сергееч, милый,
Вдали от этих мест?

От этих мест вдали?..

ДЫХАНИЕ

Дышат звезды в черном небе.
И младенец дышит в чреве.
И ручей на дне оврага.
Дышит поле, дышит влага.
Дышит сон под сельским кровом.
Дышит рядом лист ольховый.
Дышит звук и тень коня.
Дышат отблески огня.

* * *

И. С. Соколову-Микитову

Языка родного море Русское
Широко-далеко простирается.
Все в него впадают речи-говоры:
Курские, рязанские, владимирские...
А числом их столько — дай бог памяти!
Отвяжу-ка я челнок свой легонький —
Плыть мне день и ночь, не зная устали...
Жемчуг ли достанется мне редкостный,
Иль пучина и забвенье темное?

III

ПЕСНЯ

Есть городок на огромной планете —
Ночью над речкой четыре огня.
Это отсюда давно на рассвете
Ты проводила в дорогу меня.

Вижу тебя побледневшей и строгой,
Скорбные руки и белый платок.
Тихо сказала ты мне на дороге:
«Не остуди свое сердце, сынок!»

Тихо река мне тогда повторила,
Чистое поле вдали повторило,
Веткой береза качнув, повторила:
«Не остуди свое сердце, сынок!»

Эти слова позабыл я до срока.
Столько промчалось снегов и дождей,
Столько я встретил на дальних дорогах
Добрых людей и недобрых людей.

Все в этом яростном мире непросто.
Вот уж и мне забелило висок.
Вспомнил я вдруг обжигающе остро:
«Не остуди свое сердце, сынок!»

Тихо река мне опять повторяет,
Чистое поле вдали повторяет,
Веткой береза качнув, повторяет:
«Не остуди свое сердце, сынок!»

В небо я лез, замерзал я под снегом,
Еле живой выходил из огня,
Вот и зажглась запоздалая нежность,
Словно подснежник, в душе у меня.

Блудный твой сын, твой мальчишка упрямый,
Ходит по свету в обмотках дорог.

Ходят по свету слова твои, мама:
«Не остуди свое сердце, сынок!»

Тихо река мне опять повторяет,
Чистое поле вдали повторяет,
Веткой береза качнув, повторяет:
«Не остуди свое сердце, сынок!»

ЖИЛ МАЛЬЧИК...

Смотря в туманный мир тревожный,
Он, маленький, почти ничтожный
Среди созвездий и машин,
Казался сам себе большим.

Стучало потаенно сердце.
Он знал — шла кругом голова! —
Что всё вокруг: вода и солнце,
И клены в небе, и трава,
И даль дорог, и подорожник —
Всё для него! Всё для него!
И мир, что вырастил художник
Из боли сердца своего.
И та пронзительная книга,
И та судьба, в которой стон,
И та любовь... Всё, как сквозь сон,
Для насладительного мига,
Когда к ним прикоснется он!

За то одно, что это видеть
И принимать умеет он,
Ему казалось: он провидец,
Судьбой особой наделен.
Он мог легко других обидеть.

И думал он, раскрытый настежь,
Что любит мир его большой
За то одно, что он живой.
В нем всё рождало отзвук счастья,

Вот он передо мной маячит,
То ночью, то средь бела дня...

Что сделаешь, я — этот мальчик.
В далеких днях, но всё же я!..

* * *

Не выше подняться, не выше
(Я в детстве лишь «выше» мечтал) —
Такую же радость услышать,
Какую учитель слышал.
Не выше куда-нибудь прыгнуть,
А вылепить смысл красоты
И, редкой свободы достигнув,
Увидеть живые черты.

Призвавши надежду и смелость,
Нащупать горячую нить
И жизни такую же меру
Принять и до дна ощутить.

* * *

Любые безразличны формы, —
Заметил как-то Лев Толстой.
Неважно, как тебя оформят,
В обложке выпустят какой.
Лишь важно, чтоб рвалось дыхание,
Чтоб от престоля до глуши
Все охватило полыханьем
Твоей мятущейся души.

ОВЕЩЕСТВЛЕНИЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ

Туча пошатнулась
и пошла,
повернула к солнцу.
Вечереет.
Голубь вздрогнул.
Цвет его крыла
всюду реет.
Этот цвет густеет и рябит.
Но, пока я добираюсь к дому.

возникают тысячи рябин —
огненно стоят по окоему.
На закат глазею, как дикарь,
как язычник, весело немея!
Мне, как в детстве, предстоит диктант,
а слова писать я не умею.
Только эта мука не напрасна:
суть вещей нужна мне —
не окраска!

Вот идет старик, проносит взгляд,
словно ветви, простирая древность;
тени на лице его стоят
тяжело,
как на снегу деревья.

ОГНИ

Я радуюсь друзьям,
Умеющим дружить
Без выгоды ничтожной.

Я радуюсь огням,
Умеющим светить
Без обещаний ложных.
Я радуюсь умам,
Умеющим отдать
Свой смысл высокий.
Я радуюсь словам,
Умеющим молчать,
Готовить сроки.

НЕПОДВИЖНОСТЬ

И все. сначала.

Шум идет,
Зеленый, влажный, розовый, тягучий.
Играет лучик. Яблоня поет.
Лес облетает. Снег пылит сквозь сучья.

Бег времени — и в этом мой изъясн! —
Я уловить не в силах на природе.
Лишь отмечаю время по друзьям,
Которые безвременно уходят.

ПРИКОСНОВЕНИЕ

Костер в ночном окне вагона
Возник, колеблясь в глубине
Огромной ночи многотонной,
И прикоснулся вдруг ко мне.

Пронзило черное окно
Живое теплое пятно.

А человек в степной глуши
Не встрепенулся ли ответно,
Как бы в безветрии от ветра
Другой промчавшейся души?..

ДВА ПЕЙЗАЖА

1

Смотрю, былинка вздрагивает слабостно,
Дурманно реют росы — зреет зной.
И утро наливается, как яблоко,
Переполаясь красной желтизной.
И гулкий полдень падает
к ногам,
Переломивши небо пополам.

2

Обломный ливень,
огромный ливень,
Зигзаги трещин,
грозя,
блестят.
Стеною ливень.
В проломе ливня
Мне виден
светом залитый сад.

ЯРМАРКА РАДУШИЯ

Яблоки на ярмарке —
Здесь и там.
Выбирают яблоки по зубам!
Звонкие антоновки мы берем,
Кованные тоненьким холодком.
— Добрые-недробные,
Эй, простак,
Подходи, пробуй
За просто так!

Бабы сыплют байками.
Народ говорит.
И словечко бойкое
Яблочком горит.
Сколько в нем задумано
Тайной глубины,
Семечки задымленно
В глубине видны.

— Что ты скалишься, чечетка?
Ты не смейся, я не пьян.
Хощь, пройду по нитке четко,
Озирнусь на твой, чечетка,
Ослепительный саян.

Все вокруг заверчено,
Толкают в бока.
Спелые просвечивают
Облака.
Яблоки! —
Над ярмаркой
Легкий звон.
Белый свет за ярмаркой
С четырех сторон.
Дышит солнце сочное.
Мне легко и солнечно.
Мне счастливо дышится.
Унесу словечко я,
 никогда не слышанное,
Унесу и выпущу,
 не возьму в полон.

И пылает в воздухе
Легкий звон!
Наливное облако,
Как большое яблоко!
Покатилось яблочко
и — за горизонт...

* * *

Ни просвета, ни звезд —
Колосятся дожди!
На полтысячи верст
Колосятся дожди.
За машинным стеклом
Колосятся дожди,
Отдаленные сном
Колосятся дожди...
Колосятся дожди
Тяжелы
и щедры.
Как земные дары,
Колосятся дожди...

ПЕРЕМЕНЧИВЫЙ ДЕНЬ

Шел день с непостоянным обликом.
Неверный день. И с высоты
Горячий свет прозрачным облаком
Упал на мглистые кусты.
И в темных мыслях обличенные,
Они зажглись наискосок.
И капли, солнцем облученные,
Скользят по лезвиям осок.
И все живет мгновенной радостью, —
Все звери, птицы, муравьи,
Кузнечики готовят радугу
На средства скудные свои.
Но снова мокрой мглы дыхание.
Разрушен свет. Ползет шуршание...
Я в теремах лесных и школах
Брожу и слышу, захмелев,
Не то дождя сквозящий шорох,
Не то шушуканье дерев...

ПЕЙЗАЖ ПОД ОДОЕВОМ

Теплым летом, ранним летом
Мы проходим полем-лесом.
На закате в эту пору
Растеряешь все слова.
На раките с перебором
Ходит-тешится листва,
Эти узкие листочки
Завертелись налегке.
Светят синие лесочки-
Перелески вдалеке.
Все в округе приумолкло,
Лишь ракита над бугром
Похвалялась, точно мокрым,
Перекатным серебром.

* * *

Всплывает всякий раз —
Глаза прикрою только —
Две озаринки глаз
И детский профиль тонкий.

Нам было все дано:
Все краски без печали,
Мы бегали в кино
И первый гром встречали.
Встречались всякий раз —
В любую непогоду,
И что-то пело в нас
Щемяще и свободно.
И ветер тоже пел
Пронзителен и гулок,
И мотоцикл летел
Сквозь черный переулоч,
Летел на блеск огней.
Дыханье замирало,
И ты к спине моей,
Качнувшись, припадала...
Листвой занесена,
Ты на перроне дачном
Меня ждала одна
В своем плаще прозрачном...

Мне помнится, поверь,
Тот звездный перекресток.
Ты светишься теперь,
Как в полумгле березка.
Ты светишься сквозь дым,
Сквозь все мои заботы.
И праздникам моим
Недостает чего-то.
И за сердце берет
Тот переулок темный,
Когда сирень цветет
И ветер с юга теплый...

• • •

Как медленно паденье солнца!
Пейзаж заброшен, хмур и дик.
Лишь миг, и силуэты сосен
Исчертят тонкий красный диск.
Пока он будет долго падать,
Чтоб точкой стать и день избыть,
Ты будешь сквозь печаль и радость
Весь этот миг меня любить,

• • •

Те сны, проселки, реки, swei
Исчезли, превратились в дым,
Была она на белом свете,
Страна под именем твоим.
Ко мне ты в будни загляни-ка,
Пришли почтовых голубей,
Была краснее земляника
И голубика голубей.
Но что нам делать?
Всё напрасно.
Дай руку, я пойду к тебе
По той сквозной далекой ясной,
По той несбыточной тропе.
Какое там светило солнце!
На плесах плавились огни,
И, словно солнечные сосны,

Смещались медленные дни.
Но сердце чаще бьет и глуше,
А прежний свет невозвратим.
И сам я был когда-то лучше
В стране под именем твоим.

* * *

Ты пришла вечернею росой
С натуго затянутой косой.

Ты ушла по утренней росе...
Колоски запутались в косе.

Ты ушла в зарю, в туманы, в Русь.
Превратилась в утреннюю грусть.
Лишь остался в небе след звезды —
Капля высыхающей воды...

* * *

Я ухожу от мудрых книг
Туда, где петушиный крик,
Туда, где журавлиный клин,
Туда, где золотистый клен
Летит в заоблачную синь...

* * *

Откуда эта чистая тоска
У певчих птиц, поющих без запрета?
Поют. Я светлый и хмельной слегка.
Иду от милой за лучом рассвета.
Божественного нет в напеве том,
Он прост. Но долго слушаю, немея,
И что они постигли существом,
Всем разумом постичь я не умею.

* * *

Утро было сереньким и ранним.
Плыл туман, редел.
Кто-то шел невидимый в тумане
И негромко пел.

Голос тот не рвался в поднебесье.
Голос был почти как тишина.
Кто-то пел себе... Была же песня
Далеко слышна.

* * *

Ты вышла из шума зеленой волны,
Где тихо паслись валуны, как волы.

Бугрились, блестели в воде их бока,
Клубились, белели вдали облака.

Я вышел из шума зеленых деревьев,
Из клена я вырезал птичий напев.

Я слышал касанье волны и ветвей,
И все было как бы во власти моей.

* * *

Из жизни ты моей уйдешь
На все четыре стороны.
Проселки эти, поле, рожь,
Рассвет... разделим поровну.

Из жизни ты моей уйдешь,
Мелькнешь за дальней рощицей,
И что-то все-таки возьмешь
И больше не воротишься...

IV

СТИХОТВОРЕНИЯ В ПРОЗЕ

• • •

Святослав Рихтер играл сонаты Бетховена.

Граненый, чистый, прозрачный звук ожил в большом зале Московской консерватории; то набегающий частый, то разреженный, напоминающий медленно падающие с апрельских крыш капли.

Игралась соната № 11 си бемоль мажор. Музыка в моем сознании постепенно как бы обретала цвет и казалась мне светло-зеленой. В моей памяти возникло что-то неопределенно знакомое. И через несколько мгновений я вспомнил... Раннее воскресное утро на одной из тульских улочек, тогда еще не перестроенной, сплошь деревянной, сходящей к реке и как бы заставленной малыми садами.

Это летнее утро было еще свежим, редкозвучным. Но вот я, спускаясь к реке, услышал стройные прекрасные звуки, такие неожиданные здесь, в этой тишине. Я остановился. Звуки эти исходили из глубины старого сада. За деревьями смутно виднелся двухэтажный флигель. Наверное, окно комнаты, в которой играли, было раскрыто. Не могу ручаться, но мне кажется, это была именно соната си бемоль мажор, вторая ее часть. Мне страстно захотелось увидеть лицо того, кто играет. В глубине души я смутно желал, чтобы оно оказалось девичьим; прекрасным утренним лицом. Но звуки оборвались. Никто не вышел, ничто не шелохнулось во дворе. Я постоял несколько минут, подождал и пошел своей дорогой. Когда я уже был довольно далеко от этого места, вновь оттуда зазвучала музыка, та же самая...

Конечно же, тот, кто играл, не был великим мастером. Но звук был живой, чистый и словно бы светло-зеленого цвета. Он соприкасался с этим сереньким, но уже начинающим светиться тихим радостным воскресным утром. И обещал многое.

Годы ученичества. 8-й класс. Лето. Мы на Оке. Ока серебристо-белая, млечная. Сосны. Туманные дали. Прекрасная пора!

Однажды мы не спали до рассвета. И помню, девушка, наша сверстница, читала наизусть стихотворения в прозе Тургенева. Они излучали какой-то странный мягкий старинный свет. И в каждом из них как бы мерцала, теплилась маленькая тайна, точно в белых сумерках летней ночи зажигалась и горела свеча и дрожал над ней золотистый венчик. Мы все хотели сильно и чисто прожить жизнь. Мы не говорили об этом друг с другом. Но мы это чувствовали. Все казалось нам по плечу — любые задачи для ума, чувства и совести. Все было впереди! И ощущение собственной избранности, и доброта к людям, и непримиримость — все слилось воедино и стало предчувствием огромной любви, которая вот-вот должна прийти и перевернуть жизнь. Я хотел любить и хотел, чтобы меня любили. Но почему-то, как бы отделившись от этого школьного рассвета, я его видел издали. В один и тот же миг я как бы жил в этом рассвете и уже вспоминал его; и я несколько раз почему-то повторял про себя: «На заре туманной юности...», и опять: «На заре туманной юности...». Я повторял эти слова с острой юношеской грустью тогда еще летом, на Оке, в прекрасную пору нашей жизни.

ДОМ ПОЭТА

Археологи при раскопках в Помпее один дом называли Домом Поэта. Назвали, конечно, условно. Возможно, в этом доме жил вовсе не поэт, а просто человек, склонный к искусству. Но поверим, что именно поэт. Как он жил? Наверное, двери его дома никогда не запирались на засов. А может быть, поэт был замкнутым человеком, философом и книжником. Может быть, он любил ходить по площадям и шумным улицам, дышать теплым солнечным воздухом, заглядывать на торги, слушать народный говор и смех, и брань, и песни бродячих музыкантов... По ночам, когда летнее небо вселяло в него неясную, полную звездного света тоску, он ощущал в себе пронзительную жизнь и писал стихи. Был ли он молод, или стар, или зрелость пришла к нему? Ушел ли

он из жизни, написав свою главную книгу, или так и не создал ее?

Понимал ли он, что жилище его находится, в сущности, у подножия вулкана, или вовсе не думал об этом и был мудр и беспечен, как и подобает истинному поэту?..

ВЗГЛЯНУТЬ В ГЛАЗА ПРАВДЕ

Взглянуть в глаза правде — всегда трудно.

Не каждый может вынести встречного взгляда. Надо решиться, заставить себя поднять глаза. Но... не всегда человек в силах совершить такое, и он откладывает этот миг, уповая на время и полагая, что все произойдет само собой, когда-нибудь разрешится. А годы идут, потом летят, да так быстро, что ветер рвет воздух у самого лица! Старик, который все понимает рассудком, никогда не сможет взглянуть правде в глаза, если он не сделал этого в зрелости, в молодости своей... В старости у него попросту не хватит сил. Надо не упустить время. Надо стараться как можно раньше взглянуть в глаза правде. И если ты не сломаешься, выдюжишь, взглянув в эти прекрасные безжалостные глаза, то жить ты будешь достойно и трудно, и жизнь твоя будет похожа на песню.



Принадлежать не внешнему, манящему, легко изменчивому; принадлежать тайным силам природы, развиваться с ними, дышать с ними одним дыханием, глубоким, сильным, ощущать всем существом суровую ткань жизни, ее противоречия, борения. И пламенно, нежно, несказанно любить все живое, животворное... Рождать жизнь...

САНИТАРНЫЙ ВРАЧ

Санитарный врач Петр Петрович Белоусов был безнадежно болен. Стояло лето 1896 года. Июль подходил к концу. В сухие жаркие дни Белоусов задыхался, во время дождей суставы его и все тело изнывали от ревматических болей. И только душа, кажется, не уставала жить. Зная, что его дни сочтены, Белоусов все-таки продолжать строить планы, мечтал осушить в городе болотистые места. Пыль, грязь, сырость; тяжелый, дым-

ный над заводами, хмурый несвежий воздух. Не такой он хотел видеть Тулу...

Ему едва перевалило за сорок. Что он успел сделать? Иногда, впадая в забытие, он видел село своего детства, отца-священника, мать, яркую зеленую после дождя траву возле сельской церкви... Потом зеленый цвет странно преображался, темнел, становился бутылочно-го цвета, покрывался влажным стеклянным блеском. Это катило свои волны Черное море у берегов Ялты, где он недавно лечился. Но ни благодатный крымский воздух, ни южное солнце, ни теплое море не могли уж помочь ему... А то вдруг виделась зала, где он защищал диссертацию на степень доктора медицины. Подумать только, это было совсем недавно, в апреле! Всего три месяца прошло...

У него была тогда высокая температура, и зала ему виделась то с преувеличенной, резкой отчетливостью, то плыла, точно в тумане... И вообще вся его жизнь последних лет проходила словно бы в таком же горячечном состоянии, проносилась с лихорадочной быстротой. Ученик знаменитого Эрисмана, он окунулся в жуткие будни губернского города, того самого, который явился нам в «Нравах Растеряевой улицы». Боже мой, сколько ему приходилось работать, ходить по трактирам, гостиницам, ночлежкам, уговаривать, убеждать, штрафовать... Равнодушные городских властей, тупость и забитость городского обывателя. Как все это преодолеть? Сердце готово было сто раз надорваться от безысходности, от напрасных усилий. Но он работал, работал, работал, точно день и ночь вертел тяжкое колесо, которое медленно, со скрипом поворачивалось... Он бы мог начать красивую жизнь преуспевающего врача. Но каждому свое: он был подвижником. «Когда же в нашем отечестве начнется прекрасная разумная жизнь?» — думал Белоусов, и сердце у него сжималось еще больше. Он не склонен был к сентиментам. Но сейчас, прикованный к постели, он хотел написать письмо Антону Павловичу Чехову, встретиться с ним когда-нибудь, поговорить. Он несколько раз, даже, может быть, не отдавая себе отчета в том, думал о поездке Чехова на Сахалин, об этой его концентрации всех духовных и физических сил, об этом желании совершить в человеческом мире нечто непреходящее... Думал он также о невыразимом чувстве одиночества, которое охватывает

порой именно деятельные и деликатные натуры. Этим знакомым Белоусову чувством дышали многие страницы чеховского путешествия... Но писать письмо было как-то неловко, а встретиться с Чеховым,—он понимал,—ему уже не суждено.

Русский санитарный врач, он занимался нечистотами большого города — самой низменной прозой жизни, добивался постройки городского водопровода. Водопровод был открыт. Появились поля обезвреживания нечистот. На пустыре, на возвышенности, где была свалка и откуда после весенних и летних дождей текли в низину города, к кремлю тяжелые грязные мутные потоки, он разглядел место для будущего огромного парка и посадил там первые ряды деревьев.

Даже в свои самые последние дни, зная, что жизнь кончена, он все-таки жил надеждой еще хоть что-нибудь сделать для русского общества...

Когда я думаю о Петре Белоусове, сердце мое начинает стучать ровнее, воля моя укрепляется. Я знаю: не пропадет, не сгинет человеческая культура, покуда есть на белом свете такие люди, как он.

...Умирал санитарный врач Петр Петрович Белоусов. А на южной окраине Тулы шумел, зеленел, разрастался посаженный им парк.

* * *

В Москве, во дворе Донского монастыря, неподалеку от малого храма, едва поднимается над снегом чугунная плита, на которой значится: «Петр Яковлевич Чаадаев кончил жизнь 1856 года 14 апреля».

Долго стою над этой тяжелой плитой, над этими выпуклыми буквами, смотрящими в вечеряющее холодное небо января. Под этой плитой покоится прах великого гражданина. И в зимних сумерках как бы вспыхивают все время перед моими глазами пушкинские строки:

«Любви, надежды, тихой славы
Недолго нежил нас обман...»

Первое из восьми «Философических писем» Чаадаева было опубликовано в журнале «Телескоп» в 1836 году, за сто лет до того, как я родился. «Жить,—думаю я,—только так жить, чтобы все время чувствовать глубину жизни, глубину времени, глубину пространства...»

V

* * *

Как не любить мне эту землю,
Где мне дано свой век прожить,
И эту синь, и эту зелень,
И тропку тайную во ржи.

Мне хорошо в твоих раздольях,
Моя любовь, моя земля,
Крестьянка русская в ладонях
Весною нянчила тебя...

Как не любить мне эту пашню,
Что битва кровью обожгла,
Как мне забыть за правду павших
Крестьян из нашего села!

Земля, под грозами ты мокла,
Сквозь бури шла и ожила!
Скажи, а все ли сделать смог я,
Чтоб ты любить меня могла?

Когда к тебе я припадаю,
В туманной нежности полей,
В твоём тепле я вспоминаю
Ладони матери моей.

Как не любить мне эту землю?..

* * *

Это ясное поле, зеленое, с отблеском белым,
А за ним — бесконечный раскат и движенье
лесов и полей.
Возвратится ль ко мне здесь, сейчас, в этих
чутких пределах
Удивленье и образ, уверенность в жизни
моей?

* * *

Не кануло это во тьму.
Всем этим душа моя грезит.
Вот едет Танеев к нему,
Вот едет к нему Гольденвейзер.

О, съезд этих милых гостей!
Толстовские хвойные брови
И мысли о духе и боли,
О боли чужой и своей.

МАХАТМА ГАНДИ

Был январь.
Мне двенадцать исполнилось.
Ганди
Был убит.
Ганди, мой современник.
Вот он внучке своей
Говорит в день убийства:
«Если я не от пули умру,
Значит, знай, что я — ложный махатма»¹.
В этот день было холодно
В Ясной Поляне
И снежно.
Он когда-то прислал
Льву Толстому письмо,
Выбирая свой путь на Земле,
Поднимая свой парус Надежды.

* * *

Жить, не прощаться с жизнью
Вовеки, никогда:
Вот поле. Лес. Вода.
Мелькнувшая звезда
Подобна укоризне.

¹ Махатма — великая душа (гинди).

Жить, не прощаться с жизнью
Вовеки, никогда...

О, разум мой, ты беден,
Но жизни смысл придай
Такой, чтоб в миг последний
Ей не сказать: «Пронцай».

* * *

Шел по жизни он как бы на ощупь.
В дымном граде, где варят металл,
Посадил он зеленую рощу.
И, страдая, стихи написал.
Постепенно забыли об этом —
Роща чья? Чьи такие стихи?
За рассветом являлись рассветы,
И кричали, кричали газеты,
А за час до газет — петухи.
Были новости. Что там о прошлом,
Хоть успеть бы прочесть до конца:
Били новости грубо наотмашь
И до звезд поднимали сердца.
Страсти давние, давние дали.
Так все это — а, может, не так.
Мир телесен. Какой-то страдалец
Жил когда-то, а, может, чудак.
«Все проходит!» — счастливые ропщут.
Только этим словам вопреки
Остается зеленая роща
И забытые нами стихи.

КОСАЯ ГОРА

Шагаю я утром туманным.
И нынче опять, как вчера,
Меж Тулой и Ясной Поляной
Дымится Косая Гора.

Там домны, сады и карьеры.
Июнь или белый январь —
Косым треугольником серым
На лес опрокинута гарь.

И вижу я: утром туманным
Льют шлак из большого ковша,—
Как будто открытая рана...
И колет огнем первозданным
Индустрии старой душа.

Народ в свое дело погружен.
Чугунные хлебы печет.
И даже в жестокую стужу
Здесь теплая речка течет...

ЯРОСЛАВ

Памяти Я. Смелякова

Мне, может быть, так не по праву
Его и в стихах величать,
Но хочется мне Ярославу
Прощальное слово сказать.

Мы, люди, не очень-то любим,
Чтоб нас прямота обожгла.
Но не было в нем честолюбья.
В нем самолюбивость была.

Сквозь эти углы и колючесть
Он музыку видеть хотел.
Он тайно светился сквозь тучу.
Он северным солнцем смотрел.

Хоть я к сентиментам несклонный,
Но остро мне в сердце вошли,
Те дни, когда жил он у Дона
На краешке Тульской земли.

Привиделось мне, как ни странно,
В последний уже полумиг:
Как будто еще Феофаном
Подобный был выписан лик.

А что в нас, скажите на милость,
Открыто лишь в поздней тиши?
Ранимость —

необходимость
Любой полуночной души.

И здесь, под живыми снегами,
Под шумом неполной листвы
Остался не прах и не камень
На кладбище старой Москвы,

Но врезался в память России
Не бравший взаймы ничего
Талант его редкий и сильный,
Как самое имя его.

СОКРОВЕННАЯ ЗЕМЛЯ

У каждого сердца есть песня своя,
Что греет в дороге метельной.
А песня моя — ты, родная земля! —
Милей ты мне, Тульская наша земля,
Похожих земель сопредельных.
Похожих!.. Но все-таки, все-таки здесь
Отметит душа твоя смело:
Повадка особая, тульская, есть,
Не спутаешь эти пределы.
Случится, коль долгие годы живешь,
В какой-нибудь день неминуемый
Обидишь свой город и скажешь-вдохнешь:
«Ты, край мне родимый, наскучил!»

Сквозь грады и веси, сквозь дождь-облака
Пройдешь, сквозь рассветы-туманы..
Дорога — она далека-далека,
Уходит туда, где кочуют века..
И вдруг тебя снова потянут
Красивая Меча, и Дон, и Ока,
И Ясная Поляна.

Вернешься к местам сокровенным своим,
И в душу твою будет литься
Не то чтобы ветер, не то чтобы дым —
Дымок бесконечный, смолистый.
И словно бы вдруг ниоткуда мотив
Возникнет. Уловишь, услышишь,
И раннюю юность еще не забыв,
И силу свою ощутивши.

Я столько средь этих долин и холмов
Ходил, наблюдатель пристрастный,
И столько прекрасных и светлых умов
Светились на этих пространствах!
У рощицы белой, у темных кустов
Воронка петляет, сверкая...
Я помню, старик Соколов-Микитов
Об этом расспрашивал крае.
Подробно о жизни расспрашивал он,
О внутренней той и наружной,
А сам он душой был навек прикреплен
К Смоленской земле и Калужской.
И я ведь судьбы не представляю своей
На суше и море безбрежном
Без тульских заводов, без тульских полей,
Без речки сияющей Сежи...

О, засека эта и этот причал,
Собрание проселков и пашен!
Скажу, как Твардовский однажды сказал,—
Вот «малая родина» наша.
И, правда, ведь эта вода и земля
Имеют особую цену,
Пускай не для всех современников,— для
Меня, в беспредельной Вселенной.
В Отечестве нашем — в сиянье зари,
В снежинках и в каплях рябины —
Ты, родина малая, скрыта внутри,
Как в древе большом сердцевина.
Кто родину малую в промельке дней
Когда-нибудь все же забудет,
Кто будет неверен природе своей —
Тот попросту счастлив не будет.

ПРИГЛАШЕНИЕ К ПУТЕШЕСТВИЮ

Так трепещет лист бумажный
На столе моем.
Ветер вешний, ветер влажный
Заструился в нем.
Вот затих, вот снова вздрогнул.
Дали так чисты.
Там вдали сквозит дорога
И дрожат листья.

VI

ПРОЩАНИЕ С ТУЛОЙ

(Поэма)

1

Всему земному час назначен.
И вовсе не минует нас
Час горести и час удачи,
Час встречи и прощанья час.

И невесомый час урочный,
Не постучась, вошел ко мне,
Как будто странный гость полночный
Явился в поздней тишине.

Незванный гость! Мне не обидно,
Что ты пришел. Вот мы вдвоем,
И, хоть тебя нигде не видно,
Твое присутствие — во всем.

Мой срок настал. Мой ум разбужен.
Мне надо выбирать пути,
Хочу не мальчиком, но мужем
По жизни яростной пройти.

2

Прекрасен мир! Листву и корни
Хочу постичь. Хватило б сил,
Чтоб жертвенно, как Павел Корин,
Прожить. Он жажду утолил.
Еще мой разум не слабеет
И свежесть чувств жива! И вдруг
Засомневаюсь, заробею...
Но мне сказал мой старший друг:
— Умельцев много знаменитых,
Но Туле их не занимать,
Мы сами ведь не лыком шиты —
Горшки умеем обжигать!
— Скажи, а что мне взять в дорогу? —
Тогда спросил я у него.
— Взять? Мастерство! — сказал он строго, —
И совесть сердца своего.

3

Стою. Как трудно расставаться!
Смотрю на город не дыша,
На улицы, где, может статься,
Вчера ходил косою Левша.

В самих названиях суровых
Усладу тайно нахожу:
По этой Дульной и Курковой,
по Ствольной снова прохожу...

Смотрю на древний кремль заветный,
На новый отблеск куполов,
На Тульский трек велосипедный,
На голубятни туляков.
На эту жалкую речушку,
Что сердцу все-таки мила.
Мила. И это не причуда:
Ее мне Родина дала.

И на завод смотрю свой славный,
На вечный оружейный, тот,
Что среди наших тульских — главный
И первый все-таки завод!
На парк, когда он весь заснежен,
Когда он весь одет в листву,
На лес тот Сеженский, на Сежу —
Смотрю и в памяти несу.

4

Пришел я к мастеру однажды
Не для того, чтоб утомить
Вопросом праздным. А чтоб жажду,
Познания жажду утолить.

Он много знал и много сделал,
Он видел мир — явлений связь,
Хотя за ближние пределы
Не выезжал он отродясь.

И, глянув на меня с прищуром,
Он усмехнулся, хмур и сед.

Я слышал в слове «Перекурим»:
«Зачем пожаловал, поэт»?

Сначала я смутился даже.
Сказал, что я минут на пять,
Не говорить же, что о важном
Я с ним пришел потолковать.

Вот так. Работали мы вместе.
Теперь за песни я берусь.
Глаза поднять я не боюсь:
Живое дело — сделать песню,
Чтоб люди знали наизусть.

Так отчего ж во мне мученье
Горит, болит и жжет огнем?
И в чем — скажи мне — назначенье
И в чем достоинство мое?
Смешно служить весь век потехе.
Как жить? Как быть?..

А вслух сказал

Я мастеру:

— Хочу уехать,
— Уехать хочешь?! Я слышал.
И вдруг добавил между прочим
И глянул как бы из-под век:
— Вот я гравёр — сосредоточен,
И я на месте весь свой век.
А твой удел бродить, быть может,
Схватить жар-птицыно перо,—
Тревожиться, других тревожить...
Все ново, что давно старо!
Вот посмотри, я это сделал,
Полжизни, может быть, отдал,
Пусть это и не идеал,
Но делал я, как мог, умело.

И тут пластинку из металла
Мне строгий мастер протянул,
И сердце глухо застучало,
Когда я на нее взглянул.

На ней жила микрогравюра:
Был четко старец нанесен —

Не гордо, но и не понуро
Клонился над работой он.

Когда же я вооружился
Увеличительным стеклом,
Я разглядел, над чем трудился
Тот старец на рисунке том.
Он там, на крохотной пластине,
Потоньше волоса, резцом
Нанес склоненного мужчину —
Творца с задумчивым лицом.
И тот мужчина, как и старец,
Гравюру делал, хмурия лоб,
Но след резца как бы растаял...
Тогда я глянул в микроскоп.
И на гравюре в четком виде
На той, что меньше прежних двух,
Живого юношу увидел...
Аж перехватывало дух!
Подобно старцу и мужчине,
Сжимал он волосок резца...
Картина там жила в картине,
И жизни не было конца!
Постигнув смысл, затрепетала
Моя смущенная душа —
Такого сделать бы, пожалуй,
Не смог бы и косой Левша.

И вдруг почувствовал я жжение
С той вечной левой стороны,
Где бьется сердце. Напряженье
Его коснулось, как струны.

А мастер, сняв с лица заботу,
Расхмурился и так сказал:
— Мне эту самую работу
Отец когда-то завещал.
Любил он подымить махоркой.
Побалагурить у ворот,
Еще любил он поговорку,
И говорил мне наперед:
«Я с тобой расстанусь,
Я в тебе останусь».
Отец мой, был он прост обличьем,

Но цену знал себе сполна:
Подобно ложному величию,
И скромность ложная вредна.
Чего не помнит мать-Россия,
И столько утекло воды!..
Но терпеливо наносили
Мы на металл свои следы.

5

Прощай, мой город, друг суровый,
Ведь у тебя учился я:
Умеешь смастерить ты слово
Не хуже меткого ружья.

И знает Русь — оно понятно, —
Что Тула на язык остра:
Здесь жил Балакирев когда-то,
Тот знаменитый шут Петра...

Прощай, мой город, мне подарен
Ты не случайною судьбой,
Тебе я вечно благодарен
За мастерство, за навык свой,
За то, что ты учил: «Сумей-ка
С любой сдружиться высотой!»
За эту школьную скамейку,
Над этой тихой Упой,
Где мальчик с дерзостью беспечной
В миг потаенный, в час ночной
Глядел на Путь размытый Млечный,
Касался вечности душой,
Не зная жизни быстротечной...

Прощай! Дышу с тобою слитно,
Слегка кружится голова,
И, словно чудную молитву,
Я вспоминаю вдруг слова:
«Я с тобой расстанусь,
Я в тебе останусь...»

ДЕРЕВНЯ ФИЛИМОНОВО

(Маленькая поэма)

1

Иду долиной белою,
Иду себе один,
Встречаю тучки беглые,
Как облики былин.

Деревни, как на скатерти!
Иду, не чуя ног,
От Нестерова к Татьяну,
А дальше — через лог.

Ах, эти краски бедные,
Деревни-острова,
Одни лишь снега белые
Да черны дерева!..

И вот она, знакомая
(Не шапочно знаком)
Деревня Филимоново,
С обветренным лицом.

Их дело многотрудное
Я сам уразумел.
Синика — глина чудная
Им дадена в удел.

О том немало сказано
И нынче говорят:
Они свистульки разные
Из глины той творят —
Всё пастухов да конников,
Ребят да молодых;
В ряду медведь с гармоникой,
Собака и петух.

Стоят-горят по полочкам,
От красок горячи:
В рисунке солнце с елочкой,
Да грабли и грачи.

Ах, эти грабли-грабельки
Да ёлочки мои,
Свистулечницы бабоньки,
Игрушки-соловьи!
И это сходство дальнее —
Все звери, да не те! —
И это нереальное
В лубке и доброте.

Здесь ремесло и помысел,
Здесь божество и клев,
Художество и промысел,
Услада их и хлеб.

Ребятушкам достанутся
Те чудные свистки,
А после игр останутся
Цветные черепки.

2

Деревни, как на скатерти!
Спешу, не чуя ног,
От Нестерова к Татьеву,
А дальше — через лог.

Бессмертны краски бедные!
Деревни-острова.
Одни лишь снега белые
Да черны дерева.

Всё дымка чуть завесила.
Ждет праздник у стола.
Но встретили невесело:
Старуха померла.
Одни лишь сутки минули.
Окончила жите.
— А кто такая?
— Минина.
Так кликали её.
Болезнь ее замучила...

Молчанье. Холод лиц.
Едва ли что не лучшая
Была из мастериц.

И что сказать? Всё сказано.
И так нехорошо:
Вот шел сюда за праздником —
На помины пришел.
Да только не в чем каяться.
Я пристально гляжу.
Снимаю шапку. Кланяюсь.
В сторонку отхожу.

Здесь вместо громкой музыки —
Суровости печать.
И что-то мной не узнано,
Чего уж не узнать...

3

Пылают краски бедные.
Деревни-острова.
Одни лишь снега белые
Да черны дерева.

А ночью снега кружатся,
Гудят со всех сторон.
А ночью душным кружевом
Приходит красный сон:
За мною кто-то гонится,
Сторонится народ.
Навстречу мне с гармоникой
Медведица идет.
Я — вкось: ищу пристанища
И вижу, вдалеке
Летит девица странная
На красном петухе.
Петух, а шея длинная —
Ан вроде зверь другой,
Ну да! И вроде глиняный,
И вроде бы живой.
Они с девицей глиняной
Разбились о плетень...
Потом куда-то сгинула
Вся эта дребедень,
Вся эта жуть морозная,
Вся блажь и кутерьма...

И засветилась поздняя
 Февральская зима.
 А жизнь крепка. И внутренне
 Я слышу вешний звон.
 И будет воздух утренним,
 И будет майским он —
 Весь, как вино из братины!
 Пойду, не чуя ног,
 От Нестерова к Татьяну
 И дальше — через лог.

За брагами, за квасами,
 За праздничным столом
 Мы будем петь Некрасова,
 Есенина споем.

А ну-ка вы, затейники,
 Гремите до зари!
 Звените, коробейники,
 И плачьте, глухари!..
 Мы наши песни длинные
 По многу раз споем
 И те еще, старинные,
 Поросшие быльем...

ЗАДОНЩИНА

(Эпическая поэма по мотивам одноименной древнерусской повести ¹ Софония Рязанца)

Первый пролог

летопись

«Что ми шумить,
Что ми звенить —
далече рано пред зорями...»
Рыжая степь, черная степь, белая степь.
Русских в полон ведут
Половцы.
Что мне шумит,
Что мне звенит?..
Степь
Да печаль
Пленные делят поровну.

Что мне шумит,
Что мне звенит?..
Стон
Да печаль.
Просо летит,
 косо дымит.
Кодос несжатый клонится.
Стон
да печаль.
Степь
раскачав,
стелется низко конница.
Хлещет разнузданно,
 скачет разгул.
Пыльные тучи
 татаро-монгол
сеют
 кровавый дождь
 на Руси.
Боже, спаси!

¹ Примечания автора см. в конце поэмы.

Тянется времени тонкая нить,
Дышит грозой история.
«Что ми шумить,
Что ми звенить —

далече рано пред зорями?»

Софоний склонился.

Туманна молва,

Под сердцем — печаль и слава.
И вырвутся жалость и похвала,
Осветят скупое слово.
Слезящихся век подробна канва,
И взгляд водянист...
О письменность,
Как трудно ложатся твои слова,
Но в каждом из них — независимость!

Третий пролог

ВЫБОР СТИЛЯ

Когда Боян,
Соловей старого времени,
Замышлял
Кому-нибудь славу пропеть,
Он настраивал струны души своей,
И из песен его
Поднималось,

росло,

вырастало

Золотое

могучее

дерево,
на котором слова шелестели
и светились
живые плоды —
холодноватые
сочные образы.

Когда автор бессмертного «Слова»
или автор «Задонщины»,
старец Софоний,
О войне размышляли,
Они так говорили, к примеру:
«Дружину твою, князь,

Крылья птиц приодели,
а звери кровь полизали»².

Или так:

«...в одиночестве изронил он жемчужную
душу

Из храброго тела
через золотое ожерелье»³.
Мы хотим написать
О минувшем давно
Не в манере Бояна,
не по старым былинам,—
по раздумьям нашего времени.
Всё болит в нас.
Нашествие свастик паучьих.
Мы всё помним
дороги, залитые кровью,
по которым
ползут
толпы беженцев пестрые,
и чернеют
убитых тела
у обочин.
Потому что тогда
было некогда их хоронить.
Среди тлена и гари,

и вони, и пыли

безысходно
металось какое-то стадо коров.
Они тяжело мычали,
мотали ревущими мордами,
молоко распирало им вымя,
и тяжелые белые капли
отрывались и падали в пыль.

ПОВЕСТВОВАНИЕ

Глава первая

ЛЕТО 1380 ГОДА

О, русская земля!
Негромко плещут реки
в твоих пространствах.
Солнце по траве
ступает мягко.

Двигутся туманы.
И грозовые блещут облака,
и молнии в них синие трепещут.
О, Дон и Днепр,
Волга и Ока!..
До княжества Московского
тревожно
весть докатилась,
что Мамай поганый
идет на Русь,
чтоб утвердиться снова,
чтоб утешить
и усмирить.
Надолго.
Идет Мамай
бесчисленный
и грозный,
за ним клубится пыль
до горизонта,
и глухо изгибаются
дороги
от топота, от дробота копыт.
Тяжелый лошадиный дух над Русью
плывет
в преддверье
гари,
крови,
пепла.
И волчьи стаи,
и вороньи крылья
сопутствуют движенью лошадей.
Все движется в предчувствии поживы.
Тяжелый дух.
И Русь в оцепененье
глядит речными
синими глазами.
И темными
зелеными
лесными
глазами
на бесчисленное войско.
Доколе ж это будет?
И доколе
от крови набухать

полям и рекам святой Руси?
О тягостное бремя —
тулиться
и казаться незаметным,
чтоб не снесло тебя
волною смерти...
Ночами,
на привалах,
в окруженье костров дымящих
долго и безмолвно
смотрел Мамай
на звездное пыланье
в похолодевшем черном небе.
Зависть
его томила
к старому Чингизу,
который был счастливее его.
Не тот стал дух
у этих круглоглазых,
белесых,
бородатых
иноверцев.
А князь Московский
дерзок и хитер.

Но ничего,
заставит он их силой
ему, Мамаю, низко поклониться,
чтоб знали свое место под луной.
Олег, Рязанский князь,
с Литвою вместе
объединится с армией Мамаю,
и князь Московский
будет опрокинут.
Все решено.
И сам Мамай тотчас же
в своей Орде великой укрепитя.
Никто помыслить даже не посмеет,
что он, Мамай,—

неблагородной крови,
что он не ветвь на древе Чингиз-Хана...
Мамай, поежась,
втягивает воздух
сырой, холодный,

и его тревожит
 неведомое нечто,
 но живое,
томит его...
Бесчисленный Мамай,
он одинок,
и он боится смерти.
И сквозь родной, горячий, конский запах,
сквозь ржание
 он слышит или чувствует
сверлящий тонкий вой...
Нет, это вздор!
И спит Мамай.
Мамаю снятся волки.

Глава вторая

АНДРЕЙ РУБЛЕВ

Кровавый срок. Густое лихолетье.
Остановилось время на Руси.
Исчезли навсегда в пожарах черных
великие творенья мастеров.
От голода, насилия и страха
являлись в мир юродивые дети.
И с белыми запавшими глазами
ходили по пылающей земле...
В монастыре,
в суровом Подмосковье,
где черные резные ели ночью
поскрипывали мрачно и тревожно,
в монастыре том тихом
среди прочих
жил отрок⁴.
У него глаза светились
вниманьем углубленным и спокойным.
Он был неразговорчив,
очевидно,
и неприметен с виду,
неназойлив.
И неизвестно, Сергей Радонёжский
с ним говорил о чем-нибудь негромко
иль взглядом лишь рассеянно скользнул?
И что он делал, этот отрок русский,
в тот день,

когда великий князь Московский
сюда приехал за благословеньем?
Стучало гулко молодое сердце,
горело верой и живым желаньем
освобожденья родины своей.

Он, этот отрок,
был тогда, должно быть,
учеником какого-нибудь старца-
иконописца.

Он учился краскам
и линиям,

за легкостью которых
скрывались

чистота и откровенье,
и сила дружелюбия,
и нежность.

И, может быть, мерещились Андрею
прекрасные, светящиеся храмы
без тени чрезмерности,
простые,

и золотые русские поэмы,
отрезанные, словно дымной гранью,
в двенадцатом оставшиеся веке.

Сквозь грубость
скудной и жестокой жизни,
сквозь мрачное насилие нашествий
в Андрее разливалась
чистым светом
потребность в первозданной красоте.

Тоска по красоте —

она сильнее,

быть может,

чем тоска по ненаглядной,

которую все время увозили

на мокрых потных спинах лошадей

кривые всадники

куда-то в степи...

Томительно гудят колокола.

И черные резные ели

долго

звучат окрест,

впитавши

этот гуд.

Никто не знает

и никто не видит,
что в отроке безвестном,
в том Андрее
скрываются прожитые очи,
огромные, как синь,
над перелеском,
как утром тишина
над синим Доном...
Цветок прекрасный,
выросший над пеплом,
над голодом
и мором,
я вдыхаю
нетленный аромат твой,
запах жизни.
Я чувствую тебя в двадцатом веке.

Глава третья

МОСКВА СОБИРАЕТ ВОЙСКО

По улицам кривым
шатались толки —
вновь быть беде.
Гонцы скакали в Кремль.
Опять резня,
как вечная болезнь.
А может, мимо?
Нет, опять резня.
Нахмурился
Великий князь Московский:
— «Не в силе — бог, —
как сказано, —
а в правде...
Но сила у Мамаева велика.
Пусть явится ко мне
Захарий Тютчев⁶,
боярин верный наш».
И вот уж Тютчев
перед глазами Дмитрия
стоит.
— Захарий, друг, ты храбр
И полон смысла.
Ты нами избран.

Поезжай к Мамаю
с дарами,
вдруг откупимся —
уйдет!..
Не медли, друг Захарий,
собирайся!
Двух толмачей
тебе даем в дорогу.
И Тютчев в путь отправился
тотчас же.
Он в том пути,
едва спасаясь от смерти,
узнаёт о предательстве Олега:
рязанский князь с Мамаем сговорился,
стал под его знамена —
быть беде!
Ягайло, князь Литовский,
тоже с ними.
И вести этой лезвие блеснуло
острее, чем кинжал,
готовый в спину
ударить
и войти по рукоять.
А малые дары
Мамаю вовсе
не к спеху брать,
не для того он с войском
пришел сюда.
Пусть Дмитрий платит дань,
как некогда его платили предки —
такую же размером!
Да исправно.
Тогда Мамай уйдет.—
Таков ответ.
Его Захарий Тютчев снесет Москве,
Послав вперед гонца.

В Москве тревожной собиралось войско.
Что ждет Москву?
Гонцы скакали в Кремль.
Великий князь суров, неразговорчив,
одно твердил:
«Единая земля,

Единый полк,
Единое стремленье,
иначе спасу нет!»
И брат его двоюродный Владимир
Андреевич
Серпуховской
стоял на том же,
князь Полоцкий Андрей
и князь Иван Тарусский,
Василий Ярославский
и другие.
И Сергей Радонёжский
призывал —
в единстве быть.
Монастыри вещали:
«Единенье!»
Колокола качались:
«Единенье»!
Сердца стучали глухо:
«Единенье»!
И вся земля гудела,
как набат.
Великий князь Московский порешил:
— Здесь войско собирается, в Москве.
А остальные рати пусть придут
к пятнадцатому августа в Коломну.
Мы там соединимся.
И оттуда пойдем на Дон.
Но летописи —
слово:
«К великому князю в Москву
пришли князья Белозерские,
крепкие и мужественные на
брань, с воинами своими: князь
Федор Семенович, князь Семен
Михайлович, князь Андрей
Кемский, князь Глеб
Каргопольский и Цыдонский,
пришли и Андомские князья.
Также пришли Ярославские
князья со всеми силами своими:
князь Андрей и князь Роман
Прозоровские, князь Лев
Курбский, князь Дмитрий

Ростовский, и князья Устюжские,
и иные многие князья и воеводы
со многими силами»⁶.

Глава четвертая

ИВАН ДА МАРЬЯ

Крик петуха проклюнул ночь,
и сразу потек рассвет,
неясный, мутный, серый...
Иван очнулся.
Высвободил руку
тихонько:
Марья на руке у мужа
спала.
Она вздохнула слабо,
перевернулась,
продолжая спать.
Он вышел.
С Оки тянуло холодом росистым,
А может быть, податься на Коломну?
Чтобы его хозяин, князь Рязанский,
не досчитался одного Ивана...
А каждый меч сейчас в расчет Олегу.
Смотри, Иван,
решай!
Нелегкий жребий —
решать:
он на земле живет рязанской,
приписан к князю,
под началом — князя...
Он сам —
не свой,
да сердце не пускает
идти к Олегу,
в спину бить своим.
Невмоготу:
Отец сожжен Батыем.
Сестру в полон утнали.
Брат пропал...
Измена князю —
вовсе
не измена

святой Руси
и правде —
видит бог!
Иван перекрестился.
Глянул строго
на лес и поле,
на Оку вдали...
— Быть по сему,
подамся на Коломну.
Иван вошел в избу:
— Давай-ка, Марья,
справляй еду.
И знаешь что, пожалуй,
подамся я к Димитрию сегодня.
Вся русая,
в заплаканной красе
припала Марья к мужниному сердцу.
— Иванушка, Иван,
мой друг желанный,
как мало мы с тобой ночей делили!
Я не успела свыкнуться еще,
что ты мой муж.
И вот уж мы разлучны...
Я буду за тебя молиться, Ваня.
Иди!
И береги себя в дороге...
— Ну, будет, Марья.
Жилистый, высокий
Иван пошел.
Один раз оглянулся.

Глава пятая

коломна

Летопись гласит:
«И пришел князь великий
в Коломну в субботу, месяца
августа в 26 день. Прежде
великого князя сошлись там
воеводы многие и встретили
великого князя на речке
на Северке».

Кончался август.
Золото и синь,
не смешиваясь,
в воздухе звенели.
Димитрий делал смотр войскам.
В природе
звучала зрелость
явственно и чисто
и как бы успокаивала князя.
Какая сила воинства собралась!
А может, лучше изловчиться все же,
в бой не идти,
перехитрить Мамаю?
И так уж много крови пролилось!
А вдруг не одолеем,
что тогда?
Димитрий молча вглядывался в лица.
С ним рядом воевода,
тоже Дмитрий
Боброк-Волынский,
в битвах смелый сокол,
как угадал сомнения его,
сказал:
— Не сомневайся, княже,
видишь,
дружина велика
и вся едина.
И сроки подошли нам показаты
хоть велика орда, да одолима!
А сроки выйдут —
вовсе сбросим гнет.
— Ты прав, Боброк, —
сказал Димитрий, —
Пойдем на Дон,
судьбы не миновать.
— Да, княже, —
отозвался воевода. —
Испить нам шлемом Дону,
либо там,
за Доном,
головы свои сложить
достойно.
И снова Дмитрий вглядывался в лица.
Князь Федор Белозерский,

Оболенский,
и брат Владимир,
светлоглазый, строгий,
горячий и открытый
милый брат;
князь Полоцкий,
Василий Ярославский...
и лица, лица, лица,
нет конца им.

Русобородые
и молодые,
князья, бояре,
воины простые
и конные и пешие,
рядами —
коломенцы,
костромичи,
рязанцы,
те, что с Олегом не пошли к Мамаю.
И москвичи,
и новгородцы рядом,
и с ними — белозерцы...
Вся земля!
Дружина —
Русь.
Великий князь Московский
по русскому обычью
разделил
дружину всю на пять полков
и тем придал ей глубину
и протяженность,
устойчивость! —
Где полк сторожевой
и полк засадный
были полюсами,
А между ними —
три других полка.
Был выбран путь
после больших раздумий,
которым войско двигаться должно.
И в том сказался весь характер князя:
был Дмитрий осмотрительным и гибким,
и это не мешало смелым быть
ему.

и в скудный мирный день,
и в деле ратном.
Московский князь решил
как можно тише
и вкрадчивей
явиться к Дону,
Рязанщину оставив в стороне
от главного движенья войск,
а также
литовские полки Ягайлы,
стоящие в Одоеве,
отрезать от орд Мамая.
Двигаться немедля,
чтоб на Дону неожиданно появиться,
не дать трем вражьим силам
вместе слиться...
А также князь великий Дмитрий
Иванович
решил с собою взять на место сечи
купцов заморских —
десять сурожан⁷,
чтобы они, увидев все
своими
глазами,
разнесли по белу свету
весть
о великой битве
на Дону.

Глава шестая

дорога к дону

1

Шло войско русское
вдоль солнечной Оки,
вдоль быстрины ее,
стремилось войско
к реке Лопасне.
Перешло Оку.
И незамедля после переправы,
пошло на Березуй⁸.
Князь Дмитрий

негромко разговаривал с Боброком-
Волынским.

С ними рядом,
отстав немного,
ехали

Бренок,
любимец Дмитрия,
и брат Владимир
Андреевич Серпуховской.

— Вот разобьем ордынцев,
бог поможет,—
сказал Димитрий,—
надо будет нам
в Рязанской стороне
иметь бы место,
которое останется за нами,
и будет с юга заслонять Москву.
— Пожалуй, есть такое место —
Тула! ⁹ —

Откликнулся Боброк-Волынский,—
Тула —

невидный городок,
в лесах тулится.

Орешек крепкий,
я скажу тебе!

Немного помолчали.

— Тула, Тула,
Что ж, воевода, прав ты,
это — мысль!

И снова лес да поле.
Свет и тень.

2

Под вечер на стоянке появились
в расположении полка Большого
слепой старик и мальчик-поводырь.
Старик был худ, нечесан, ряб лицом.
А мальчик был, как тонкий колосок,
спаленный солнцем, звездами и ветром.
— Ты кто такой? —

спросил слепца

Димитрий.

— Я, батюшка, певец,

слепой певец.
Но, может быть, я знаю
то, что другим увидеть не дано.
Я Русь прошел
от края и до края,
меня зовут в народе Ходакóм¹⁰.
— Скажи, Хода́к,
а что ты нам споешь?
— А вам спою я давнее сказанье,
которому без мала двести лет,
о храбром князе Игоре,
который был сыном Святослава...
Даль печали.
О Русская земля, ты за холмом!..
Вступила Дева — горькая обида
тогда на землю нашу,
восплескала
крылами лебедиными у Дона
и времена обилья прогнала.
И было тяжким,
горьким
наше время.
Теперь тебе, великий князь Московский,
дано от бога положить начало
освобожденью матери-земли.
Душа твоя, как сокол, чую, — рвется
на синий Дон с погаными сразиться.
Иди, не сомневайся, будет слава!
И будешь прозываться ты Донским!
...Что мне шумит,
Что мне звенит —
далече рано пред зб́рями?
Лицо рябое старика слепого
наполнилось особенным вниманьем.
Вниманье это зрячим не дано.
Он слушал бесконечное пространство,
усыпанное шорохами ночи.
— Не лебеди кричат и бьют крылами, —
сказал старик, —
скрипят-кричат подводы.
Я слышу их движение за Доном.
Не медли, князь,
Мамай тебя не ждет.

То день,
 то ночь —
 костры сторожевые.
 И пляшут их звериные зрачки.
 — Ты кто такой?
 — Я Родион Ослябя,
 А это брат мой, инок Пересвет,
 любимец Сергия.
 В монастыре, пожалуй,
 у нас нет равных силою ему.
 — Да, брат, силен! —
 Сказал Иван с усмешкой. —
 И угораздило тебя такого
 стать чернецом...
 — А ты кто будешь?
 — Я? Да так... Иван.
 Умею печи ставить
 так, чтобы тяга сильною была.
 Вот ставлю печи, хитростей не знаю,
 а получается, и все! Ручаюсь!
 Я сам себе и то ведь удивляюсь,
 Как весело потом они гудят!
 — Умеешь печи ставить,
 это славно, —
 вздохнул Ослябя.
 Пересвет заметил:
 — Не печь,
 а сечь зажжем у синя Дона,
 вот будет жарко!
 — То-то и оно.
 А среди них,
 среди воинов суровых
 невидимо сидел, неощутимо
 пришелец из двадцатого столетия.
 Он вслушивался, вглядывался в предков
 и вспоминал,
 как в тягостном разгаре
 земного многолетнего сраженья
 освободили танки деревушку
 под Курском где-то...
 Он вошел с другими.
 Все сожжено, и печи лишь торчат.

В одном саду
на дымных серых ветках,
среди скрученных листочков почернелых
висели яблоки,
они спеклись в огне,
коричневые,
черные висели...
И ни души! Немая пустота!
Час-два прошли... Неведомо откуда
вернулись люди,
жизнь зашевелилась,
закопошились бабы у печей.
И вот дымки завились, заиграли
над печками
под небом под открытым...
Нет, эту жизнь нельзя искоренить!
Сказал Иван:
— Нам выдюжить бы только,
Не сгинуть бы...
— На то и божья воля! —
В ответ негромко молвил
Пересвет.

Качнулась мгла.
И голоса затихли...

ПЕСНЯ ВОИНОВ

Пахано не пахарем
чисто поле русское,
пахано-распахано
конскими копытами,
не весенним семенем
поле то засеяно,
Не весенним семенем,
головами нашими!

...Ивану снилась Марья —
было лето,
и марево стояло над лугами.
Шел сенокос,
травой, дурманом пахло.
Он целовал синеющие очи,
она смеялась и к земле клонилась...

А Пересвету снился сон другой:
к нему подходит Родион Ослябя
и говорит:

«Брат Пересвет, вижу на теле
твоём раны тяжкие, уже
катятся, брат, твоей голове
с плеч на траву-ковыль, и моему
сыну Якову лежать на зеленой
ковыль-траве на поле
Куликовом, на речке
Непрядве...»¹¹

Глава седьмая

ВОЕННЫЙ СОВЕТ

Слал вести Мелик — избранный боярин,
великим князем посланный в разведку
под самую орду.
Гонцы являлись
внезапно всякий раз —
Игнатий Крень,
И Чуриков,
и Горский,
и другие
стремительные славные гонцы.
А весть была:
— Скорее исполниться,
чтоб упредить поганных!
Князь великий
в деревне Чернава собрал совет.
— Что сотворим?
И где копьё преломим —
на той, на этой стороне ли Дона?
И отозвались братья:
— Перейдем.
Пусть Дон отрежет путь для отступленья
и пусть течет за нашею спиною.
Помужествуем с недругом за Доном
и там положим головы свои!
И Дмитрий повелел тогда немедля
мосты мостить для скорой переправы.
И вот уж переправа началась:
Ночь сентября качалась над рекою,

Шли русские.
А гость, один из тех,
кого Димитрий пригласил с собою,
чтоб описать великое сражение,
смотрел на те решительные лица,
на отзвуки, на отблески огня...
И видел он,
как вдруг упали кони
с моста,
заржав,
и как, сорвавшись, воин
пошел под воду, канув в черноту.
И кто-то хрипло закричал.
И снова
одни шаги, шаги, шаги, шаги...
Гость сурожский тот
прозывался
Блоком.
А имя ему было —
Константин ¹².

(Пройдут века.
Над полем Куликовом
поднимутся глаза другого Блока.
И зазвучит в тумане семизвучно
высокое трагическое слово:
«И вечный бой! Покой нам только снится
Сквозь кровь и пыль...
Летит, летит степная кобылица
И мнет ковыль...»)

Седьмого сентября,
уже под утро
переступило войско через Дон
И встретило зарю уже за Доном.
И за собой разрушило мосты.
«Ну, что же!
Преломить копьё решаю,—
сказал Димитрий,—
в этом самом поле,
меж синим Доном
и рекой Непрядвой».
И было поле велико и чисто!

Глава восьмая

8 СЕНТЯБРЯ 1380 ГОДА

В одиннадцать часов
туман растекся,
блеснула синь,
глаза аж резануло!..
И вот уж перед русскими полками,
как мгла,
полки ордынские стоят.
Немного раньше
Дмитрий снял доспехи —
свои великокняжеские знаки.
Их возложил
на своего любимца Бренка,
ему же отдал лошадь он
свою,
и был Бренок на лошади,
как Дмитрий
под знаменем под черным,
на котором
светился, золотился скорбный Спас.
А Дмитрий в одеянии
простого
дружинника
стал в строй
среди самых первых.
И многие тогда крестами
нательными
менялись перед битвой.

Беликий князь
желал быть
в самом пекле
тяжелого и страшного сраженья.
Он сердцем так желал
и всею плотью.

Был план сраженья
русскими продуман,
и Дмитрий верил
братьям-полководцам,
А сам он там стоял,

где в вихре скоро
появится-возникнет
смерть с косою —
начнет махать
направо и налево.
И только свист
раздастся от косы...

Что будет?
Что нас ждет на этом поле
невиданной и предстоящей сечи?
Как снег на траву,
пал позор на славу.
А сквозь позор ли слава прорастет?

Он, Дмитрий,
чувствовал себя частицей
стихии мощной,
напряженной силы...

О, Родина!
Возьми ты наши жизни,
но будь освобожденной
и живой!
И вот перед ордынским пестрым строем
явился богатырь.
Он был ужасен
могучим ростом и холодной силой.
Под ним, ликуя,
лошадь приседала...
И выехал от русских
Пересвет.
Их лошади копытами
как будто
раскручивали тяжко жернова
огромной некой мельницы.
И вот уж
навстречу мчатся.
Миг —
и два копья
проткнули оба тела.
Для начала —
мертвы
и Пересвет

и Челубей.
И мельница,
качнувшись,
завертелась —
взревели трубы,
битва началась.

Мамай ударил в лоб
(в шатре походном
он с Красного холма
следил за битвой
и видел с огорчением:
фланги русских
защищены природою самой).
А мельница вертелась, как шальная!
От тесноты великой задыхаясь,
земля дымилась кровью,
духота
смешалась с конским запахом и потом,
и воздух был тяжелым
и глухим.

В нем лязг металла
становился тусклым,
тела сползали,
головы катились,
храп лошадей
и крик,
и стон предсмертный,
и кровь людская
с конскою мочою
смешались.
Без огня горело поле,
и было некуда ступить:
все в мертвых,
раздробленных,
задушенных,
убитых,
оно гудело —
поле Куликово...

О, русские поля!
Вас ждет такое
на протяжении времени земного,

и сердце начинает содрогаться
от мужества, от боли, от любви!

В леске зеленом
тихо, потаенно
стоял засадный полк.
И князь Владимир
Андреевич
Серпуховской,
следуя за битвой
и видя,
что ордынцы наседают,
шептал:
— Пора, Боброк!
— Нет, рано, княже...

А рано ли?
Уже на левом фланге
Мамай одолевал,
ударив мощно
своею конницей.
Иван сражался
на этом фланге.
Вот уж было тяжко!
Он, раненный легко,
и не заметил
в пылу сраженья
этой малой раны,
но после охватил Ивана страх:
наш пеший строй, как будто подсеченный,
редел,
слабел
и пятился к Непрядве.
Неужто одолел Мамай проклятый!?
И все,
конец..
И страх Ивана в ярость
вдруг обратился.
Он мечом коротким
рубил
отчаянно
направо и налево,
и красный щит его
трещал, как лед,

когда он крепнет
в пору ледостава.
И вдруг Иван почувствовал удар,
скользнувший
по щиту,
потом по шлему.
Перевернулось поле Куликово,
и он упал.
И, падая, увидел:
над ним летели
сулицы и стрелы,
тела людей,
и руки их,
и лица,
разорванные рты,
глаза,
копыта.
«Ну, значит, все», —
сказал себе Иван.

Глава девятая

ПЛАЧ

А в это время
на стене московской,
в пространство глядя,
плачет Евдокия:
«О, синий Дон! Река быстрая,
река сильная, прилелей моего господина
ко мне,
мужа моего Димитрия Ивановича,
живого невредимого!
О, ветер-ветрило!
Не дуй наперекор воинам
мужа моего!
О, светлое-тресветлое солнце,
освети им дорогу к победе!»

А в Серпухове
на городской стене
Елена плачет,
мужа вспоминая:
«Замкните, братья Дмитрий и Владимир,

Оке-реке ворота, чтобы больше поганые
к нам

не ходили!»
Жена Боброка плачет —
Анна.
Плачут
Аксинья,
Феодосья...

Плачут жены
и причитают,
заклинают,
верят
в Москве,
в Коломне,
в Новгороде...
Где-то
в затерянном селенье на Оке
беззвучно плачет Марья,
бессловесно.
Ей снится сон,
что муж ее убит.
Лежит Иван
на поле Куликовом,
на нем дымятся, холодеют раны,
чернеют раны
на груди его.
И Марья вдруг
в кукушку обратилась,
летит над Доном,
кружит над Иваном.
Вот он лежит во мгле,
раскинув руки...
Все ближе,
ближе Марья.
Вот склонилась
над телом мужа,
раны утирает,
и плачет, плачет.
А Иван молчит.
«Послушай,—
Марья шепчет,—
ты не знаешь,
но у тебя родится сын...»
И тут же

проснулась Марья.
Ветер нес с Оки
осенний холодож.
Стояло солнце.

...Удар скользнул
по шлему, по щиту,
перевернулось поле Куликово,
и, падая, Иван
услышал голос,
что у него, Ивана,
будет сын.
Так близко голос,
рядом
и знакомый.
Иван напрягся
и хотел узнать.
Но чувство ложное,
что он убит,
его пронзило.
Сознание,
замерзая, как река,
остановилось.
Мгла.
Исчезло поле.

Глава десятая

ПОБЕДА

А в этот миг
за пазухой дубравы
горячечно и зло
шептал Владимир:
— Пора, Боброк, пора,
не опоздать бы!
— Да, час настал! —
Ему Боброк ответил. —
Вперед!
И вылетел засадный полк.
Неслась по полю
свежая лавина,
и все сметала на своем
пути.

И уstraшились храбрые ордынцы,
и растерялись вдруг,
и это было
началом их конца —
они бежали,
тонули в реках,
падали в пыли¹³,
И сквозь позор,
что пал на Русь когда-то,
сквозь тот позор
взошла над Русью
Слава,
как только что откованная песня,
как новая зеленая трава.
Дымилось поле холодом туманным,
живых искали,
узнавали мертвых.
И князя Дмитрия
Ивановича
тоже
во мгле
едва дышащего нашли.
Трубили трубы,
и сходились люди,
сходились люди молча,
Среди мертвых
Иван очнулся.
Приподнялся.
Глянул.
«Как будто цел,
а может, и не цел»...
Иван услышал волчий вой
и ржанье
коней.
Почуял битвы смрад
и холод,
и шелест крыльев
он услышал рядом
вороньих.
Встал.
«Разбиты ли ордынцы?» —
подумал вслух
и машинально
побрел.

В лощинке где-то
опростался.
— Ну, господи, живой! —
сказал себе.
Он шел, шатаясь,
Слыша рык звериный,
и голоса людей он тоже слышал,
Он шел на них,
и было все, как сон.
И первый тот,
кого он в поле встретил,
был Родион Ослябя¹⁴.
Приглядевшись,
они обнялись
молча.
Родион
спросил:
— Ты сына моего,
Иван,
не видел?
Иван сказал:
— Не знаю, Родион.

* * *

Гонцы летели — вестники победы.
В следах набегов,
в ранах и ожогах,
в слезах,
в надеждах
праздновала
Русь.
А на Дону,
на поле Куликовом
был тяжек труд —
похоронить всех мертвых.
Росли холмы.
И в отблесках туманных
шли образы —
Рублевские виденья.
Все лики,
что мерещились Андрею
в монастыре далеком
под Москвой.

В глазах их чудных
дна не видно было.
И в их одеждах
смутно отражались
Земля,
и Небо,
Солнце
и Вода...

ПРОЩАНИЕ С ПОЭМОЙ НА СТАРИННЫЙ ЛАД

Запевайте славу старым бойцам
и бойцам молодым запевайте славу!
Великому князю Московскому —
Дмитрию Донскому
Слава!
Брату его Владимиру
Серпуховскому —
Слава!
Воеводе Боброку-Волынскому
Слава!
И боярину Захарию Тютчеву,
Слава!
И Ивану — герою нашему
Слава!
Будьте здравы, народ
и воинство,
будь здрава, Земля,
и достоинство!
Правде святой слава.

1972 г.

ПРИМЕЧАНИЯ АВТОРА К ПОЭМЕ «ЗАДОНЩИНА»

¹ «Задонщина» Софония была написана не позже 1393 года, то есть вскоре после Куликовской битвы, и до нас дошла в пяти списках, самый ранний из которых Кирилло-Белозерский.

^{2,3} Отрывки из «Слова о полку Игореве» в переводе академика Д. С. Лихачева.

⁴ До Андронникова монастыря Андрей Рублев, полагают, жил в Троице-Сергиевом монастыре, крупном центре русской культуры.

⁵ Интересна история боярина Захария Тютчева. Ученый и писатель С. Н. Марков сообщает в книге «Земной круг»: «Когда венецианские братья Поло в первый раз шли на Восток, к ним присоединился попутчик — итальянский купец Дудже. Он прошел с ними от Судака до Сарая, пробыл там некоторое время, а затем отправился на Русь... Неизвестно, в тот ли приезд он навсегда связал свою судьбу с русским народом, только вскоре Дудже превратился в Тютчева и дал начало той русской фамилии, к которой впоследствии принадлежал замечательный поэт Федор Тютчев».

⁶ Отрывок взят из текста Никоновской летописи. Полное собрание русских летописей, т. XI. Спб., 1897, с. 52.

⁷ Сурожские гости — купцы, связанные с Судаком, или Сурожем, с портами Азовского и Черного морей. Само же слово «сурожский» связано со словами «сурожанин», «сурога» — то есть купец, торгующий в розницу шелковым товаром (См. Толковый словарь В. Даля).

⁸ Березуй — предположительно деревня Березово, которая находится в 4 километрах южнее города Венева.

⁹ Первое достоверное упоминание о Туле находим в грамоте Дм. Донского великому князю Рязанскому Олегу (1382 год). Но, так как в этой грамоте упоминается монгольская царица Тайдула и собиратели дани — «баскацы», которые Тулу «ведали», то существование Тулы, во всяком случае, можно отнести к 50-60 годам XIV столетия.

¹⁰ Ходак то же, что «ходок» (См. Толковый словарь В. Даля).

¹¹ Слова Родиона Осляби, предсказывающие гибель Пересвету, взяты из текста «Задонщины» (перевод с древнеславянского Л. А. Дмитриева.)

¹² В распространенной редакции «Сказания о мамаевом побоище» Блок назван — Константин Болк. В других источниках он — Константин Петунов, Константин Волк.

¹³ Олег Рязанский и литовский князь Ягайло так и не соединились с войсками Мамаю. Либо не спешили, либо не успели.

¹⁴ Родион Ослябя не погиб на Куликовом поле, как долгое время считалось. В «Троицкой летописи», АН СССР, М.-Л., 1950, на с. 448 указано, что в 1389 г. Р. Ослябя поехал «с Москвы в Царьград».

В ГЛУБИНЕ ВРЕМЕНИ



ЗВЕЗДА ПОЛЕЙ, ИЛИ ПИСЬМА ИЗ XVIII ВЕКА

Вскачь не пашут
(пословица).

Описывай не мудрствуя лукаво
Все то, чему свидетель в жизни будешь.
А. С. Пушкин. «Борис Годунов».

1

Не раз в своих малых путешествиях по тульским местам приходилось мне слышать о человеке, жившем некогда на этой земле и сделавшем много полезного и нужного. Иногда имя его упоминалось мельком, иногда о нем говорили с удивлением, иногда с восторгом и неминуемыми в таком случае преувеличениями. Однако достоверные и подробные сведения о нем до сих пор известны немногим, и контуры образа его в широкой молве расплывчаты и неясны.

Человек этот — русский просветитель XVIII века Андрей Тимофеевич Болотов.

Если на карте Тульской области соединить прямой линией деревню Дворяниново, где Болотов родился, и Богородицк, где он служил управителем волости, то эта прямая как бы вберет в себя большую часть болотовской жизни, которая может показаться почти неподвижной.

В 1762 году двадцатичетырехлетний флигель-адъютант генерал-полицмейстера Петербурга Андрей Болотов отказывается от военной карьеры и, воспользовавшись указом Петра III «О вольности дворянства», подает прошение о выходе в отставку в чине капитана. Он тут же оставляет столицу и отправляется в бедную глухую малую свою деревеньку, расположенную за Окой.

«Третий день месяца сентября» был теплым, ясным и тихим. Болотов торопил кучера, говорил, чтобы он «понуживал» — погонял лошадей. Ему хотелось приехать домой еще до захода солнца, чтобы можно было оглядеться, все увидеть, всласть порадоваться своему возвращению. Кучер, чтобы угодить хозяину, свернул с большой Тульской дороги задолго до обычного поворота и повез его прямо от Городни коротким путем — мимо деревни Дурнево, через Трешню...

В своих «Записках» Болотов пишет: «И ах! Как вспрыгалось и встрепеталось сердце мое от радости и

удовольствия, когда увидел я вдруг перед собою те высокие березовые рощи, которые окружают селение наше со стороны северной и делают его неприметным и с сей стороны невидимым. Я перекрестился... и не мог довольно насытить зрения своего, смотря на ближние наши поля и все знакомые мне рощи и деревья. Мне казалось, что все они приветствовали меня, разговаривали со мною и радовались моему приезду. Я сам здоровался и говорил со всеми ими в своих мыслях».

2

Родился Андрей Тимофеевич Болотов 7 октября 1738 года в деревне Дворяниново (раньше писали Дворениново) Алексинского уезда Тульской губернии в бедной дворянской семье.

Вот незатейливый рисунок его жизни.

Отец Болотова, Тимофей Петрович, был полковником Архангелогородского пехотного полка. Семья Болотовых вынуждена была все время перемещаться, следуя за полком, и Андрей Тимофеевич в младенчестве своим никогда долго на одном месте не жил. Первоначальной грамоте он стал обучаться на шестом году жизни по церковным книгам у старика малороссиянина. На девятом году отец отдал Андрея в учение к одному из унтер-офицеров своего полка немцу Миллеру. Достаток Т. П. Болотова был не таков, чтобы он мог нанять и содержать в своем доме учителя. Что касается Миллера, то он был обучен одной лишь арифметике, которую знал твердо, и еще умел читать и писать по-немецки. Вот как вспоминает его в своих «Записках» Андрей Тимофеевич: «Прозвище ему было Миллер, а впрочем, назван он уже был у нас в службе Яковом Яковлевичем, поелику у нас всем иностранцам дают тотчас имена и отчества... Человек он был особенного характера, нрав имел строптивый и своенравный, не мог терпеть никаких шуток, сердился и досадовал на всех за сие, а сие и побуждало еще более над ним смеяться, и тем паче, что и собою был он очень дурен и губаст». Он был ограничен, нетерпелив, давал Андрею подзатыльники и часто порол розгами. Однажды при повторении немецких слов (за каждое забытое слово назначалось 3 розги) он приговорил мальчика к шестистам розгам и приступил к экзекуции. «Уже насчитал

он двести раз,— пишет Андрей Тимофеевич,— и начал считать третью сотню, и я уже осип от кричания». Тут вбежала хозяйка дома и отобрала его у Миллера. Учение у унтер-офицера пришлось прекратить. Тимофей Петрович по случаю отдал сына в семью знакомого курляндского дворянина Петельгорста, где Андрей бесплатно вместе с детьми хозяина обучался у некоего господина Чааха, родом из Саксонии, прошедшего курс в Лейпцигском университете. Здесь, кроме немецкого, Андрей начал учить и французский язык и получил первые навыки в рисовании.

Несколько раньше, весной 1748 года, Тимофей Петрович записал сына на военную службу и зачислил солдатом в свой полк, а через месяц Андрей был произведен в капралы.

Учение в семье Петельгорста продолжалось около полугода. Архангелогородский полк был направлен в Финляндию; Андрея отвезли в Петербург и определили во французский пансион, который содержался кадетским учителем стариком Ферре. Этот пансион считался лучшим в столице. Через год Болотов возвращается к отцу в Выборг. На этом его систематическое обучение прекращается, потому что в этом же 1750 году Тимофей Петрович умирает, а еще через два года умирает и мать Болотова.

Как раз в эти годы, с 12 до 14 лет, выхлопотав себе отпуск из армии до совершеннолетия, Болотов урывками учится в доме генерала Маслова арифметике и геометрии у артиллерийского капрала, а затем уже после смерти матери уезжает из Петербурга в поместье к своему зятю Неклюдову. Здесь в 80-ти километрах от Пскова он постигает различные ремесла: учится столярничать, слесарить, изготавливать инструменты, выбивать долотом резьбу на металле, смотрит, как треплют и готовят лен на продажу. Неклюдов, не имея склонности к наукам, был пристрастен ко всяким «мастерствам, рукоделиям и художествам». Имел он своих столяров, токарей, ткачей, резчиков, кузнецов, слесарей, портных, сапожников. Болотову в особенности пригляделось токарное и резное искусство. Научился он делать из бересты различные стаканы, табакерки, подставки, украшая их затейными узорами путем особого рода чеканки. Чеканная работа эта производилась маленькими жимолостными палочками разной величины,

на концах у которых были вырезаны разные фигурки. Здесь же, в поместье у Неклюдова, получил он первоначальный интерес к музыке. Один из столяров умел бренчать на гуслях, которые сам изготовил. Были они особого рода, девятиструнные, маленькие и такой формы, которой Болотов никогда потом не встречал. Характерно, что через это забавное, самодельное возникла в Болотове охота играть и заниматься музыкой. Он быстро перенял умение играть на гуслях, и столяр сделал новые, с еще лучшими украшениями, маленькие гусли и подарил ему.

В Болотове завязывался на всю жизнь тот особый склад интеллигента, тот угол зрения, та умственность, которая никогда не оторвана от конкретного дела, от ремесла, от земли. И пристальная наблюдательность его, как мы увидим, тоже связана с этим.

Достигнув совершеннолетия, Болотов возвращается в свой полк, производится в подпоручики и участвует в Семилетней войне. Особого пристрастия к военной службе он не питает и храбрости в батальных не проявляет. Однажды в ожидании неприятеля он обнаружил, что у ружья его нет курка, очевидно, потерянного накануне. По счастью, бой тогда не состоялся и стрелять не надо было.

Более всего Болотова во время военного похода интересуют подробности жизни мирных жителей, ко всему он приглядывается, все примечает. Его удивляет, как немецкие крестьяне возят сено, связав его двумя огромными тюками и перекинув на веревках через седло лошади. Ему на всю жизнь запоминается маленькое прусское местечко, неподалеку от реки Прегель, где он впервые увидел картофель, о котором, по его представлению, русские до тех пор и понятия не имели. В дальнейшем Андрей Тимофеевич окажется первым и страстным пропагандистом картофеля в России, напишет об этом огородном продукте немало статей. О том начальном знакомстве с картофелем читаем мы в его «Записках»: «Во всех ближних к нашему лагерю деревнях засеяны и насажены были его превеликие огороды, и как он около сего времени начал поспевать и годился уже к употреблению в пищу, то солдаты наши скоро об нем пронюхали, и в один миг очутился он во всех котлах варимый. Со всем тем, по необыкновенности сей пищи, не прошло без того, чтобы не заделаться

от ней в армии болезней и наиболее жестоких поносов, и армия наша за узвание сего плода принуждена была заплатить несколькими стами человек, умерших от сих болезней».

Здесь необходимо оговориться, что Болотов неправ: в России познакомились с картофелем задолго до того, а именно, в первой половине XVIII века. Однако знакомство это было весьма ограниченным и носило частный характер. Картофель разводили, в основном, люди, принадлежавшие к высшим сословиям, и, очевидно, иностранцы. Вот почему картофель оказался в диковинку не только рядовым русским солдатам, но и офицеру, дворянину Болотову. Лишь в 1765 году, в связи с голодом крестьян, по почину медицинской коллегии, Екатерина II повелела сенату разослать повсеместно семена и наставления о развитии картофеля. Так что статьи Андрея Тимофеевича, пропагандирующие картофель, совпали с общегосударственным направлением. Однако ни наставления, разосланные сенатом, ни просветительские статьи Болотова, ни широкое ознакомление солдат с этим продуктом раньше, в Семилетнюю войну, не привели сразу к желанным результатам. Крестьяне, боясь обмана, упорно не желали разводить картофель. Даже в середине XIX века, в 1840—1842 годах, отмечались картофельные бунты! Но вернемся к нашему герою.

Война идет своим чередом. Русские занимают Кенигсберг. Знание немецкого языка приводит Болотова в канцелярию русского военного губернатора. Теперь Андрей Тимофеевич, по его собственным словам, «должен был иметь дело уже не с ружьем, а с пером и чернилами». Четырехлетняя жизнь в Кенигсберге оказалась очень важной для Болотова; он не предается, подобно многим офицерам, разгулу и кутежам, почти все свои деньги тратит на покупку книг: страсть к чтению развилась в нем чрезвычайно. Он любознателен, сообразителен, взгляд его цепок. В нем уже начинает проявляться та поразительная работоспособность, тот неостывший вкус к работе, который не раз будут отмечать его современники и потомки. Возможно, часы, проведенные за работой, и составят самую счастливую часть его жизни. Во всяком случае, работу он никогда не подгонял, не укорачивал ее время, он наслаждался самим ее процессом.

В Кенигсберге Болотов знакомится с одним ученым, живущим неподалеку от него и занимающимся шлифованием стекол и конструированием оптических приборов. Посещение его мастерской, знакомство с различными инструментами и приборами, дотоле не виданными, рождает в Болотове острое желание изобретать и заниматься науками. Он так и пишет, что ученый этот приохотил его к наукам, занимаясь которыми можно находить для себя тысячи радостей и увеселений. И потом в этих занятиях Андрей Тимофеевич проводил многие блаженные минуты своей жизни. Они были именно блаженными, потому что Болотов соображал быстро и во многих хитрых конструкциях разбирался легко, умел повторить их, усовершенствовать и добирался до самой сути устройств. В нем по молодости жило сохранившееся потом на долгие годы чувство веселого удивления перед всем неожиданно новым, что он открывал в природе. Склонность к разным наукам соединялась с непосредственным восприятием жизни. Вот он смотрит в разные микроскопы все в той же мастерской, где шлифуются стекла: «Я не мог устать целый час смотреть в них на все маленькие показываемые им мне вещицы, а особливо на чрезвычайно малых животных, которых я видел тут в одной капельке воды, бегающих и ворочающихся тут в бесчисленном множестве и гоняющихся друг за другом».

Это непосредственное, образное восприятие увиденного и происходящего приводило иногда Болотова в его «Записках» к преувеличению значения некоторых событий. Многие дни, которые другой человек, живущий иной жизнью, считал бы обыкновенными, Болотов именует не иначе, как: «достопамятнейший день в моей жизни», «достопамятнейший и славный», «новый и достопамятнейший», «наидостопамятнейший из всех в моей жизни». Но даже в этом преувеличении — свой резон и своя доподлинность. Такова была эта жизнь, с ее особенностями и характерными чертами, такова была и литературная форма запечатления этой жизни. На том и другом лежит отблеск некоторого простодушного восхищения собственным умом и талантами, свойственного большей частью самоучкам. Но при всем при том — жизнь эта была серьезная, умная, сосредоточенная в себе, следующая своему внутреннему закону. Удивляешься, когда читаешь у иного нашего журналиста, что

Болотов бросил карьеру блестящего столичного офицера ради жизни в своем Дворянинове. Сроду Болотов не был блестящим офицером и вовсе даже не был расположен к военной карьере и к политике. Добившись отставки и уезжая из Петербурга, где в воздухе уже носился заговор против Петра III, он с радостью признается: «...Поскакал неогляткою из сего столичного города, оставив его и все в нем в наисмутнейшем состоянии, и будучи неведомо как рад, что уплелся из него целым и невредимым».

Будучи в Кенигсберге, Болотов собрал немало книг — основу своей будущей обширной библиотеки. Здесь были и романы, которые он переводил, и книги по ведению сельского хозяйства, и философские трактаты. (Недавно я познакомился с Иваном Федоровичем Мартыновым, ленинградцем, занимающимся библиотекой Болотова. Мартынов нашел уже немало книг из этого собрания. По его соображениям, библиотека Болотова насчитывала не менее трех тысяч томов. Цифра по тем временам весьма солидная! Но трудность собирания в том, что Андрей Тимофеевич в отличие, скажем, от Ломоносова, читая, никогда не делал пометок на полях книги). В Кенигсберге он свел знакомство со студентами Московского университета, продолжавшими здесь свое образование, и они представили Болотова магистру философии Вейману, лекции которого он стал посещать. С большой охотой он штудировал различных философов, отдавая наибольшее предпочтение малоизвестным теперь сочинениям Зульцера, который учил «узнавать, примечать и любоваться красотами и прелестями природы». Болотову, склонному к умеренности, ближе всего была практическая философия и умение получать наслаждение от природы. Пристально наблюдать, познавать и делать — вот, пожалуй, то, что давало Болотову глубокое удовлетворение.

В Кенигсберге, кроме службы, чтения, переводов и занятий философией, Болотов усердно и помногу рисует. К слову сказать, под его наблюдением изготовлялись тогда новые знамена для русской армии и рисовались на них гербы всех полков. По болотовским эскизам чеканились монеты для побежденной Пруссии.

После Пруссии, после недолгой службы в Петербурге у генерала Корфа Болотов, как мы уже писали, оказывается в своей малой заокской деревеньке Дворяниново. Здесь он начинает приводить в порядок расстроенное и без того бедное хозяйство, заводит знакомство с соседями, а в 1764 году женится на Александре Михайловне Кавериной, которой тогда не исполнилось еще и четырнадцати лет, дочери помещицы, живущей в сорока верстах от Дворянинова. Жена Андрея Тимофеевича на протяжении всей жизни оставалась холодна к мужу и совершенно равнодушна к его занятиям в садах и огородах, к его опытам и экспериментам. Не было в ней ни малейшей склонности к чтению книг и к занятию науками. Александра Михайловна родила Болотову пять дочерей и сына Павла. Товарищем мужу она никогда не была и не делила с ним утех, радостей и огорчений, была хладнокровна и замкнута. Зато теща, Мария Абрамовна Каверина (урожденная Арцыбашева), была умницей, охотницей до книг и журналов; любила ученые беседы и умела слушать с превеликим вниманием. Сразу же после свадьбы она переехала в Дворяниново и поселилась с молодыми. Сочувствие, которое Болотов не находил в жене, нашел он в своей теще. Кроме всего прочего, она обладала хорошим литературным вкусом, и в дальнейшем многие свои рукописи для первого прочтения Болотов отдавал ей.

В Дворянинове Андрей Тимофеевич с самого начала и неукоснительно повел тот образ сельской жизни, о котором мечтал еще на военной службе. Но было бы ошибочным считать, что он сразу стал ученым, знатоком земли. Заманчиво написать, что по приезду в свою деревню он тут же, как иногда пишут, первым на Руси посадил картофель, стал разводить его и пропагандировать среди соседей-помещиков. Заманчиво.., однако дело обстояло не совсем так. До 1766 года Болотов занимался сельскими трудами, хоть и с великой охотой и усердием, но весьма еще произвольно и многим сразу. Взгляд его был удачлив в своей наблюдательности, но часто еще скользил по поверхности, обольщался малым. В упомянутом году в Москве перед торговыми рядами Болотов по случаю купил книгу. Это была первая часть «Трудов» Вольного Экономического Общества,

учрежденного год назад в Петербурге. До тех пор Болотов ничего не слышал о существовании этого общества и очень обрадовался, предполагая найти в нем единомышленников. К «Трудам» были приложены 65 вопросов, на которые предлагалось ответить живущим в деревнях дворянам. Несмотря на то, что вопросы эти были не очень замысловатыми, Болотов почувствовал, что недостаточно сведущ в сельском домоводстве, и позвал на помощь своего приказчика старика Фомича и о многом стал его расспрашивать и «пересказываемое им брать себе в замечание». С помощью старика-приказчика Болотов и сочинил ответы на все 65 вопросов, приложил к ним рисунок, изображающий здешние земледельческие орудия, и отправил в Петербург. Это письмо положило начало многолетней переписки Болотова с Вольным Экономическим Обществом.

Через некоторое время Андрей Тимофеевич получил из Общества приглашение принять участие в его работе и благодарность за присланные материалы. Письмо было подписано президентом Вольного Экономического Общества графом Григорием Орловым, с которым Болотов был хорошо знаком еще со времен своей службы в Кенигсберге и который, став теперь фаворитом Екатерины II, играл виднейшую роль в русском государстве.

Вольное Экономическое Общество, особенно в первую пору царствования Екатерины II, когда она переписывалась с Вольтером, поощряла либеральное дворянство, покровительствовала наукам и искусству, было своеобразным исследовательским институтом, в котором ставились важнейшие для русской экономики вопросы: о воспитании культуры земледелия, о возможности владения землей со стороны крестьян, о вывозе хлеба за границу, о разведении картофеля, о состоянии сельскохозяйственной техники и т. д. «Труды» Общества стали известны за пределами России, его корреспондентами были ученые ряда европейских стран.

С момента получения первого письма из Общества Болотов с большей энергией стал заниматься своим хозяйством, с удвоенным вниманием вести наблюдения над плодовыми деревьями и над посевами, систематизировать эти наблюдения и заносить в особую книжку, назвав ее «Экономическим магазином». В ней, очевидно, и зародилось живое зерно будущего журнала. К это-

му времени относятся и первые серьезные опыты, поставленные Болотовым, и возникновение и укоренение в нем привычки терпеливо и глубоко вникать в каждый малый секрет сельской экономики. С 1766 года, очевидно, и надо вести отсчет научно-агрономической деятельности Болотова. Можно ли считать его, как иной раз считают, первым и единственным в то время культурным русским агрономом? Думается, что нет: он был в ряду других корреспондентов-практиков Вольного Экономического Общества, которые выносили на общее обсуждение и печатали в «Трудах» Общества свои работы. В России тогда возникла целая группа людей из числа дворян, живущих в деревнях, желающих стать культурными хозяевами и, по существу, пропагандирующих агрономическую науку. Однако Болотов, вероятно, был самым последовательным из них, ведя различные журналы наблюдений, в которые записывал изо дня в день все, что примечал и узнавал нового. Кроме того, он располагал редкой для того времени библиотекой научных книг, составленной еще в Кенигсберге. Работы Андрея Тимофеевича от раза к разу становятся серьезнее и значительнее. В 1768 году его избирают членом Вольного Экономического Общества. В 1770 году присуждают большую золотую медаль за работу «Наказ для деревенского управителя», а в следующем, 71 году, — большую серебряную медаль за оригинальную работу «О разделении полей». Тогда же ему поручается подготовить для иностранной энциклопедии «Всеобщее описание Российского хлебопашества и всего хозяйства».

Со временем работа Вольного Экономического Общества начинает оскудевать, упрощаться; в его «Трудах» уже не ставятся острые для русской экономики вопросы, а все больше печатается статей по садоводству. Круг авторов сужается, практики-корреспонденты все реже пишут с мест, активность сменяется вялостью: либеральные иллюзии первых лет царствования Екатерины II разрушаются. Однако деятельность Болотова как агронома и экономического писателя в отличие от многих его современников ни на толику не ослабевает; наоборот, она расширяется, становится глубже, приобретает выдающееся значение. Думается, причиной этому явилось то, что Болотов был захвачен не ложным блеском екатерининских мечтаний, обещаний и

миражей, но глубоко увлечен самой основой сельской экономики, самым делом, которое стало содержанием его жизни.

Очевидно, в Экономическом Обществе с самого начала высоко ценили способности Болотова-хозяина: ученый секретарь Общества, будущий президент Академии наук Андрей Андреевич Нартов порекомендовал его князю Гагарину в качестве управителя государственных имений. С 1774 по 1776 год он управляет Киясовской волостью, а вслед за тем становится управителем Богородицкой волости Тульской губернии.

В Богородицке Андрей Тимофеевич следит за отделкой дворца, построенного по проекту замечательного архитектора И. Е. Старова, разбивает вокруг дворца один из первых в России пейзажных парков, который явился полной противоположностью распространенным тогда регулярным паркам и садам с их парфюмерными домиками и беседками и подстриженными на французский манер деревьями. В болотовском парке деревья растут свободно, широко, мощно и вместе с тем образуют строго продуманный цельный пейзаж. Этим парком восхищались многие выдающиеся люди и среди них Лев Толстой, описавший этот парк в «Анне Карениной» как усадьбу Вронских.

Многие годы Андрей Тимофеевич выращивал, точно рисовал, свой парк. И вот возникла во плоти задуманная им картина. И не только парк, многое в Богородицке создавалось, строилось по планам и проектам Болотова. Деятельность его в это время приобрела многообразные очертания. Наблюдений и новых сведений у него накопилось столько, что их невозможно было полностью опубликовать в «Трудах» Экономического Общества, и он задумывает издавать свой собственный универсальный журнал «Сельский житель».

В 1778—79 годах Болотову удастся осуществить издание этого журнала при помощи книгопродавца Ридигера, владеющего университетской типографией. Вышло всего две части «Сельского жителя». Ридигер нашел это дело невыгодным: малое число подписчиков, трудность в распространении. Он прекращает издавать журнал. В это время университетская типография по контракту переходит в руки к великому русскому просветителю Николаю Ивановичу Новикову. Он при встрече предлагает Болотову издавать новый журнал, подоб-

ный «Сельскому жителю», но в иной форме, а именно — листами при газете «Московские ведомости».

Новый болотовский журнал начинает выходить с начала 1780 года. Называется он «Экономический Магазин, или собрание всяких экономических известий, опытов, открытий, примечаний, наставлений, записок и советов, относящихся до земледелия, скотоводства, до садов и огородов, до лугов, лесов, прудов, разных продуктов, до деревенских строений, домашних лекарств, врачебных трав и до других всяких нужных и не бесполезных городским и деревенским жителям вещей, в пользу российских домостроителей».

10 лет издавался «Экономический Магазин», и Болотов был фактически единственным сотрудником этого журнала. Он публиковал результаты собственных опытов и наблюдений, размышления, прогнозы; многое брал из иностранных экономических книг, переводя с немецкого, о чем сам говорит в своих «Записках». Неисчерпаемость переводного материала и накопленные, систематизированные собственные наблюдения давали возможность Болотову каждый очередной выпуск журнала готовить в срок и никогда не запаздывать с посылками рукописей Новикову. Были у «Экономического Магазина» и постоянные корреспонденты, среди которых выделялся писатель и агроном Василий Лёвшин, помещик Белевского уезда Тульской губернии. Но главный и притом титанический труд лежал на плечах Андрея Тимофеевича, который соединял в своем лице в течение десяти лет автора, исследователя, переводчика, редактора и единственного сотрудника выпускаемого журнала. По нынешним временам это и представить невозможно! А если прибавить к этому постоянные заботы по управлению волостью, постановку различных опытов, изготовление хитроумных машин и инструментов для поля и сада, постоянное ведение «Журнала всенедневных событий»... складывая, теряешься, не можешь понять, как это все успевал один человек, да еще человек добросовестный, делающий все основательно, дотошно вникающий в каждую мелочь. Оставим эту задачу нерешенной и будем считать, что этот секрет утрачен...

Однако было бы ошибочным считать Болотова фигурой исключительной. Болотов, безусловно, был самым плодовитым и неутомимым писателем XVIII века, но

ведь тогда же в России возникли такие примечательные личности, как Василий Алексеевич Лёвшин, сочинивший и переведший в общей сложности восемьдесят книг на хозяйственно-экономические темы. Ему же принадлежат знаменитые «Русские сказки», произведение, в котором он пытается, на основе народных легенд и сказаний, создать самобытный русский роман. Нельзя не упомянуть и популярного драматурга и переводчика Михаила Ивановича Веревкина, автора бытовой комедии с весьма характерным названием «Точь-в-точь». Веревкин был столь плодовит, что Академия наук, издавая его переводы, окорачивала его рвение неперменным условием, «чтобы он переводил не более трехсот листов в год». Не менее творчески активными были и сторонник Н. И. Новикова Федор Александрович Эмин, фактически первый русский романист, автор авантюрных романов, человек, много повидавший и переживавший, и Михаил Дмитриевич Чулков, литературный противник Новикова и Эмина, романист, составитель различных словарей и, в частности, такого: «Абевега русских суеверий, идолопоклоннических жертвоприношений, свадебных простонародных обрядов, колдовства, шаманства и проч.»

Список этот можно продолжить. Все это были люди необыкновенные, многосложной судьбы, разнообразнейших интересов. Всех их, по выражению Е. Н. Щепкиной, написавшей этюд о Болотове в «Словаре» Венгера, «снадала любовь к книге». Обнаружены даже крестьянские библиотеки второй половины XVIII века, насчитывающие десятки, а то и сотню-другую книг! Русские просветители этого времени умели быстро учиться и ставить перед собой и обществом коренные вопросы. Федор Эмин, например, в своем журнале «Адская почта», имея в виду военные походы, пишет: «Потребно, чтобы народ был более благополучен, нежели славен». В этом же журнале, как и в «Записках» Болотова, мы находим многие подробности русской жизни XVIII века.

Характерно, что образованность всех этих одареннейших людей, как правило, была «быстрая», если можно так сказать. Новиков, к примеру, чувствуя недостаточность своей образованности (даже Новиков!), с горечью пишет об этом на склоне лет своему младшему современнику Н. М. Карамзину. Острота живого

ума, стремление к просветительству были главной пружиной их натуры, их деятельности, еще недостаточно осмысленной нами. Существует работа Александра Блока «Болотов и Новиков», существует книга В. Шкловского «Чулков и Лёвшин». Не написана еще интереснейшая по своим исследовательским возможностям книга «Лёвшин и Болотов», книга «Федор Эмин».

Двадцатый век в последней своей четверти обретает черты глубокомыслия: он стремится не только к познанию конкретного, но и к синтезу. Он старается восстановить все прерванные звенья, собрать «распавшуюся цепь времен». Точно выражают это чувство времени слова М. Бахтина: «Идти вперед может только память, а не забвение»¹.

Да, Болотов! Читаю распорядок дня Болотова. На всю жизнь он установил себе два варианта этого распорядка: один — весенне-летний, другой — осенне-зимний. Весной и летом он вставал в четвертом часу утра, осенью и зимой — в шестом. День проводил интенсивно, ложился спать в десятом часу вечера. Наблюдал жизнь, любил подробности. Подробности делают жизнь протяженнее. В течение полувека Болотов записывал в «Книжку метеорологических замечаний» очерк погоды каждого дня: какая температура воздуха, сила и направление ветра, колебания барометра, какое небо при восходе солнца. Это была уникальная, единственная в своем роде работа.

Точность и даже некоторая педантичность в фиксировании всего, что увидено и узнано, накладывали свой отпечаток и на страницы «Экономического Магазина». В десятилетний период издания этого журнала Болотов становится, пожалуй, самым известным русским экономическим писателем. В 1794 году Королевско-Саксонское Лейпцигское экономическое общество избирает его своим почетным членом. Его статьи в «Трудах» Вольного Экономического Общества, а затем в «Сельском жителе» и «Экономическом Магазине» широко распространяли по России идеи культурного ведения хозяйства. Эта деятельность Болотова была исторически столь значительна, что никакие похвалы в его адрес преувеличить ее не могут. Время-то было

¹ М. Бахтин, Вопросы литературы и эстетики. М., 1975, с. 492.

какое: с ложным блеском мечтаний екатерининского просвещенного двора, с потемкинскими деревнями, с нещадным голодом крестьян по всей огромной русской земле, с эпидемиями, с крестьянскими бунтами! Болотов же был практически работником в самом лучшем смысле этого слова. Он терпеливо, последовательно, упорно желал сделать русскую почву урожайной, плодотворной, могущей с избытком накормить всех живущих на ней. Андрей Тимофеевич, как уже упоминалось, горячо пропагандировал картофель, помогал расширению его посевов, учил, как выращивать его и хранить, как изготавливать из него крахмал и крупы, обращал особое внимание на отбор семенных клубней. Следуя прусскому примеру, он в течение нескольких лет отбирал для посева самый мелкий картофель, не более лесного яблока. Но потом пришел к выводу, что для лучшей урожайности надо брать крупные клубни, резать их на доли, так, чтобы каждая доля несла на себе «зарубочку или ямку», то есть глазок, дающий побег. Болотову же принадлежит описание помидоров, которые до тех пор разводились у нас в отечестве как декоративные растения. Он первый сообщил русским читателям, что помидоры вовсе не ядовиты, что их можно употреблять в пищу как приправу, и вкус у них своеобразен. Он создает первое у нас «Руководство к познанию лекарственных трав». В болотовской точности живет поэзия. О травах он пишет, что природа «распределила им разные места, положения и урочища... некоторым из них определила она жилищем и пребыванием высокие и тенистые леса, черные или лиственные, а другим назначила леса красные, или сосновые и еловые боры...» Андрей Тимофеевич отвергает кажущееся произвольное смешение трав, во всем ищет связь и закономерность. Любое явление он рассматривает в конкретных условиях, и ум его всегда трезво-рассудителен. Вот перечень некоторых его работ, опубликованных в «Экономическом Магазине»:

О картофеле (Ч. I, 1780).

О содержании семян между созреванием и посевом (Ч. IV, 1780).

Мысль о сохранении хлеба, пропадающего у нас в великом множестве всякий год напрасно (Ч. V, 1781).

О некоторых нужных садовых инструментах и орудиях (Ч. VII, 1781).

О молотильных машинах (Там же).

О засухах (Ч. VIII, 1781).

О сохранении плодов во весь год свежими (Ч. XIV, 1783).

Замечание о неравенстве в нашем отечестве, а больше еще в карачевских местах, скотоводства с земледелием (Ч. XVII, 1784).

О лугах и сенокосах (Там же).

Об испытании состояния и доброты земли (Ч. XVIII, 1784).

Некоторые замечания о садах древних персов, греков, римлян (Ч. XXV, 1786).

Некоторые замечания о садах в России (Там же).

О посеве египетской пшеницы (Ч. XXX, 1787).

О печении хлебов из картофельной муки (Ч. XXXI, 1787).

О разных родах картофеля (Там же).

О размножении картофеля (Там же).

О погрешностях при пахании земли (Ч. XXXVII, 1789).

О пропадании многого числа посеянных хлебных зерен (Там же).

О удобрительных материалах для земли, кроме навоза (Ч. XXXIX, 1789).

Об удобрении земли золою (Там же).

О правильном засеивании пашен (Ч. XL, 1789).

Это лишь малый перечень болотовских работ. Без них трудно оценить внутренний смысл и плотность болотовских описаний природы в его литературных записках. На поле он смотрит глазами агронома. В сад он приходит не праздным наблюдателем: он все здесь знает, многое вырастил и даже вывел новые сорта яблонь: Дворяниновку, Андреевку, Ромодановку.

«Как еще ни грязно было в садах,—записывает Андрей Тимофеевич,—но не мог я утерпеть, чтоб все их не обегать и не посетить все любимейшие места в них. Они едва освободились только тогда от зимнего своего белого покрывала, и все, так сказать, наперерыв друг перед другом призывали меня к себе и требовали, чтоб я каждое из них посетил и осмотрел, все ли они целы, все ли здоровы и все ли благополучно перенесли всю минувшую суровость зимы жестокой».

Это — точная запись своего впечатления от сада, своего ощущения, но это еще и пейзаж, и притом один

из прекраснейших в нашей литературе. Как пейзаж, описание сделано почти неосознанно и запечатлено взглядом близкого человека, точно деревья в саду — его дети или младшие братья. Если еще учесть, что эта часть болотовских записок сочинена в 1805 году, а относится к 1770 году, когда описание встречи с садом и было занесено в его дневник, если вспомнить романтические, сентиментальные, ложно красивые описания в литературе того и более позднего времени, то можно вполне оценить редкую достоверность этого болотовского пейзажа. Его писал человек для себя, без подлаживания под литературные образцы, так, как чувствовал, видел свой сад. Это рисунок природы, выполненный работником, любящим ее.

Он всюду ищет жизнь: в почве, в траве, в поле, в саду, в деревьях, в работе. Находя жизнь, он находит и поэзию.

4

Сохранилось несколько портретов Болотова. На одном из них он сидит за столом в три четверти оборота к зрителю. Подчеркнуто прямой. Смотрит спокойно. В руках у него гусиное перо. Перед ним на конторке — переплетенная рукописная книга. Он словно бы только что кончил ее писать. Поставил точку. Горят две свечи на высоких подставках. Геометрически правильно перемежаются свет и тени. Тень падает снизу на библиотечный шкаф за спиной Болотова. Книжки там расположены с некоторой живописной продуманностью. Детали одежды и обстановки выписаны педантично, со всеми подробностями. Все уравновешено. Под портретом подпись: «Точное изображение той комнаты и места...» и т. д.

В этой комнате в Богородицке в 1789 году Болотов начал свои «Записки», которые писал потом в течение двадцати восьми лет, окончив их в Дворянинове в 1816 году.

«Записки» охватывают период времени с 1738 по 1795 год и составляют 29 томов небольшого формата; примерно по 400 рукописных листов в каждом томе. Полное название этого огромного сочинения: «Жизнь и приключения Андрея Болотова, описанные самим им для своих потомков».

С самого начала Андрей Тимофеевич предупрежда-

ет, что «Приключения» его не предназначены для печати, что пишет он их лишь для удовлетворения любопытства своих детей и внуков и потому старается ничего не пропустить, вовсе не заботясь, что сочинение его может получиться чрезмерно большим и пространным: «Мне во всю жизнь мою досадно было, что предки мои были так нерадивы, что не оставили после себя ни малейших письменных о себе известий»...

Свои «Приключения» Андрей Тимофеевич написал в виде писем, каждое из которых начинается словами: «Любезный приятель!..» И выходит так, что этим любезным приятелем сперва был его сын Павел, потом внук Михаил, потом правнуки, а теперь может оказаться и любой из нас. Записывал Болотов все, чему свидетелем был, а через много лет оказалось, что «Жизнь и приключения» его, написанные без претензии на художественность, вдруг стали в ряд с несколькими самыми выдающимися произведениями русской прозы XVIII века.

Портрет, о котором говорилось выше, нарисован с некоторой скованностью. Зато в «Записках» перед нами возникает живой человек: полное откровение, и любознательность, и ясный практический ум, и раннее пристрастие к книгам, и трудолюбие, и страх, и смех, и боязнь, и природная застенчивость, и честность, и неутомимая энергия, и умеренность духовной жизни, и доброжелательность... Мы вглядываемся в живое лицо, а не в застывшую маску. «Записки» и есть истинный портрет Андрея Тимофеевича. «Жизнь и приключения» написаны, вернее, рассказаны обстоятельно и многословно.

Нам слышится речь то обыденная, повествовательная, иногда с оттенком немецкой учености и почти протокольная, то раскованная, образная, лукавая, вобравшая в себе обороты простонародного говора, раскаленная, точно углями, первородными словечками и выражениями. В «Приключения» Болотова, пожалуй, более, чем в какое-либо другое произведение того времени, проникла русская разговорная стихия второй половины XVIII века. Рассказывая, Андрей Тимофеевич любит саму длительность повествования, получая от него наслаждение; в крепком, может быть, чуть осипшем голосе рассказчика иногда можно уловить скрытое сожаление, что приходится прерывать рассказ на полу-

слове и откладывать до следующего раза. Андрей Тимофеевич рассказывает «тысячу и одну ночь» своей жизни. И если рассматривать его «Приключения», эти почти 12 000 рукописных листов, как собрание рассказов, то отдельные из них являются настоящими перлами этого жанра и могут быть, на наш взгляд, включены в самую строгую по отбору антологию русской прозы.

Взгляд Болотова-рассказчика непосредствен: наблюдательность острая, не замутившая провинциальной восторженностью. Он описывает Петербург 1762 года реалистично и во многом так, как мог бы описывать автор XIX века и притом принадлежащий натуральной школе. Попав в Зимний дворец, он неожиданно увидел императрицу, «женщину низкую, дородную», и шедшую за ней Елизавету Воронцову, фаворитку Петра III. Болотов обращается к стоящему рядом полицейскому офицеру:

«— ...Ах! Боже мой... да как это может случиться? Уж такую толстую, нескладную, ширококорую, дурную и обрюзглую совсем, любить и любить еще так сильно государю?

— Что изволишь делать? — отвечал мне тихонько офицер, — и ты дивись уже этому, а мы дивились, дивились, да и перестали уже».

С такой же неприкрашенностью рассказано о последних днях Петра III; о воровстве, распространенном в Киясовской волости, которой управлял Болотов; о порче молодой бабы, пришедшей к нему в Богородицк из глухой волостной деревни с просьбой вылечить ее от какой-то страшной и неведомой ей болезни; и в связи с этим о дикости тогдашних нравов; о приезде Екатерины II в Тулу и посещении ею оружейного завода, о празднествах, фейерверках и бестолковой суматохе вокруг этого приезда; о чуме 1771 года (Болотов приводит даже цифры умерших по месяцам) и о том, как он во время этого поветрия изобрел чертенка, который, точно живой, двигался у него в банке с водой, закрытой пузырем, и поднимался, и опускался, и шевелил ногами и хвостом, и о том, как он, Болотов, дурачил святых отцов, что этого чертенка поймали мужики не далее как нынче утром в пруду во время ловли рыбы...

Стиль болотовских «Приключений» откровенный, часто исповедальный (например, в рассказах о выборе

будущей жены, о свадьбе, о характере жены). Отдельные страницы обжигают живой подлинностью. Из многословного и необязательного возникают яркие, психологически точные картины жизни. Лев Николаевич Толстой прочел «Записки» Болотова в 1878 году (читал с 17 апреля до 22 мая). Для него имели ценность верные и правдивые описания быта дворянских усадеб XVIII века. Известно, как Лев Николаевич относился к правдивости изображаемого, изничтожая, к примеру, своего однофамильца, Алексея Константиновича, за его исторические писания, в которых не находил жизненной подлинности, в которых было много раздражающе неточных деталей.

Сочинениями Андрея Тимофеевича и личностью их автора не мимоходом заинтересовался и В. Г. Короленко. В его записных книжках сохранилось немало выдержек из Болотова. В историческом очерке «Русская пытка в старину» Короленко использует сведения из «Жизни и приключений» (В. Г. Короленко. Полное собрание сочинений. Петроград. Т. 9, 1914). При этом Владимир Галактионович считает Болотова человеком благородным и гуманным для своего времени.

В «Приключениях» Болотова — повседневных, обыкновенных, хитроумных, печальных, насмешливых, строгих, добродушных — перед нами возникают Петербург, Москва, Тула, дворянские усадьбы, походы, похороны, свадьбы, поверья, картина мира и Семилетней войны с Пруссией. Вот описание наступления во время боя при Егерсдорфе: «...Бежали мы в погоню за неприятелем, или паче спешили занимать его место. Не было нам уже тут никакой невозможности, мы шли прямо через кустарник и через болото, и я не ведаю, как уже мы продрались... Иной, с радости бежавши без памяти, попадался вдруг в колдобину и уходил по пояс в тину; другой, споткнувшись за кочку, летел стремглав и растягивался в тине и в грязи, и в ней, как урод, гваздался. Иной зацепливал платьем за кусты и не мог освободиться; он рвал его, не жалея, что испортится. Иному прутьями лицо и глаза все выстегало; иной, попавши в тину, не мог ног своих выдрать и просил помощи. Но все сие хорошо и ладно быть казалось... И одно только слышно было: «Ступай!, Ступай, братец! Слава богу, наши победили!»

Вслушиваясь в неторопливый голос Андрея Тимо-

феевича (я часто именно слышал звук его голоса, когда читал «Записки»), думал несколько раз, что наш рассказчик — сложный человек. Весь он от начала до конца сын своего народа, своего времени, своего класса. С одной стороны — просветитель и обладающий острым зрением наблюдатель; с другой стороны — перо его никогда не было столь отчетливо резким в описании реальности, как перо Радищева. Он, наверное, ни разу в жизни и не почувствовал того, что почувствовал Радищев: «Я взглянул окрест меня — душа моя страданиями человечества уязвлена стала». Напротив, он радуется тому, что он родился тем, кем он родился, и не просит лучшего и благодарит свою судьбу. У него даже стишок есть по этому поводу:

...Слов моих всех не достанет
К изъятию того,
Как я много благодарен
За мой жребий таковой.

Андрей Тимофеевич присутствует на казни Пугачева и стремится «захватить для себя удобнее место для смотрения», и не пропускает ни одной подробности, и как дворянин в душе торжествует. Этот же Андрей Тимофеевич, милый и добрейший человек, бесплатно и с большой охотой лечит крестьян при помощи своей электрической машины. Он же негодует, пересказывая историю одних соседних дворян, замучивших до смерти подвластную им девушку-кружевницу, и говорит, что никто с тех пор с этими извергами дела не хотел иметь и знакомства не желал водить. Андрей Тимофеевич, как человек просвещенный, смеется над всякими небылицами и дикими историями, которые по невежеству люди принимают за вущую правду. И он же сам не понимает силы и механизмы, действующие в современном ему российском обществе, и часто питается преувеличенными страхами, к примеру, относя любые государственные потрясения на счет масонов. Даже его симпатия к Николаю Ивановичу Новикову, человеку светлейшей души, к которому он относился с великим уважением как к «восстановителю литературы», не побуждает Болотова познакомиться ближе с идеями масонов, так как он приписывает им лишь одни «пагубные замыслы». Убежденность Болотова непоколебима. Когда Новиков за-

водит Андрея Тимофеевича в свой кабинет и начинает разговор о масонстве, предлагая вступить в их братство, Болотов не дает себя «убаить», то есть уговорить.

«Несколько минут,—вспоминает Андрей Тимофеевич,—дал я ему волю говорить и разглагольствовать, как он хотел, слушая со вниманием все, что он ни говорил, но наконец ему сказал:

— Нет, батюшка, Николай Иванович! Дружбу и приятнь я иметь с вами готов, а что касается до предлагаемого вами, так покорно прошу меня от того уволить».

Любопытно, что когда граф Григорий Орлов, который, по словам Болотова, любил его и обращался к нему не иначе, как: «Ах! Болотенка, мой друг! Здравствуй, голубчик!», когда этот Орлов незадолго до екатерининского заговора стал настойчиво приглашать его к себе в дом для какого-то тайного разговора, Болотов, поразмыслив как следует, решил, что Орлов хочет его втянуть в масонство. И в дом к нему не пошел. Эта подозрительность и некоторая детскость мышления характерны для социальных взглядов Болотова, тогда как в наблюдениях над природой он глубок, находит верные взаимосвязи, делает точные выводы. Таков этот человек. Он всю жизнь питает отвращение не только к масонам, но и вообще к любым тайным обществам и связям. После переворота и вступления на престол Екатерины он понял, что Орлов вовсе не в масонство хотел втянуть его, и что, не став товарищем его, Болотов потерял многие почести и богатства. Но Андрей Тимофеевич вовсе не терзается этим, и мы верим совершеннейшей искренности его тона, когда он говорит, что «ни под каким видом не согласился бы на предложение г. Орлова». Болотов не был создан из материала, порождающего временщиков. Он никогда не хотел суетиться возле царского стола. Он всегда был работником по самой сути своей, любил землю, любил выращивать плоды, заниматься наукой, любил жизнь в небольшой ячейке семейной и общественной, находящейся поодаль от центра главных политических событий того времени. Было ли это социальной робостью и неразвитостью? Он, кажется, всю жизнь следовал одному правилу: держись за землю, она не обманет. Но он был человек достойный, жил в относительной бедности, отвергал взяточничество, не обога-

щался хитрыми путями, занимая выгодную должность управителя Богородицкой государственной волости. И когда она перешла после смерти Екатерины II в частное владение графа Бобринского, отказался от службы и вернулся в Дворяниново, где и жил до конца дней своих.

И вообще Болотов, как это ни покажется странным, при всем своем практицизме и таланте культурного хозяина был человеком, очевидно, не искушенным в хитросплетениях жизни, натурой в какой-то мере незащищенной. Существует малоизвестное письмо графа Ф. Ростопчина от 14 января 1803 года, адресованное Г. Р. Державину с просьбой похлопотать за Болотова в сенате относительно его тяжбы с тамбовским помещиком Пашковым, захватившим земли Болотова в Кирсановском уезде. В письме говорится: «Все минуты жизни его посвящались общему благу: испытания, открытия и редкие знания его менее известны у нас, чем в чужих краях. Но сей достойный и почтенный человек, занимаясь в недрах земных, сделался чужд всему тому, что на поверхности ее происходит! И через сие может легко проиграть процесс, который совершенно расстроит его состояние. Хотя он прав и честен, но честных людей скорее других обвешивают!»¹.

Не вполне соглашаешься с Александром Блоком, когда он, анализируя взаимоотношения Болотова и Новикова, несколько раз подчеркивает социальную трусость Болотова и ограниченность болотовского мировоззрения. Спору нет, Николай Иванович Новиков — светлый ум, просветитель русского сознания, твердый духом, последовательный боец, принявший страдание, начавший свою деятельность с работы в комиссии по составлению нового Уложения и попавший, в конечном итоге, в руки следователя Шешковского, а потом в Шлиссельбургскую крепость. Спору нет и в том, что Болотов всегда сторонился страданий, был весьма осторожен. Но неизбежное он принимал с мужеством. Его морально-этические сочинения («Детская философия», «Путеводитель к счастью», «О благополучии» и др.) носят камерный характер. Его социальная мысль ни-

¹ Письмо опубликовано в журнале «Древняя и новая Россия» 1875 г. № 8, перепечатано в собрании сочинений Г. Р. Державина, т. 6. Спб., 1876, с. 152.

когда не поднималась до высот Новикова или Радищева. Болотов как бы выполнял иную, чем они, миссию, он был последовательным экономическим просветителем в своем отечестве, находясь в том потоке, который брал свое начало от времени Петра I. Новиков и Болотов — два разных типа просветителей. Духовное просветительство Новикова могло запасть, зарониться и само по себе в русские умы, но не могло бы в конкретных условиях того времени широко взойти без экономического просветительства. Недаром Новиков с большой охотой издавал экономический журнал Болотова и делал это с умением, вкусом и без корысти, никогда не затягивая процесс печатания, стараясь доставить этому журналу как можно более широкую известность. Значение Болотова в культурной жизни тех лет выросло не без посредничества Новикова. Эти два явления необходимо и тесно связаны друг с другом; больше, чем может показаться на первый взгляд. Они — оба работники, Новиков и Болотов, не боящиеся никакой мороки, работающие не за страх, а за совесть, на благо своего отечества, желающие, каждый по-своему, не властвовать над людьми, а просвещать их. В развитии русского общества они принадлежат одному прогрессивному течению, хотя Новиков, очевидно, понимал значение Болотова, а Болотов не вполне понимал значение Новикова, не умея оценить вкупе мощную благородную силу этого ума. Николай Иванович — человек, вечно ищущий, беспокойный, неудовлетворенный; книжник, пламенный гражданин, пронизательный критик крепостничества, сатирик, вскрывающий разноцветный вздор екатерининской деятельности. Он словно бы предшественник Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина. Болотов же — прилежный, разумный и даже образцовый хозяин, прилежный обстоятельный писатель, прилежный гражданин, боящийся каких-либо коренных изменений. Но ум его был скроен таким образом, что, не подвергая сомнению официальную политику царского двора, он, одновременно с этим, как бы и не принимал ее. Андрей Тимофеевич, работая, старался находиться в стороне от екатерининских забав и игр в просвещение, от этих по сути своей непросвещенных метаний из крайности в крайность, от либерального кокетства, кончившегося жестокостью, приговором Радищеву, отзывом русских

студентов из-за границы, подлой расправой над Новиковым...

Болотов не рвался, не бился, всегда учитывал реальность, не входил с ней в противоречие, не пытался подняться над самим собой, но внутренний смысл его деятельности, независимо от его желаний, был связан с пугающей судьбой Новикова. Попадает Новиков в Шлиссельбургскую крепость — прекращает существовать «Экономический Магазин» Болотова, заканчивается самый яркий период болотовского просветительства.

Размышляя об Андрее Тимофеевиче, хочется отметить одну любопытную особенность его характера. Он ограничен в своем мировоззрении? Возможно. Он осторожен? Безусловно. Он был осторожен, потому что охранял свою линию жизни. Но Болотов, оставаясь верным кругу своих понятий, без утайки, например, принимал в своем доме Новикова, уже опального, за год до его ареста и расправы над ним.

Крепки духовное здоровье, добросердечность, желание радоваться каждому дню жизни, солнечный он или хмурый, крепок сам инстинкт жизни в натуре Андрея Тимофеевича. И отсюда его пристальное внимание к подробностям бытия. Можно понять пылкость молодого Александра Блока, когда он, говоря о богородицком периоде жизни Болотова, замечает: «Нет нужды говорить подробно об этом периоде: он представляет много любопытных частных и решительно ничего общеинтересного, кроме указанного выше» (Основания журнала «Сельский житель» и знакомства с Новиковым. — В. Л.).

Двадцать один год прожил Андрей Тимофеевич в Богородицке, и нам интересно решительно все или почти все в его обстоятельном, неторопливом рассказе. Прочтя когда-то впервые название «Жизнь и приключения Андрея Болотова...» и не зная ничего об авторе, я подумал, что это нечто вроде «Хождений» тверского купца Афанасия Никитина, но нет... Оказалось, что это — путешествие по дням, а то и часам одной жизни (одна жизнь рассмотрена точно под микроскопом). И многое происходит в одной губернии, на одном клочке русской земли; записки эти как бы доказывают, что всякая жизнь интересна сама по себе в своих вечных подробностях, во взаимоотношении с людьми, в тропин-

ке, в кусте, с которого сбита роса, в памятном разговоре с приятелем, в наказании вора, в помощи больной женщине, пришедшей из глухой деревни, в истории лекаря Ерофеича, лечившего травами... Эти подробности, взятые крупным планом, не менее интересны, чем перипетии великого романа о мушкетерах или путешествии в дальние страны.

«Жизнь и приключения Андрея Болотова» — это вовсе не мемуары и не дневник, это уникальное произведение, узнав которое уносишь в себе ощущение, что прочитал пространный правдивый роман — из жизни XVIII века, который, ко всему прочему, еще и довольно глубоко выразил определенные стороны русского сознания. На огромном пространстве этого произведения, написанного лишь для семейного пользования, живет такая счастливая наблюдательность, что многое, обозначенное в нем лишь частностями, наше воображение дорисовывает до полноты эпической картины. «Приключения» Андрея Тимофеевича естественно вошли в то животворное ядро отечественной литературы, в тот ее драгоценный запас, куда многое и многое не вошло из того, что считалось прославленным и знаменитым в болотовские времена.

Долгий закат своей жизни наш рассказчик провел в Дворянинове. Здесь он встретил XIX век, столь много значащий для русской культуры. Андрей Тимофеевич был полузабыт общественной молвой нового века, но вовсе не страдал от этого. Жил как жил. Писал записки, совершенствовал свой сад, каждый день делал пометки в «Книжке метеорологических замечаний»... «До конца дней он сохранил ясный ум, душевное равновесие. Он был очень стабилен. Его мировоззрение на протяжении семидесяти лет, кажется, вовсе не претерпело изменений. Его нравственность, его самосовершенствование не входили в противоречие с жизнью, и в конце ее Андрей Тимофеевич, судя по всему, ни в чем не раскаивался.

Болотовской натуре была противопоказана беспомощность. Когда у него ослабело зрение, для того чтобы читать, он смастерил себе картонную трубочку и оклеил ее изнутри черной бумагой. Левый глаз совершенно ослеп. И он смотрел в свою хитрую трубочку правым глазом и читал. Крепок был дух! До конца с Болотовым были естествознание и природа. И умер он

тихо, почти незаметно, как бы растворился в природе, стал частью зеленого, сквозного, движущегося, наполненного биением жизни мира.

Похоронили Болотова в день его рождения — 7 октября 1833 года. А этот день всегда нес на себе слабый отблеск давнего и совсем непечального происшествия, переданного нам самим рассказчиком:

«Как случилось мне родиться ночью после полуночи, то не было никого в той комнате кроме одной... старушки да моей матери. Мать моя сидела на постели, а старушка молилась богу и клала земные поклоны. Вы ведаете, как старухи обыкновенно молятся. Где-то руку заведет, где-то на плечо положит, где-то на другое, где-то нагнется, где-то наклонится и где-то начнет подниматься с полу и где-то встанет; одним словом в одном поклоне более минуты пройдет. Но представьте себе, какой странный случай тогда сделался! В самую ту минуту, как назначено было мне свет увидеть, бабушка отправляла свой поклон и была нагнувшись, и в самый тот момент попади крест ее в щель на полу между разошедшихся досок и так перевернись там ребром, что его ей вытащить никак было не можно. Мать моя начала кричать и звать ее к себе, а она: «Постой, матушка,— говорит,— погоди немножко! Крест зацепил, не вытащу!» И между тем барахталась на полу головою и руками... Мать моя рассказывала потом часто, что она не могла от смеха удержаться, видя сию проказу и слыша усиленные ее просьбы, чтобы немного погодя, ибо в ее ли власти было погодить».

Андрей Тимофеевич утверждал, что эта история была предвозвестником веселого и радостного, а не горестного и скучного. Он считал себя счастливым человеком. И, действительно, был счастлив, ибо рано открыл себя, и построил жизнь по собственному разумению, и до конца выразил свою суть, выявил свое лицо. Его с самого начала привлекал сельский образ жизни, и звезда полей всегда светила над его кровом.

Изучая жизнь Болотова, читая рукописи и книги Болотова, размышляя о Болотове, я настолько осязаемо ощутил эту личность, что мне даже захотелось, на манер Петрарки, который писал письма великим теням прошлого, написать письмо Болотову и начать его, скажем, так:

«Любезный Андрей Тимофеевич!

Если бы Вы знали, с каким наслаждением Ваш далекий потомок читает Ваши «Приключения». Мне так понятно Ваше неукоснительное желание выразить свою собственную сущность вдали от чуждой Вам жизни двора ее величества... Что может быть увлекательнее творческого труда? Что может быть прекраснее высокой организации жизни и напряжения творческого духа?! Вы хотели научить своих соотечественников так же любить и понимать землю, как любили и понимали ее Вы.

Всю жизнь Вы были верны своим принципам, и всю жизнь звезда полей светила Вам!..»

Он прожил 95 лет. Его сочинения насчитывают 350 рукописных томов. (Эту цифру сообщает С. А. Венгеров в своем «Критико-биографическом словаре русских писателей и ученых»). Огромное пространство жизни. Современниками Болотова так или иначе были Ломоносов, Державин, Радищев, Новиков, Карамзин, с которым он познакомился у Новикова, Жуковский, Пушкин, Чаадаев, декабристы...

Андрей Тимофеевич Болотов накрепко связан с тульской землей, и потому, может быть, я питаю особое пристрастие к его трудам и занятиям, к складу его доброжелательного характера, к особенностям его языка, и мне приятна сама манера его неторопливого, но вовсе нескучного рассказывания, которое течет-вьется не без лукавства и то и дело поблескивает острым природным смыслом.

Земляки Андрея Тимофеевича помнят и чтут его. Будучи много раз в Богородицке, я видел, с каким упорством жители этого городка восстанавливали старинный дворец, разрушенный во время последней войны, который восстановить считалось невозможным. Почти все это делалось и делается очень медленно. Пейзажный болотовский парк все еще запущен, цельность его картины и сами очертания во многом нарушены. Отдельные места этого живого пейзажа, выведенного рукой Андрея Тимофеевича, как бы нарисованы более поздним временем: здесь и огороды, и дома, и выгон для скота. Жители Богородицка, особенно его старожилы, болеют душой, добиваются денежных средств и делают сами все возможное, чтобы восстановить болотовский парк. Возглавляют эту работу художник П. А. Кобяков и старый шахтер и строитель С. А. Потапов. Ве-

рится, что музей Болотова будет открыт и уникальный пейзажный парк станет таким, каким был он при Андрее Тимофеевиче.

О Дворянинове тоже надо бы подумать. Это ведь родина Болотова. Там он упомянут лишь на каменной плите ближнего сельского кладбища. Плита эта реставрирована тульскими художниками, на ней значится имя, годы жизни и звание Болотова — коллежский асессор. Будто только этим званием он был славен и обозначен среди людей.

Журналисты несколько раз с горечью писали, что в России нет ни одного памятника Болотову. Справедливый упрек, адресованный всем нам. Но еще больше заботит и огорчает, что «Записки» его последний раз издавались в 30-х годах: однотомник в «Молодой гвардии» (1930 г.) и три тома в издании «Academia» (1931 г.). И в том и в другом случае «Записки» вышли в сильно сокращенном виде, со многими пропусками.

До сих пор наиболее полными являются «Записки», вышедшие приложением к «Русской старине» 1870—1873 гг. и затем изданные отдельно четырехтомником (1871—1873 гг.). Этим изданием мы обязаны основателю журнала «Русская старина» М. И. Семеvскому.

Мы с нетерпением ждем не только восстановления болотовского пейзажного парка в Богородицке, но и выпуска нового полного академического издания его «Записок» со всеми рисунками и планами, которые имеются в подлиннике. А ведь, кроме «Жизни и приключений Андрея Болотова», существует еще и написанный им «Памятник претекших времен» в двух частях, в котором мы находим «краткие исторические записки о бывших происшествиях и носившихся в народе слухах», и другие сочинения. Ведь это же архив живой памяти, то неуловимое, что обычно выветривается, рассеивается, исчезает, а в данном случае сохранено, запечатлено. Надо бы издать и некоторые его агрономические работы, в которых заключено бесчисленное множество точных наблюдений над погодой, почвой, посевами и т. д. Кто знает, может быть, кроме значения этих работ для истории отечественной науки, они могут принести еще и практическую пользу. И там, где мы раздумываем и примеряемся и решаем новые агрономические задачи, нехудо бы заглянуть и в эти старинные копилки наблюдений.

Болотов — не старокнижное, а живое явление во времени, а значит, могут порой и преуменьшить его значение, и отнестись к нему скептически, и посмеяться над ним, над его многословностью, и спародировать даже, иногда и восславить чрезмерно, и умилиться... Все это уже было. Надо бы нам внимательно и серьезно отнестись к нему. Как он того заслуживает.

Болотов — один из типических русских характеров. И все идут к нам и приходят письма из XVIII века от любезного и неумолимого Андрея Тимофеевича. С уверенностью заметим: значение Болотова с годами будет расти.

Замечательный мастер — писатель Иван Алексеевич Бунин — в предисловии к французскому изданию рассказа «Господин из Сан-Франциско» пишет: «Я происхожу из старого дворянского рода, давшего России немало видных деятелей, как на поприще государственном, так и в области искусства, где особенно известны два поэта начала прошлого века: Анна Бунина и Василий Жуковский, один из корифеев русской литературы, сын Афанасия Бунина и пленной турчанки Сальмы».

Родство Бунина и Жуковского само по себе интересно, но особое внимание, думается, оно должно вызывать у тех, кто пристально изучает историю родного края. Василий Андреевич Жуковский, как известно, родился в селе Мишенском Белевского уезда Тульской губернии. Жизнь молодого Бунина, хоть он и родился в Воронеже, в основном, связана с Орловщиной. Орловская и тульская земли сопредельны, и, если откинуть географические условности, — это один край, средняя полоса России, с ее прозрачными лесами, заливыми лугами, медленными реками, светлыми полями. В том же предисловии, упомянутом мною, Бунин пишет об этом «плодородном подстепье, где древние московские цари, в целях защиты государства от набегов южных татар, создали заслоны из поселенцев различных русских областей, где благодаря этому образовался богатейший русский язык и откуда вышли чуть не все величайшие русские писатели во главе с Тургеневым и Толстым».

Расстояние между деревнями, с которыми связаны жизнь Бунина и Жуковского, исчисляется всего лишь десятками верст. Между Буниным и Жуковским стоит время, наполненное огромными событиями русской истории. Жуковский пришел в литературу до Пушкина и был, по выражению Белинского, «первым поэтом на Руси, которого поэзия вышла из жизни». Бунин пришел после Льва Толстого и как бы явился послед-

ним крупным писателем, не только вышедшим из дворянства, но и принадлежавшим дворянской культуре. Творчество Жуковского отличается яркими признаками раннего романтизма и русского сентиментализма. Бунин — беспощадный реалист, неукоснительный аналитик, суровый мастер. Все его творчество — строгое воспроизведение действительного в образах, в языке, особенно в диалогах. Он — на редкость предметен. В бунинских пейзажах осязается не то что бы лес, мокрый от росы, стожок на опушке, река, но и сам воздух над рекой, за стогом сена, между березами и осинами. Он доподлинно знает каждую травку в своем пейзаже, ее название, ее свойства. В очерке «Нобелевские дни» есть такие строки: «Все стою на площадке вагона, который идет в поезде последним. И, вырываясь из-под вагона, несется назад в бледном лунном свете нечто напоминающее Россию: плоские равнины, траурно-пестрые от снега, какие-то оснеженные деревья...» Даже ночью, во время движения поезда бунинский глаз неосознанно пытается, но не в силах различить, что за деревья несутся назад... И не случайно для писателя: «какие-то оснеженные деревья», а не просто «деревья». Подчеркнутая точность естествоиспытателя не нарочита для Бунина: это качество его таланта и, более того, — внутренний жест его натуры. По поводу «Вишневого сада» А. П. Чехова он замечает: «...вопреки Чехову, нигде не было в России садов сплошь вишневых; в помещичьих садах бывали только части садов, иногда даже очень пространные, где росли вишни, и нигде эти части не могли быть, опять-таки вопреки Чехову, как раз возле господского дома, и ничего чудесного не было и нет в вишневых деревьях, совсем некрасивых, как известно, корявых, с мелкой листвой, с мелкими цветочками в пору цветения (вовсе не похожими на то, что так крупно цветет как раз под самыми окнами господского дома в Художественном театре)». При всем при том Бунин боготворил Чехова. Обостренное, даже, может быть, слегка педантичное внимание к деталям — все это у Бунина — от нутра. Он себя не принуждает так писать, подробно и скрупулезно всматриваясь. Такова его манера, так он пишет всегда. Он слышит, осязает, обоняет с повышенной силой. И все это дополняет его изумительную зоркость. Когда читаешь у А. П. Чехова в повести «Степь», как извозчик Вася

видит «в степной дали то, что никто не видит», — такое у него зрение, невольно вспоминаешь о Бунине. Каким странным может показаться после бунинской прозы отрывок из прозаической повести Жуковского «Марьяна Роща»: «...воздух был растворен благоуханием цветущей липы: иногда во глубине леса раздавался голос соловья или печальное пение иволги, иногда непостоянный ветерок потрясал вершины деревьев». Любопытно, что когда Василий Андреевич отказывался от условностей распространенной тогда манеры письма и отдавался голосу глубокого чувства, он писал строго, без украшательств и вместе с тем необыкновенно свободно. Примером служит письмо его к Сергею Львовичу Пушкину о дуэли и последних днях Александра Сергеевича. Думается, что письмо это по стилю своему отчасти принадлежит к тому главному направлению русской прозы, которое в дальнейшем захватило и Бунин. Конечно, сопоставление здесь весьма условно. Жуковский явился в пору надежд русской дворянской культуры, Бунин — на ее закате, когда она была изощрена и имела в своих кладовых образцы мирового значения.

Иван Алексеевич Бунин любил слово такой самозабвенной любовью, что с ней можно сравнить разве что отношение к слову Владимира Ивановича Даля. Как когда-то Даль услышал от новгородского ямщика слово «замолаживает» (т. е. затягивает мглой, снежными тучами) и удивился непривычности и свежести его звучания, так и Бунин любил вслушаться в народную речь, выхватить из нее образные, незахваченные, пахнущие народной жизнью слова. Но сам новых слов он не придумывал, не имел к этому вкуса. В доподлинности существования некоторых малопонятных в бунинской прозе слов можно не сомневаться. Вот Александр Трифонович Твардовский в своей статье «О Бунине», объясняя слово «муругий», встреченное в стихотворении «Зазимок», и причисляя его к малоупотребительным местным словам, пишет, что «и, без пояснений очевидно, что речь идет о поздней, жесткой, хваченной морозами коричневатой листве степных дубняков, гонимой свирепым ветром зазимка». Все это так, угадано верно. Но слово «муругий» не выдуманное и не областное, принадлежащее, скажем, только Орловщине. Оно взято из охотничьего лексикона, который

был Бунину хорошо известен. Бунин обязателен в том, что касается точности. Например, в записных книжках Н. В. Гоголя (1841—1842 гг.) мы встречаем: «О собаках... Цвет: муругая — искрасно-черная с черным рылом». За верно схваченным сравнением у Бунина всегда — почти научная точность, такая же непреложная, как, может быть, цифровой ряд в инженерной практике.

Стоя на разных полюсах одного и того же явления, принадлежа одному и тому же дворянскому роду, как они не похожи — Жуковский и Бунин. Первый даже в прозе оставался романтически-сентиментальным поэтом. В Бунине же — поэт, притом прекрасном, — жил все-таки прозаик, тяготеющий к точности суховатой четкой отделки. Они и внешне резко разнятся. У Жуковского — мягкое, добродушное, несколько безвольное лицо созерцателя, с детскими губами... («Что за прелесть чертовская его небесная душа!» — восклицал Пушкин). У Бунина — холодноватая бессонница глаз на сухом, худощавом лице, с печатью постоянного беспокойства, самоанализа, недовольства собой, скепсиса и даже раздражения.

Но в этих, таких отдаленных друг от друга, художниках жила мощная тяга к истокам народной поэзии. Помните балладу Жуковского «Светлана»? Какая естественность интонации, какая прелестная простота:

Раз в крещенский вечерок
Девушки гадали,
За ворота башмачок,
Сняв с ноги, бросали...

А поэтический перевод «Слова о полку Игореве», осуществленный Жуковским! Образец, до сих пор не превзойденный. А что, как не любовь к народному творчеству, глубокое и тонкое понимание его как в национальных рамках, так и в интернациональной широте, привело Ивана Алексеевича Бунина к переводу гениальной поэмы Лонгфелло «Песнь о Гайавате». Этот перевод — сотворчество в такой степени художественного совершенства, что вряд ли появится в России поэт, который осмелится вновь переводить

Эти сказки и легенды
С их лесным благоуханьем,
Влажной свежестью долины,

Голубым дымком вигвамов,
Шумом рек и водопадов,
Шумом диким и стозвучным,
Как в горах раскаты грома...

Думается, что определенные черты характера, страсти к народной песне, к ясности образного видения воспитал в обоих художниках край их ранней юности и самых ярких — на всю жизнь! — впечатлений. Оба они — Бунин и Жуковский — не раз возвращались в родные места и в годы зрелости.

Жуковский, к примеру, по окончании учебы в Москве приехал в Мишенское, где и начал систематически заниматься литературным творчеством. К этому времени относятся многие выдающиеся произведения поэта. Нередко он бывал и в Туле, где в ранние годы, еще до Москвы, учился в народном училище. Одним словом, не случайно и не стороной связан Василий Андреевич Жуковский с землей Тульской, как, впрочем, и Бунин, в произведениях которого мы не раз встречаем упоминание тульских деревень, да и самой Тулы.

Особо следует выделить уездный город Ефремов, где жили мать и сестра писателя, и деревню Огневка, где было имение его брата Евгения Алексеевича. Пожалуй, Ефремов и его окрестности подарили Бунину немало наблюдений, черт и даже образов, которые затем проявились в знаменитой повести «Деревня».

Любопытно, что Иван Алексеевич Бунин, неоднократно подчеркивая свое дворянское происхождение, с пунктуальностью, присущей ему, перечислял родовые связи. Жуковский же — незаконнорожденный сын помещика Афанасия Бунина и пленной турчанки Сальмы или Сальхи, которую при крещении называли Елизаветой Дементьевной, был усыновлен Андреем Григорьевичем Жуковским, только поэтому не стал крепостным собственного отца и старался не подчеркивать и не напоминать о своих родовых связях. «Я привыкал, — пишет поэт в своем дневнике, — отделять себя ото всех, потому что никто не принимал во мне особого участия и потому, что всякое участие ко мне казалось мне милостью». Пожалуй, эта привычка да еще несчастливая любовь поэта к племяннице Маше прошли через всю его жизнь.

Несчастной была и страстная любовь молодого Бу-

нина, работавшего в газете «Орловский вестник», к дочери врача — Варваре Владимировне Пашенко. Эта любовь тоже пронесена через долгие годы — отклик ее мы слышим в «Жизни Арсеньева».

Творческие и жизненные пути этих двух замечательных писателей резко разнятся. Жуковский после появления Пушкина, а затем Лермонтова оказался в тени и как бы затих, несмотря на плодотворную деятельность. Бунин же, наоборот, находился в тени в начале своего пути, и читающая публика знала его куда меньше, чем, скажем, Короленко, Леонида Андреева или Александра Ивановича Куприна. Но затем бунинская слава неуклонно стала расти, круг его читателей стал всеевропейским, интерес к его творчеству не ослабевает и по сей день. И все-таки Бунин, на мой взгляд, остается сокровенным явлением внутри русской прозы, дорогим и ценным, прежде всего, для русских читателей, в особенности для русских литераторов, пристрастных к форме и стилю произведений. Таинственно прекрасен лунный отблеск его прозы, его имени.

Есть и нечто общее в творчестве этих, таких разных, художников. Они оба очень гармоничны в своих писаниях, на редкость благородны. (Прочитайте очерк Жуковского о «Сикстинской мадонне» Рафаэля!) Жуковский обратил внимание на внутренний мир человека. Бунин психологичен в своей наблюдательности до артистизма. Оба они жили полной жизнью в литературе, оба оказали большое влияние на последующих писателей. И у обоих, на наш взгляд, отсутствует все-таки та высшая степень демократичности, которая делает художника народным, таким, как Пушкин.

В конце отмечу еще одно странное совпадение в их судьбах. Оба они при столь глубокой любви к своему отечеству окончили жизни свои вдали от него (по разным причинам, разумеется): Василий Андреевич Жуковский умер в Германии, Иван Алексеевич Бунин — во Франции.

Вот, собственно, какие мысли возникали у меня всякий раз, когда я находил в бунинских заметках упоминание о его родстве с Жуковским.

«И НАМ СОЧУВСТВИЕ ДАЕТСЯ...»

*Алексею Федоровичу Лосеву,
филологу и философу.*

1

«Я получил ваше письмо, любезный друг Афанасий Афанасьевич, возвращаясь потный с работы с топором и заступом, следовательно, за 1000 верст от всего искусственного, и в особенности от нашего дела...»

Перебирая старые письма, Фет остановился дольше, чем на других, на том письме, где было помечено: «1870 г. Мая 11. Ясная Поляна».

Он представил себе Льва Николаевича, сорокадвух-летнего, в счастливую для него пору, счастливого, особенно после работы на воздухе, и пахнущего этим весенним с ленцой воздухом, весенней землей, весенним лесом. Вот он входит в дом. Расстегивает рубаху. У него веселые глаза и этот шрам на лбу от укуса медведицы, которая когда-то, во время охоты свалила его с ног и стала грызть, и его чудом спасли.

Фет представил, как Лев Николаевич развернул его письмо и раньше всего прочел стихотворение и сразу же пошел к Софье Андреевне, чтобы прочесть ей... Фет про себя медленно повторяет то, что он тогда послал Толстому, свою «Майскую ночь»:

Отсталых туч над нами пролетает
Последняя толпа.
Прозрачный их отрезок мягко тает
У лунного серпа.
Парит весны таинственная сила
С звездами на челе —
Ты нежная! Ты счастье мне сулила
На суетной земле...

«...я пришел к жене и хотел прочесть; но не мог от слез умиления. Стихотворение одно из тех редких, в которых ни слова прибавить, убавить или изменить нельзя; оно живое само и прелестно. Грустно подумать, что после того впечатления, которое произвело на меня это стихотворение, оно будет напечатано на бумаге в каком-нибудь «Вестнике», и его будут судить Сухотины и скажут: «А Фет все-таки мило пишет».

...Вы спрашиваете моего мнения о стихотворении; но ведь я знаю то счастье, которое оно вам дало сознанием того, что оно прекрасно и что оно вылезло-таки из вас, что оно — вы.

Прощайте, до свидания.

Ваш Л. Толстой».

И это писал он, за год до этого закончивший и печатавший «Войну и мир», переживший семь лет высочайшего напряжения ума, сердца, нервов, памяти, всех сил своих, всей сути, работавший то свободно, то мучительно трудно, сомневающийся в своих силах, иногда даже растерянный перед неподдающимся материалом гигантской эпопеи, но все-таки победивший, поднявшийся на некую новую ступень в своем художественном проникновении в человека и природу и теперь, в минуты отдохновения, отдающийся простой работе, простым радостям, заново влюбленный в жизнь, во все бесчисленное множество ее проявлений и оттенков. И теперь он, чей дружественный взгляд и чья дружественная искренность значили столько для Фета, писал ему.

Когда возникла живая сочувственная связь между ними? Когда первая благожелательность перешла в дружбу на долгие годы? Когда впервые они ощутили друг у друга сходное желание воплотить в слове неуловимые движения души, связанной с вечной природой, с землей, с небом, с травой, с далью? И этот порядок слов, когда каждое слово начинает светиться? И еще лучше, когда слова уже как бы отсутствуют... И все — музыка и сама жизнь.

Толстой еще до того случая на охоте, после которого у него остался шрам на лбу, в 1857 году, когда ему еще не было и тридцати, писал из Цюриха Василию Петровичу Боткину, шурина Фета: «Стихотворение Фета прелестно. Не прочтя вашего замечания о неловких 2-х стихах, я сделал то же. Досадно. Зато: «И в воздухе за песнью соловьиной разносится тревога и любовь!» Прелестно! И откуда у этого добродушного толстого офицера берется такая непонятная лирическая дерзость, свойство великих поэтов».

Сколько раз он, Фет, напряженно вглядываясь, хватывая впечатления, точно угли из костра, и, обжигаясь, старался разглядеть их, не выронить, не упустить. С пересохшим от жажды ртом в разреженном

воздухе он искал и находил слова тому, чему до него не было названия. И Лев Николаевич улавливал это обжигающее, фетовское. «Стихотворение ваше крошечное прекрасно,—писал он Фету 11 мая 1873 года о стихотворении «В дымке-невидимке выплыл месяц вешний...» — Это новое, никогда не уловленное прежде чувство боли от красоты...»

Боль от красоты... Толстому, эпическому писателю, видимо, необходима была фетовская энергия чувства и мысли, сконцентрированная на пространстве восьми, двенадцати, шестнадцати строк. Эти стихотворения были для Толстого, как маленькие вихревые пружины, бьющие из глубины родника. И однажды свое письмо к Фету он начал так:

Как стыдно луку перед розой,
Хотя стыда причины нет,
Так стыдно нам ответить прозой
На вызов ваш, любезный Фет.
Итак, пишу впервой стихами...

Афанасий Афанасьевич эти толстовские неловко составленные стихи часто повторял, особенно в минуты душевного расположения, довольный, закончив какую-нибудь литературную работу, или после удачной деловой сделки, купив новую землю или лошадей, утром в усадьбе или где-нибудь в дороге:

Итак, пишу впервой стихами,
Но не без робости ответ.
Когда? Куда? Решайте сами,
Но заезжайте к нам, о Фет!

Последние две строчки, сделав из них для себя нечто вроде забавной песенки, он иногда даже напевал. И это означало, что дела идут, кажется, неплохо...

Но песенка — песенкой, однако Фет знал: ничто, ни одна подробность не ускользала от взгляда Льва Николаевича, когда он читал стихи. С беспощадной, с какой-то охотничьей и даже почти звериной зоркостью он разглядывал, искал в самом возвышенно-поэтическом зерно конкретной точности. И, если не находил, огорчался. Для него высокое должно было стоять на подлинном, иначе это высокое становилось холодным, невесомым, отрывалось, улетало, исчезало из сознания. Для Толстого там, где нарушалась доподлинность, раз-

рушалась поэзия. В том же письме, где он восхищается стихотворением «В дымке-невидимке выплыл месяц вешний...» и отмечает чувство боли от красоты, Лев Николаевич пишет: «У вас весной поднимаются поэтические дрожжи, а у меня восприимчивость к поэзии. Одно — не из двух ли разных периодов весны: 1) соловей у розы и 2) плачет старый камень, в пруд роняя слезы. Это первая весна — апрель, а то май — конец. Впрочем, это, может быть, придирка».

Фет строчку «соловей у розы» изменил:

Истерзался песней
Соловей без розы.
Плачет старый камень,
В пруд роняя слезы.

Отвращение Толстого к неясности, приблизительно-сти, туманной условности, вечное его стремление извлечь поэзию из реального не могло не повлиять на Фета. И не от Толстого ли пошла и с такой последовательностью утвердилась в его стихах новая конкретность, почти не встречаемая в поэзии раньше? С одной стороны, возвышенность чувства и уже почти не слова, — музыка, с другой стороны, в разных стихах разбросано то, что и сам Фет не всегда выводил уверенной рукой, и то, что оскорбляло утонченный слух ревнителей высокой поэзии: тополь «ставит лист ребром»; «влево бегущий пробор» на милой головке; «пламенеет костер и, сжимаясь, трещит можжевельник»; «ворон против бури крыльями машет тяжело»; перепел «головой толкаясь в клетку... лысину напрыгал».

Обоюдное притягательное ощущение творчества. Взаимное глубокое проникновение. Под это невозможно подделаться, такое рассудочно не подстроить. Это возникает стихийно и постепенно. И тогда острая сильная мысль не боится взрезать и в своем, и в чужом произведении саму его ткань, его плоть, не боится задеть своей холодной резкостью нервные окончания только что созданного — живого, горячего, обидчивого. Когда Фет читал прозу Толстого, он тоже, как и Толстой, читающий стихи Фета, был всевидяще зорок. Он помнит, как работа над «Войной и миром» была в самом разгаре, а он, прочитав первую редакцию романа, указал Льву Николаевичу в своем письме (16 июля 1866 г.) на неподвижность образа Андрея Болконского и

высказал мысль, что главное в романе «выворотить историческое событие наизнанку и рассматривать его не с официальной, шитой золотом стороны парадного кафтана, а с сорочки...». Фет некоторое время колебался тогда, отправлять ли это письмо в Ясную Поляну, полагая, что Толстой, находясь в самом центре развороченного материала (не крошечное же стихотворение) и работая с засученными рукавами, не примет душой этих замечаний, раздражится. «Ну, уж не я,— отвечал ему Толстой 7 ноября.— Я помню, что порадовался, напротив, вашему суждению об одном из моих героев, князе Андрее, и вывел для себя поучительное из вашего осуждения. Он однообразен, скучен и только un homme comme il faut¹ во всей 1-й части. Это правда, но виноват в этом не он, а я. Кроме замысла характеров и движения их, кроме замысла столкновений характеров, есть у меня еще замысел исторический, который чрезвычайно усложняет мою работу и с которым я не справляюсь, как кажется. И от этого в 1-й части я занялся исторической стороной, а характер стоит и не движется. И это недостаток, который я ясно понял вследствие вашего письма и надеюсь, что исправил. Пожалуйста, пишите мне, милый друг, все, что вы думаете обо мне, то есть моем писании,— дурного. Мне всегда это в великую пользу, а кроме вас, у меня никого нет. Я вам не пишу по 4 месяца и рискую, что вы проедете в Москву, не заехав ко мне, а все-таки вы человек, которого, не говоря о другом, по уму я ценю выше всех моих знакомых и который в личном общении дает один мне тот другой хлеб, которым, кроме единого, будет сыт человек. Пишу вам, главное, затем, чтобы умолять вас заехать к нам».

Не отчуждение, не взаимное раздражение возникало в них, в Толстом и Фете, не боязнь впустить в свою лабораторию, где все ты любишь и со всем ты связан так, как никто на свете не связан,— впустить гостя, даже друга, но пришедшего извне, и которому все не так дорого,— он смотрит и оценивает неприязненно и судит без снисхождения. Напротив, в них возникало радостное желание еще больше открыться, идти навстречу, искать друг друга и всегда работать мыслью и всегда чувствовать себя учениками в постижении мира.

¹ Благовоспитанный, светский человек (франц.).

«От этого-то мы и любим друг друга, что одинаково думаем умом сердца, как вы называете (Еще за это письмо вам спасибо большое. Ум ума и ум сердца — это мне многое объяснило)», — пишет Лев Толстой Фету (1867 г. Июня 28, Ясная Поляна).

Фет знал за собой это счастливое умение найти неожиданную мысль и, резко осветив ее, сделать выпуклой. Так, когда-то давно, еще совсем молодым он открыл для себя и не усомнился, не побоялся записать:

Сосна так темна, хоть и месяц
Глядит между длинных ветвей.
То клонит ко сну, то очнешься,
То мельница, то соловей...

Не мог ли то же самое чувствовать Оленин или Пьер Безухов и в потоке движения с той же внутренней свободой отмечать про себя, покачиваясь в коляске на какой-нибудь из дорог в глубине России: «То клонит ко сну, то очнешься, то мельница, то соловей...»?

Музыка линий, движений, красок, запечатление неуловимых превращений, острый рисунок вечно ускользающих, меняющихся форм. И рядом — в сознании, в беседах, в переписке — трезвый расчет, грубый практический смысл, обыкновенная жизнь. В том письме Льва Николаевича, где про «Майскую ночь», есть место, дойдя до которого Фет останавливается и перечитывает, на губах его обозначается улыбка: «...и его будут судить Сухотины и скажут: «А Фет все-таки мило пишет».

«Ты нежная», да и все прелестно. Я не знаю у вас лучшего. Прелестно все.

С этой почтой пишу Ивану Ивановичу в Никольское, чтобы он посылал за кобылой, и радуюсь и благодарю вас и Петра Афанасьевича. О цене все-таки вы напишите. Я только что отслужил неделю присяжным, и было очень, очень для меня интересно и поучительно».

Фет давно смутно чувствовал внутреннюю потребность так же соединять как бы несоединимое, но старался делать это в письмах со всяческими ажурными мостками и тонкими переходами, а порою тяготел и к высокопарности, которую иногда замечал за собой, но не всегда мог избавиться от нее, а иногда вовсе не замечал. И его поражала мощь Толстого, умеющего, не

стесняясь, ставить рядом, вплотную и часто вовсе без переходов, то, что действительно существовало и было перемешано в жизни: тончайший срез чувства и сообщение о покупке кобылы.

Помнил Фет и обрадованность Толстого, когда тот узнал, что Афанасий Афанасьевич собирается купить землю, а потом и купил ее в 1860 году в Мценском уезде Орловской губернии. Когда Фет уехал из Москвы и осел в Степановке, Толстой был уверен, что поэт будет отличным хозяином, и писал ему об этом. Толстой также полагал, что почва не повредит древу поэзии.

2

...Теперь, когда большая часть жизни была уже прожита, Фет с медленной пристальностью рассматривал свое бытие после того, как он расстался с Марией Лазич, насильственно прервав самую сильную любовь в своей жизни... И потом эта гибель Марии, неожиданная, трагическая. Случайная ли? И неудачная двенадцатилетняя служба в кирасирском полку с надеждой получить дворянство. И женитьба в 1857 году на Марии Петровне Боткиной, чьи деньги и пошли на покупку Степановки.

Что обрел Фет, несколько раз волевым усилием резко меняя свою жизнь? Он искал для себя гарантии в элитарном, малоподвижном, застывшем обществе, он хотел отвоевать себе право на независимость, его не устраивала жизнь бедного русского литератора, день и ночь выколачивающего деньгу за стихи, статьи и переводы, пьющего с перспективой умереть от чахотки.

И вот он на земле. Благополучный помещик. Дворянин. Поэт, избранный в академию. И все бы ничего, если бы с такой же страстью отверженного, с какой он искал не принадлежащую ему в разрушающемся уже государстве ячейку, не желал он, не искал совершенства в себе и гармонии в природе.

Соединившись вместе, две эти страсти, могут ли они дать то третье, что он жаждет сейчас на своей вечерней заре,— душевное равновесие?

Богатое имение в Воробьевке, дом на Плющихе в Москве, независимость... Откуда же эти провалы в построении, это чувство бесплодности собственных уси-

лий и тоска? Что за проклятие лежит на его жизни? Обогащаясь, приобретая земли и звания, он, орловский, курский, воронежский помещик, вдруг начинал мучиться, часто мрачнел, впадал в раздражение; почва ускользала у него из-под ног, и тогда он чувствовал пустоту и холод, и одиночество, уходил с головой в практическую жизнь, в хозяйство, в литературные переводы, писал статьи, отстаивая помещичьи интересы и вызывая негодование в демократических литературных кругах. Он был энергичным, рациональным, целеустремленным хозяином, и говорили, что он не любит людей, что его ничто не интересует в других, а волнует только свое. Он знал, что так о нем говорили. И это было отчасти правдой. Но только отчасти... Ничто не помогало ему, — припадки угрюмости и меланхолии учащались. Детей у него не было. Жену он, кажется, не любил. С годами его отношения с Львом Николаевичем стали более сдержанными: то, во что Фет так рьяно вживался, Толстой отрицал и с каждым годом все больше тяготился своими привилегиями, желал освободиться от них.

Но чувство прекрасного по-прежнему роднило Толстого и Фета.

Афанасий Афанасьевич и в поздние годы свои с нетерпением ожидал писем из Ясной Поляны, откровенных, наполненных биением жизни, и они почти всегда встряхивали его, бередили в нем творчество, отрывали от меланхолии и практицизма. Однажды, осенью 1875 года, Толстой прислал ему кавказские песни, взятые из малоизвестной книги, изданной в Тифлисе. Вернее, это были прозаические тексты переведенных на русский язык чеченских, аварских и других горских песен. Песни с отблеском дикой, суровой, мужественной и опасной жизни не могли оставить равнодушным сердце, расположенное к поэзии. Лев Николаевич, посылая их, знал это. Но он не только предлагал своему другу случайно найденный материал, которым поэт при желании мог бы воспользоваться, он сам увлекался, он делился с Фетом радостью узнавания многообразной человеческой жизни. И кто знает, какую искру заронили эти песни в самом Льве Николаевиче, когда он читал их и переписывал для Фета, какой замысел мог шевельнуться в Толстом. Первая из присланных Фету — чеченская песня о кровной мести,

где говорится: «Холодна ты, смерть, но я был твоим господином. Мое тело — достояние земли. Мою душу примет небо!» — через два десятилетия зазвучала в «Хаджи-Мурате», в XX главе. Но Толстой остался верен себе и использовал не стихотворное переложение Фета, которое ему нравилось, а взял необработанный, не отмеченный культурой переводчика дословный текст:

* * *

Догоняет на крыльях и ловит свою добычу кривыми когтями белый ястреб. Он ловит ее и тут же клюет — сырою.

На резвых ногах догоняет и крепкими когтями рвет пестрый барс красного зверя...

* * *

Выйди, мать, наружу посмотреть на диво: из-под нагорного снега пробивается зеленая трава.

Взойди, мать, на крышу, на самый край крыши: из-под льда ущелья весенний цветок виднеется.

* * *

Из-под нагорного снега зеленая травка не пробивается. Из-под льда ущелья не видать весеннего цвета. Оттого, что влюблена ты, тебе цветок привиделся.

Фет помнил, как он точно очнулся, впиваясь в звучную свежесть присланных ему кавказских песен. Давно не приходившее волнение охватило его. Он с лихорадочной быстротой переложил песни на стихи и еще с благодарностью написал посвящение «Графу Л. Н. Толстому»:

Как ястребу, который просидел
На жердочке суконной зиму в клетке,
Питаюсь настрелянною птицей,
Весной охотник голубя несет
С надломленным крылом — и, оглядев
Живую птицу, старый ловчий щурит
Зрачок прилежный, поджимает перья
И вдруг неожиданно быстро, как стрела,
Вонзается в трепещущую жертву,
Кривым и острым клювом ей взрезает
Мгновенно грудь и, весело раскинув

На воздух перья, с алчностью забытой
Рвет и глотает трепетное мясо,—
Так бросил мне кавказские ты песни,
В которых бьется и кипит та кровь,
Что мы зовем поэзией.— Спасибо,
Полакомил ты старого ловца!

Он радовался, что стихотворение получилось забавное, неожиданное для него самого, и заранее представлял, как Толстой развернет письмо и поймет это неожиданное и забавное. 4 ноября он послал письмо Толстому. И все это время был наполнен чувством радостного ожидания и умиротворенности, редкой для Фета.

Через несколько дней Лев Николаевич отвечает ему: «Получил ваше письмо и прекрасные стихи, в особенности «Ястреб»... Получил письмо в страшно тяжелые минуты, жена была при смерти, больна воспалением брюшины, родила преждевременно тотчас же умершего ребенка. Страх, ужас, смерть, веселье детей, еда, суета, доктора, фальшь, смерть, ужас. Ужасно тяжело было. Теперь ей лучше, она не встает, но опасности нет. Она читала ваше письмо...»

Смушение охватило Фета: он не почувствовал, не понял, не предположил даже того, что происходило в Ясной Поляне, когда он отправлял туда письмо. И теперь, через много лет, перебирая старые бумаги, он снова подумал, как не вовремя пришло тогда к Толстым его письмо с восторгами, посвящением и кавказским циклом.

Сейчас он собирается в Ясную Поляну, на этот раз для того, чтобы прочесть главы из своих воспоминаний.

Как отнесутся там, что скажут?

19 августа 1888 года со станции Коренная Пустынь он пишет Софье Андреевне, с которой в эти годы переписывался чаще, чем с Львом Николаевичем: «Дошедши в моих воспоминаниях до своих появлений в Ясной Поляне, Никольском и Спасском, я по милости Марии Петровны, попал в целое море самых задушевных и разнообразных писем Боткина, Тургенева и, в особенности, Льва Николаевича. Боже мой, как это молodo, могуче, самобытно и гениально правдиво!..»

По поводу этих бесценных писем я пишу Страхову: «Помните ли Ваши слова о светляках русской мысли, разбросанных по нашим деревням!»¹

Фет сообщает Софье Андреевне о предполагаемой поездке в Ясную Поляну и о том, что сначала они с Марией Петровной заедут погостить в Клейменово, родовое имение Шеншиных, к племяннице Фета Ольге и ее мужу Николаю Павловичу Галахову. Далее в том же письме следуют некоторые подробности, касающиеся самой поездки: «Дело, во-первых, в том, что на Отраде, где мы будем у Галаховых, теперь скорый поезд в 9 час. утра не останавливается, а другие поезда приходят в Ясенки в час ночи и в шесть часов утра, что для Вас весьма неудобно. Но, помимо внешних затруднений, вопрос сводится к тому, кстати ли мы попадем в Ясную Поляну».

3

В обширной яснополянской библиотеке, где хранятся книги, присланные Толстому писателями с разных концов земли, больше всего книг от Фета. «Вечерние огни» с надписью: «Неувядаемой графине Софье Андреевне Толстой. Автор». Катулл «Стихотворения. В переводе и с объяснениями А. Фета» с надписью: «Графу Льву Николаевичу Толстому языческий переводчик». Шопенгауэр в переводе А. Фета с надписями на обложке: «Графу Льву Николаевичу Толстому от старого его почитателя»; «Как бы далеко ни расходились окончности змеи истины, если она живая, то непременно укусит свой хвост. Переводчик»². И снова «Вечерние огни» разных выпусков I, II, III... и книги переводов... Стоял поздний сентябрь 1888 года. Подъезжая к яснополянской усадьбе, Фет заметно волновался. Нетерпение — скорее увидеть Толстых и прочесть им свои воспоминания — смешивалось с чувством тревоги и, может быть, даже детской робости, вдруг возникшей... Хоть он был уверен в себе и знал цену своему уму и таланту... И еще этот утренний осенний ветерок, неуловимо сквозящий.

¹ Письмо опубликовано впервые в «Яснополянском сборнике» (Публикация Н. П. Пузина). Тула, 1970, с. 191.

² «Яснополянский сборник». Публикация Н. П. Пузина. Тула, 1970, с. 190.

Лев Николаевич дал разрешение Фету касательно их отношений писать и печатать все, что Фет сочтет необходимым. Но какими получились воспоминания? Удалось ли Фету запечатлеть многое из того в их отношениях, что очень трудно выразить словами и что удавалось Фету, когда он описывал пейзаж или любовь к женщине. И вспомнились подмости, о которых ему когда-то писал Толстой, что для работы, особенно в начале ее, нужны выросшие под ногами подмости, а если работать без них, руки будут не доставать и зря только потратишь материал и все загубишь, завалишь стены, которые продолжить нельзя, но главное, что подмости эти, когда ты задумываешь книгу, зависят не от тебя, и надо ждать, когда они сами вырастут под ногами, и только тогда приступать... Фет, работая над своими воспоминаниями, следовал этому и, кажется, ощущал подмости. Но так ли это, не обманул ли он? Прав Толстой: «Страшная вещь наша работа. Кроме нас, никто этого не знает».

Что скажут в Ясной Поляне?

И вот они, белые башенки, у въезда в усадьбу. Слегка розовеющие в сентябрьском солнце. Прешпект. Пруды. Белое облако в зацветшем зеленом зеркале. Корявая, с изогнувшимся стволом ива. И на обочине, и на булыжнике солнечные блики и желтые, сухие, легкие, узкие ивовые листочки... Некоторые из них, скатанные в трубочку, легко перебегают дорогу...

Сколько раз Фет приезжал сюда и уезжал по этой самой дороге. И весной, и в снежную заметь, садясь в сани и укутываясь в тулуп; и когда падал мелкий холодный дождик и от лошадей шел пар. Но всегда, в любой приезд, находил здесь тонкое понимание, ему было на редкость приятно общение с этими людьми. Они были из тех немногих, к кому он испытывал длительную привязанность; подле них он мог находиться подолгу и отрывался с трудом и уезжал всегда с грустью. В Ясной Поляне скрывался сильный заряд жизни, который соприкасался с солнцем, землей, травой, лесом, пашней, с ним, Фетом, и, казалось, был неиссякаем. Года два тому назад, когда в октябре они с Марьей Петровной заезжали сюда по дороге из Воробьевки в Москву, он вдруг с особенной ясностью почувствовал, как давно дружит с Толстыми и как неумолимо время. В том году у Льва Николаевича на ноге образовалась

язва и нарыв. Он исхудал, ослаб, нога долго болела. Было много дождей летом и осенью; урожай выдался скудным; на дворе мокрота, слякоть. А они вместе в яснополянском доме, пусть на короткий срок, составляли единый очаг человеческого тепла и доверия. Соприкосновение мыслей и чувств было особенно острым. И Софья Андреевна писала ему потом: «Когда мы проводили вас и Марью Петровну, мы все точно осиротели. То, чего я так долго и нетерпеливо ждала — вашего посещения, осталось позади, и теперь ждать больше нечего. Уехавшие мои девочки тоже увезли с собой оживление и радость. Лев Николаевич стал очень кашлять, и по вечерам у него маленький жар. Нога лучше, и он уже один переступает при помощи палки.

Вчера девочки мои уже были дома и отправились с двумя малышками под дождь, все в красных шапках, на самых разнообразных лошадях, верхом. Веселье и оживление были большие. Таня мне рассказала, как приятно они провели на станции с вами последние минуты»¹.

И Фет вспоминал, как он тогда в Ясенках в ожидании поезда читал стихи Пушкина «В последний раз твой образ милый...» и, кажется, сильно расчувствовался.

И вот он опять здесь. И в доме, наверное, знают, что он вот-вот должен приехать, и ждут его. И осенний, на этот раз сухой, солнечный день обещает быть теплым.

И снова милая, дорогая сердцу Ясная Поляна.

4

Днем были приветливые рощи, косая луговина между двух холмов, дорога к реке Воронке и поднимающийся за ней ярусами гигантский треугольник дальнего леса, и воздух, обкуренный смутным осенним дымком, и предощущение вечернего чтения. И кисловатый запах прели и сырости в старом Заказе, где, по яснополянскому преданию, зарыта зеленая палочка, которую, если найдешь, сделаешь человечество счастливым. И розовато-желтый лист, бесшумно планирующий над этим самым местом.

¹ Письмо от 7 октября 1886 г. «Яснополянский сборник». Публикация Н. П. Пузина. Тула, 1970, с. 190.

Здесь он всегда переживал то, о чем никому и никогда не говорил: в нем болело, тосковало неудовлетворенное, желающее быть пламенным, но оборванное когда-то им самим и оставшееся неразвитым чувство любви к женщине. Может быть, поэтому он так обнаженно, зорко, тревожно любил звуки, линии, краски, игру теней и света.

Небо замглилось, посерело. Но было тепло. В пасмурном воздухе светились резные желтые и красные листья кленов, темные бурые листья дубов, желтые, желтеющие и зеленые листья осин, берез, листья ясеней, лип. Краски приобрели яркость в сухом сером воздухе. И в этом была своя прелесть. И стало отчетливей длинное шерстяное платье Софьи Андреевны и белый воротничок, и накидка.

Фет с улыбкой и рассеянным взглядом следил, как извивается и тускло блестит Воронка и как струятся березовые стволы. Здесь так хочется поверить в зеленую палочку. Да и найти ее непременно в начале жизни. И пусть бы потом тот, кто сумел найти, всегда уже находил в людях сочувствие.

Неожиданно возникло солнце. Оно не вспыхнуло, оно раздалось, как звук. И зазвучало над лугом, над рощей, над рекой, над дальним лесом. И шерстяное длинное платье Софьи Андреевны приобрело голубоватый оттенок.

Звучные светлые лучи и тепло, которое сильнее выделяется осенью, когда в воздухе сквозит острый — откуда-то издалека — холодок...

5

Жизнь двигалась, ломалась, крошилась, выравнивалась и снова ломалась и снова обретала устойчивость или только видимость устойчивости. От самого рождения ему словно были уготованы эти изломы и смещения судьбы, эта дисгармония его жизни. Зачатый в Германии, в Дармштадте, он еще во чреве матери попал в Россию и увидел свет в Орловской губернии, в поместье Афанасия Шеншина, который увез его мать, красавицу, от мелкого дармштадтского чиновника, когда она была беременна сыном. И потом четырнадцать лет иллюзий, что он любимый сын богатого русского помещика, названный так же, как и его отец, Афанаси-

ем, уверенный в себе потомственный дворянин, наследник. И вдруг в один день все открывается, переворачивается; из Орловской консистории идет предписание мценского священника: Афанасий Неофитович Шеншин оказывается вовсе не его отец, а отец его — какой-то мелкий дармштадтский чиновник. Мальчик теряет право на дворянство, на наследование, на саму фамилию Шеншин. Теперь он должен носить странное, незнакомое ему, ненавистное, ничтожное имя этого чиновника — Фет. И, потеряв все, освобожденный от всяких привилегий и охранных грамот, незащищенный, точно раздетый, почти отверженный, он начинает жить, ввинчиваться в жизнь, добиваться, действовать, искать опору... И вот он подводит итоги.

После чтения своих воспоминаний, после чая за длинным столом с самоваром, после разговоров в большой комнате на втором этаже яснополянского дома, где два рояля, после всех этих близких людей с разгоряченными живыми лицами и блестящими глазами Фет стоял один под безлунным сентябрьским звездным небом. Он остался один и думал, что жизнь его теперь, наверное, не продлится долго. Смещенная, переломленная в нескольких местах, с колючими углами жизнь, неуголенная, неприятная. Но у каждой жизни своя пружина, и свой опыт, и своя неотвратимость. Не в силах он произвольно сделаться ни Львом Толстым, ни девяностолетним отцом своего кучера Афанасия, стариком из Воробьевки, который исправно ест, пьет и спит, ежедневно с огромнейшей удочкой приходит к реке, но никогда не может поймать ни одного пескаря.

Огромное в темноте звездное пыланье. Иногда в тишине слышен легкий бег листвы — это осины, иногда более медленный шорох — это кустарник шевелится во сне. Старые деревья, высокие, черные, поднимают небо над собой. Пахнет влажной свежестью. Сквозь смутные, кое-где густеющие, кое-где разреженные скопления высокой листвы сыплются звезды; они своими гранями распирают как бы дырявые кроны и кажутся лучистыми драгоценными камнями, которые слегка поворачиваются. Потом кажутся они дрожащими голубоватыми каплями. И, когда видны сквозь листву, приближаются, укрупняются, как под увеличительным стеклом,

Великолепное небо — там, над вершинами деревьев. Высокое, сентябрьское, строгое, холодное.

Но вот начинается открытое пространство, и небо просветляется чуть, становится иным: более открытым и размытым по краям. Звезды как бы уменьшаются, роятся... И он вспоминает, что они когда-то с Аполлоном Григорьевым в молодости были под Москвой у знакомых и стояли вот так ночью и долго смотрели на небо. И так же наверху роилось и блестело. «Небо в соснах было приветливей», — подумал он. И подробно вспомнил рисунок той далекой ночи. Он был в тоске, его раздирали беспокойство, сомнительность его происхождения, страх перед будущим, шаткость положения, честолюбие, безнадежность. Аполлон Григорьев дни и ночи проводил с ним, опасаясь за него. Сколько лет с тех пор прошло! Небо тогда было напропалую залито белой пылью и молоком. И оттого, что оно по краям было обрамлено сосновой хвоей, явно чувствовался небесный купол. Вогнутость неба подчеркивала крупная звезда в глубине его. Направо далеко виднелась остро-конечная крыша, и вершины двух сосен возле нее казались пагодами. Мерещился Восток... Он это помнит.

Он всегда любил небо. И сейчас, в Ясной Поляне, как бы вновь и с большей силой ему открылось драматическое движение его жизни, его натуры.

Есть лицо неба. Лицо поля, леса... Лицо земли. Лицо неба он знает, он сейчас стоит перед ним — оно черное, высокое, в звездах. А лицо земли... Какое оно? И кто он, — соглядатай природы? Толстой говорил ему: «Без любви нет поэзии».

Лицо неба. Левее, над прудами, у него иной рисунок: оно, как заводь... И это он уже видел когда-то в своей жизни. Сорок лет назад в Херсонской губернии, в поместье у Бржеских... Он стоит с двадцатилетней девушкой, дочерью бедного помещика. Южное степное затишье. Небо струится, словно мутная медленная вода, и точно не две звезды, а два огонька колеблются на его волне. Сердце сжимается. И хочется куда-то плыть и плыть при легком ветре и дуновении счастья. Чудится Венеция... Слышно было, как рядом в летнем доме на веранде стучали ножами, вилками, ложечками. Готовился поздний ужин. А рядом была Мария Лазич. Целомудрие души, которое жаждешь найти в другом человеке, жило, трепетало, дышало в ней. Все было,

как в той кавказской песне: «Из-под нагорного снега зеленая травка не пробивается. Из-под льда ущелья не видать весеннего цвета. Оттого, что влюблена ты, тебе цветок привиделся».

Может быть, надо было идти за любовью и не страшиться бедности, и не напаяливать на себя привилегии, которых лишила его жизнь, содрала с него... Может быть, это был шанс. И он упустил его. И Мария сгорела в пожаре. И теперь это вечное внутреннее неустройство внешне как будто устроенной его жизни.

Сомнение охватило Фета: выразился ли он вполне, живя так, как он жил? Теперь-то он знал, что внутреннее стремление — это нить, которую опасно прерывать, если ты поэт.

Стал ли он тем, кем он должен был стать, исполнил ли свое предназначение? Не прав ли Лев Николаевич с его вечным мотивом, что не так живем, как надо?

Логика бытия поэта — в чем она? В том, чтобы выразить себя, вытолкнуть в мир свое сердце со всеми болями, ожогами, ранами, рубцами, слабостями, занозами... Но этого мало, логика бытия поэта — еще и в бесстрашии. Таков Данте... Таков Байрон... Таков Тютчев... Не зря его, Фета, преследует, раздражает колючее, неудовлетворенное, неуясненное. Он лучше всего и подробнее всего знает сейчас именно это чувство. И оно уже будет с ним, наверное, до конца, как сама природа, и как, может быть, до самого конца будет с ним привязанность к прекрасному и боль от красоты.

В его памяти, в самой глубине, мелькнул какой-то неясный светлый квадрат, и вслед за этим — слова Николая, старшего брата Толстого, умершего давно, тридцати семи лет от роду.

Он болел туберкулезом и боролся и накануне своей смерти вконец ослабевший упал на постель у открытого окна... Да, было открытое окно. И он дышал этим воздухом. Стоял сентябрь, сентябрьский день. Да, именно конец сентября. Лев Николаевич вошел, а у Николая слезы на глазах, и говорит: «Как я наслаждался теперь час целый». Так и сказал. Природа была с ним. Толстые, они остро, обнаженно чувствуют, видят, слышат жизнь. Они так сильно сплетены с жизнью, с природой; трудно таким людям умирать...

Он вслушивается. Далеко, в деревне и дальше, и еще дальше собаки облаивают ночь. Зябко. И в воздухе рядом разлито предвкушение очага, огня, тепла. И вверху вечное, холодное, прекрасное, многообразное небо. В доме, где он только что читал свои воспомина-ния, светятся поздние окна и свет падает на темные кусты; видно, как живет и дышит листва в этих по-лосках света.

«Какой устойчивый дом,— думает Фет.— И обна-женность чувства, и метания, и борения, но как все прочно».

Толстой, что бы там ни говорил, врос сюда всеми корнями, ничто не вырвет, не поднимет, не оторвет его от Ясной Поляны, потому что все-таки здесь очаг великой культуры, построенный им самим и его близки-ми людьми...

Так думает Фет. Он не знает, что через многие го-ды, уже в другом веке, однажды ночью Толстой тайно соберется и уйдет от этого очага, и бросит все, и отле-пится с болью, чтобы начать новую жизнь, и освобож-денно растворится посреди большой земли, точно же-лая с невыразимой, почти детской надеждой найти со-чувствие уже не у людей, среди которых он жил, но у новых людей и у самой природы...

Это Толстой. А он, Фет, чего больше всего хотел он сам, и брал, и отдавал, и всегда искал и не находил в этой быстротекущей жизни? Что оказалось в конце концов самым драгоценным.

Фет вспомнил Тютчева:

Нам не дано предугадать,
Как наше слово отзовется,—
И нам сочувствие дается,
Как нам дается благодать...

И ему захотелось проговорить это вслух и услы-шать самому.

Стоял поздний сентябрь 1888 года. Это был золотой век русской литературы.

СИЛА ПРЕКРАСНОГО



СЫН МЕЛЬНИКА ИЗ ЁРЖИНА

1

В Тулу, в художественный музей, стали доходить слухи, что будто бы где-то в области, то ли в Белевском, то ли в Чернском районе, тихо живет никому не известный человек, у которого хранится редчайшая коллекция картин, принадлежащих кисти Репина, Константина Коровина, Левитана... Называлось еще несколько великих имен, и добавлялось, что человек этот живет отшельником, почти никого к себе не пускает.

Сперва сотрудники музея относились иронически к этим сведениям: столько раз уже возникали подобные истории, а приедешь на место — ничего подобного, две-три малограмотных подделки, и только. А тут не то что бы две-три, а целая коллекция картин, да еще каких!

Откуда она могла взяться где-то под Чернью, и что-бы столько лет о ней никто не знал? И вдруг на тебе! Не может быть. Но слухи повторялись, и все настойчивей. И даже искусствовед, приезжавший из Москвы, вскользь заметил, что недавно от кого-то слышал об этой коллекции. Наконец, молодой художник Виктор Арсентьев, занимающийся народными художественными промыслами и живущий теперь в деревне Филимоново, приехал и рассказал, что он разыскал коллекционера, но тот его не пустил к себе. Живет коллекционер в Ёржино, это от Черни — час езды, если не больше. Фамилия его не то Мальков, не то Мельников, по-разному его величают в Ёржино. И картины у него точно есть.

Тут уж сотрудники музея, не тратя времени даром, стали собираться в дорогу. И Виктор Арсентьев поехал с ними.

2

Ёржино оказалось небольшой деревенькой, подбористой, живописной. А на отшибе еще несколько домов стоят, точно бы отдельный хутор образуют. «Вот здесь

он и живет», — указал Виктор Арсентьев на красный кирпичный дом с зеленой крышей. За невысокой изгородью виднеется довольно большой двор, не очень ухоженный, но и не запущенный. По всему участку вразнобой стоят темные, крепкие, ветвистые ели. Лежит свежераспиленное бревно. Рядом стоит старая кадушка. Две собаки, скорее всего от одной суки, матери, равнодушные, сидят возле крыльца. Явная помесь, в которой все же смутно угадывается овчарочья порода.

Хозяин появляется не скоро; увидев людей у калитки, не торопясь, подходит. Он невысок, коренаст. Лицо у него круглое, белое, с вислым вторым подбородком. Взгляд пронизательный, спокойный. И неожиданная теплая улыбка, не без лукавства. Он долго расспрашивает, кто такие и откуда приехали. Просит показать документы. Внимательно читает их, поднося близко к глазам. Улыбка скользит по губам и исчезает где-то в глубине лица, потом снова появляется, но уже надолго, и светит в ней радушие. «Заходите, заходите, гости дорогие-уважаемые!» — округло так, распевно, поставленным высоким голосом говорит хозяин. Собаки внимательно следят за ним, вслушиваются, очевидно, в интонацию голоса: уши у них чутко поставлены; слегка подрагивают, движутся, как маленькие локаторы. Он проводит мимо них гостей. Собаки не шелхнутся, молчат.

Дом спланирован так, что из сеней одна дверь ведет в спальню, другая — в столовую. В столовой висят несколько картин в тяжелых рамах и множество фотографий. На отдельном столике стоят-теснятся какие-то сувениры и фарфоровые безделушки, лежит бледно-голубая атласная лента с увядшей неразборчивой надписью. У столика стоит мягкое, потертое, продавленное кресло, судя по всему, в нем подолгу любит сидеть хозяин дома. Столовая эта или гостиная — уж и не знаешь, как определить, — загромождена мебелью и несколько темновата. Из нее попадаешь в галерею — большую, холодную, светлую комнату, сплошь увешанную и уставленную картинами. Гости, войдя в галерею, даже остановились на мгновение, переглянулись изумленно; потом с насильственным безразличием стали рассматривать картины. От хозяина не ускользнуло ни одно их движение, ни полдвижения. Но взгляд его

ничего не выражал, кроме радушия. Наконец, самый молодой из гостей, Виктор Арсентьев, не выдержал: «Да это же Левитан! И притом я никогда не видел ничего похожего на эту работу...» «Левитан, молодой человек, Левитан,— отозвался хозяин.— Подлинный. А рядом Суриков, Врубель, «Купальщицы» Мешкова, все — подлинники». Виктор Арсентьев продолжал время от времени восхищаться, восклицать, радоваться и даже хватался несколько раз за голову: мол, совершенно невероятно! Оба же музейных работника, Алексей Иванович Кириллов и Соня Левина, продолжали молча и сосредоточенно рассматривать полотна. Независимо друг от друга, они пришли к выводу, что эта великолепная коллекция не отмечена, однако, единым вкусом и собиралась, скорее всего, разными людьми и по случаю. Нечего говорить о том, что и Соня, и Алексей Иванович испытывали про себя то счастливое и вместе с тем тревожное, почти суеверное чувство, какое испытывают при виде такого рода полотен, наверное, одни лишь музейные работники. Вот поздний Репин: портрет писателя Леонида Андреева, вот «Семья Репиных в Абрамцеве», пейзажи Поленова, «Крыши, освещенные солнцем» Крымова... большие и малые полотна — прямоугольники и квадраты, драгоценно поблескивающие сочной зеленью, живым теплом солнца, размытой голубизной, лунным прохладным серебром, трепетом и сиянием жизни. Можно сойти с ума! Почему это скопление шедевров оказалось вдруг у черта на рогах — в Ёржино, в каком-то доме? И столько лет скрывалось от человеческих глаз? Виктор Арсентьев от возбуждения не знал что и делать и принялся рассказывать крупными шагами по галерее. Хозяин же по-прежнему радушно улыбался, давая время от времени необходимые пояснения.

Потом, когда сидели в темной, загроможденной столовой, хозяин сказал: «Извините, дорогие гости, что не представился вам сразу... запямятовал как-то. Зовут меня Евграфом Васильевичем. Фамилия моя по паспорту Мальков. Но в Ёржино нас всегда Мельниковыми звали, отец у меня мельником был. Вон его портрет, а рядом матери... Их художник Малютин нарисовал, по моей просьбе». С темных портретов смотрели бородастый, худой мужик лет сорока с дремучим, упрямым взглядом и миловидная, круглолицая крестьянка.

«...Вот я и привык, что мы Мельниковы,— продолжал Евграф Васильевич.— Я и в опере под этой фамилией пел. Так что считайте, что я Мельников». Гости хотели сызнова назвать свои имена, разумно полагая, что хозяин забыл их, прочтя единожды в удостоверениях. Но он остановил гостей, сказав, что хорошо помнит, кто есть кто и у кого какое имя. Пили чай, говорили о художниках. Алексей Иванович и Соня пытались выяснить обиняком, думает ли владелец коллекции установить связь с художественным музеем в Туле, есть ли ему резон по-прежнему оставаться в Ёржине, не приходила ли ему мысль перебраться в областной город, и тому подобное. Евграф Васильевич отвечал уклончиво. Однако через некоторое время сказал, что гости к нему приехали как раз в тот момент, когда он решил три картины продать. Одну — старому московскому художнику, его давнему приятелю; они уже списались, и художник должен скоро приехать. Две других приобретает Третьяковская галерея. Что касается того, чтобы уехать из Ёржина, он бы, может быть, и уехал, родных у него здесь нету, не считая двоюродной сестры, которая за двадцать верст живет и с которой они годами не видятся. Но куда ехать: в Тулу? В Москву ли?.. «Я ведь человек пожилой,— сказал Евграф Васильевич,— мне бы квартиру, чтоб недалеко от музея, и чтобы отношение ко мне теплое, бескорыстное было... Чтоб спокойно на душе. Тогда, может быть, и решился, да. А где его, бескорыстие-то, достанешь? Тут легко ошибиться, дорогие мои гости. Долго ли впросак попасть!»

Соня смотрела на Малькова и пыталась представить его жизнь и угадать, что он за человек. Кириллов прикидывал в уме, сколько придется положить усилий, чтобы этот Мальков-Мельников продал что-нибудь Тульскому музею. А уж о передаче в дар и думать не приходится. Правда, как опытный музейный работник, Алексей Иванович знал, что всяко бывает. Чем черт не шутит! За такую коллекцию стоит побороться. Виктор Арсентьев, не обремененный мыслями о приобретении картин, все пытался решать некоторые психологические вопросы и спрашивал напрямик:

— Евграф Васильевич, столько лет вы сидите в Ёржино, один, как перст. Зачем? Жизнь у людей одна. А вы сиднем сидите. Никто ваших картин не видит.

Красота такая, и даром пропадает! В толк не возьму, зачем?

— Почему это, милый человек, красота даром пропадает! Некуда ей пропасть. Потрясения всякие случаются, волнения, а я как гляну на свои картины, на шедевры эти, и сердце начинает ровнее стучать! Сберег все-таки! Я на них каждый штришок, каждый мазок знаю. Они словно бы дети мне родные...

Время клонилось к вечеру. Надо было подумать о ночлеге: либо оставаться у Малькова, либо выезжать, не задерживаясь. Евграф Васильевич сказал, что оставить у себя гостей на этот раз не может и что к тому же у него в доме нет электричества. Оказывается, Ёржино давно электрифицировано, к его же дому, что на отшибе, — свет почему-то не протянули. Малькова это не беспокоит, спокойнее даже как-то. Он ни разу и не ходил в сельсовет, не просил, чтобы к его дому столбы поставили. А спать он все равно рано ложится. Кириллов и Соня договорились с Мальковым списаться, наведаться еще раз в Ёржино, пригласили старика в Тулу.

С тем гости и уехали. По дороге Кириллов неожиданно рассмеялся: «Колоритная фигура этот Мальков-Мельников! Даже электричества не захотел проводить. Страху, что ли, молится? Что бы там ни было, надо постараться побольше работ у него вытянуть для музея. И как можно быстрее, слышишь, Соня?»

3

Евграф Васильевич проводил гостей, посмотрел им вслед и, когда уже машина скрылась из виду, продолжал еще некоторое время стоять у калитки. Потом накормил собак. Зашел в дом. Сел в любимое кресло. Стал вспоминать прошедший день, гостей, всех вместе и каждого в отдельности. Стал анализировать, перебирать каждое слово разговора. Эта привычка выработалась у него за долгие годы затворничества в Ёржино. Был ли он доволен сегодняшним визитом? Трудно сказать. Скорее всего, да. Последнее время он даже стал радоваться появлению незнакомых людей, разумеется, если это были солидные люди, а не всякая там богема и шантрапа, которая шляется с этюдниками в поисках впечатлений. От этих чего угодно можно ожи-

дать. Евграф Васильевич, конечно, помнил, что он не пустил в первый раз этого сопляка Арсентьева, этого мальчишку. И сегодня он тоже был совсем не к месту, хватался за голову, удивлялся... Какой-то неуравновешенный тип! Кириллов — совсем другое дело. С этим можно завязать крепкую ниточку. Ему приходилось сталкиваться с такими. Обычно это собранные люди, решительные в поступках и без всяких иллюзий. Кириллов не будет много болтать об их сегодняшней встрече, но приложит все силы, чтобы картины из Ёржино попали именно к ним, в музей, а не куда-нибудь еще. А значит, надо ждать от Кириллова вскорости всяких предложений, посулов, гарантий. Евграф Васильевич это точно знал. «Посмотрим, посмотрим, — произнес он вслух. — Может быть, и Тулу выберем, а может быть, и стольный град...». Мимолетная улыбка мелькнула на его губах. О Соне он подумал напоследок: Соня Левина ему понравилась. Мягкая, светлоглазая, светловолосая женщина лет тридцати, склонная к покою, может быть, немного вялая, с милыми ямочками на щеках, когда она улыбалась. Малькову с молодости нравился такой тип женщин. И сейчас нечто похожее на влечение шевельнулось в его душе. «Посмотрим, посмотрим...» — произнес он снова вслух. А почему бы и нет? Он человек порядочный, надежно обеспеченный, а если бы еще такое существо согрело его старость!.. Что-то подсказывало Евграфу Васильевичу, что у Сони не совсем удачно сложилась личная жизнь. По каким-то едва уловимым приметам угадывал он это, что-то мерещилось ему. И все больше укреплялась в нем надежда, что его собственная жизнь скоро резко изменится, что он снова выйдет на божий свет, станет почетным, уважаемым лицом. Надо только не пропустить момент! И он уж его не пропустит.

Евграф Васильевич в сгустившихся сумерках увидел, как на деревне стали зажигаться огни. Он засветил керосиновую лампу, выпил молока. Вышел во двор, проведаль собак, закрыл ставни на запоры, вернулся в дом, зарядил двустволку, стал готовиться ко сну. Делал он это изо дня в день, многие годы, автоматически.

Уже засыпая, Евграф Васильевич снова вспомнил Арсентьева и его дурацкие восклицания и вопросы: «Зачем?.. Отчего? В толк не возьму!.. Красота такая и даром пропадает!» Да где же она пропадает, да он, Ев-

граф Васильевич, голову за нее положит, благодаря ему, может быть, она, эта красота, только и сохранилась. И он понял, что до невозможности трудно ему будет расставаться с коллекцией, что он прилепился душой к этим полотнам и поехал бы за ними на край света. Он увидел себя сидящим в пустом доме. Вот он часами, днями, годами созерцает прекрасные картины. И это уже не только Репин, Суриков, Врубель, но и он, Мальков! Да, да, эти картины в равной степени принадлежат и его душе. Он это не мог бы объяснить словами Арсентьеву или кому-нибудь другому, но он это крепко знал, чувствовал.

Евграф Васильевич все глубже входил в сон, и в его душе обжигало, как язычок пламени, шевелилась надежда.

4

В начале века в одной из деревень Тульской губернии, в самой глухомани жил некто Василий Мальков. Был он мужик двужилый, расчетливый и замкнутый. Имел он мельницу, крепкий двор и красивую жену. До замужества она была первой певуньей на улице, а в замужестве притихла. Мальковы жили в достатке, но всегда настороже. И двор их окрестили невеселым. Был у них сын Граня, плотный, низкорослый мальчишка, круглолицый, похожий на мать. Пел он хорошо. Голос у него был чистый, переливчатый, непрерывный. Граню приглашали на праздники, на свадьбы, любовались его голосом. Он охотно отзывался на просьбы, любил петь. Советовали ему податься в город, в артисты, чего в глухомани пропадать. Василий Мальков мрачнел, недоволен был: не приучается сын к его ремеслу, не хочет запрягаться, не лежат у него руки к делу. Одно на уме — с девками баловаться, кривляться да песенки петь. Несколько раз под пьяную руку колачивал он Граньку, кричал: «Порченный ты какой-то! Кому все это достанется, сукин ты сын?» А сыну все как с гуся вода. Отсидится, отмолчится дня два после отцовских кулаков и опять за свое принимается: уж больно красивый голос даден ему был. Случилось Гране в это время полюбить, но девушка из бедной семьи предпочла другого, как и она сама, веселого рослого смуглого парня, а Граня был горько уязвлен и в

первый раз, может быть, понял, что не все ему доступно, открыто в жизни, что ростом он невелик, невзрачен, что сила у него не такая уж завидная. И еще сильнее захотелось ему уехать в большой город, стать знаменитым, богатым, прославиться на всю Россию. Он уж тайком стал собираться в дорогу, копил деньги, приворовывая у отца и надеясь на сочувствие матери в последнюю минуту. Но тут началась первая мировая война. Отец откупился, и Граня в армию не пошел, прикинулся хворым, несколько месяцев не выходил со двора. За это время убили его счастливого соперника. И та, которую он любил, — Саша Голубева, осталась вдовой с сыном на руках. Граня стал ходить к ней, носил подарки, жалел ее, обогревал мягкими словами. А добившись своего, в скором времени озлобился, стал корить, ревновать к убитому, не мог простить обиду, полученную когда-то. Стали уже поговаривать, что Граня берет за себя Сашу Голубеву и она вот-вот должна перебраться с сыном к Мельниковым в невеселый двор. Но Граня неожиданно уехал, даже не простившись с ней, не сказав ни полслова. По-волчьему как-то поступил. Может, и царапнула его совесть разок-другой по сердцу, да он решил позабыть об этом. Ну, побаловались, и хватит! Надоело ему Ёржино с его дремучей, грязной, мутной жизнью. Повел Граню в люди его сильный самородный голос. Приехал он в Москву, удивился большому городу, но не оробел. Стал в разные места ходить, к разным людям, просил, чтоб его послушали. Его слушали, но не удивлялись, как в Ёржино, правда, одобряли, говорили — надо учиться. Написал Граня отцу, попросил денег. Отец ответил: «Вертайся, сынок, помощник мне нужен...» А денег не прислал. Стал Граня брать частные уроки и как мог зарабатывал: сам себя тащил. Был водовозом, кучером, продавцом цветов, упаковщиком мебели. Своего добился, приняли его в оперный театр, правда, не солистом. Пел он в хоре. На белой душистой, тонкой бумаге писал домой, что и он теперь артист Императорских театров, что в ближайшем времени, полагает, продвинется и деньги будет получать большие. Так что мельница ему ни к чему. Фамилия их, Мальковы, не годится для оперного певца. И теперь величать его будут Евграф Мельников.

Стал Граня знакомиться с разными людьми, при-

смастриваться к ним, прилаживаться, привыкать к обыденности артистической жизни. Никакие расписные терема перед ним не распахнулись, никто его на руках не понес; наоборот, ему даже не хватало той прежней гордости и радости за себя, когда он соловьем разливался на ёржинских свадьбах и праздниках. И сердце тосковало и ныло от этой памяти. Граня становился настороженным, быстроглазым, цепким зверьком, ждущим своего часа. И лишь раз, выпив с друзьями не в меру, он распоясался и, стукнув кулаком по столу, закричал: «Я сын мельника из Ёржина! Я вам покажу, сукины дети!» Познакомился он с балериной из кордебалета; вскоре они сошлись и переехали жить к ее дальнему родственнику Никанорову, в прошлом танцовщику. Никаноров занимался тем, что покупал картины у молодых художников, перепродавал; некоторые, наиболее ценные с его точки зрения, оставлял у себя. Собирал он и старинные вещи, всякую редкость. Много разного народа вертелось вокруг Никанорова: молодые художники, живущие впроголодь, чиновники, журналисты, антиквары, перекупщики и просто проходимцы без определенных занятий. Тут-то и присоветовали Гране уйти из хора, не губить там свой талант, а пристроиться где-нибудь в ресторане. Со временем и концерты, мол, начнешь давать, разъезжать будешь. Никаноров познакомил его с хорошим антрепренером. И пошло, покатилося, поехало. Ночные кутежи, пьяные песни, чаевые. Иногда и шальная денюга перепадать стала. «Держись, Граня, такой жизни,— говорил Никаноров,— а сам не зевай, копи. Денежку к денежке прилепляй, не разматывай. А без этого что? — одна амбиция, а не человек». Граню долго уговаривать не пришлось, он ведь мальковской породы: не проворонит своего. К тому времени по совету жены и купил Граня первую картину, положившую начало будущей коллекции, потом вторую, третью... и пристрастился к этому делу. Через некоторое время возник некий клан коллекционеров, в который, помимо Никанорова, Грани, его жены, Граниного антрепренера, входило еще несколько надежных людей, крепко связанных с художественным миром тогдашней Москвы.

Все эти суровые, революционные, голодные, трудные для России годы Евграф Васильевич выступал на подмостках, пел народные песни и революционные то-

же пел. Выступал перед рабочими и перед красногвардейцами. А в годы нэпа снова стал петь в ресторанах. Все складывалось для него прекрасно! Рос достаток в доме, росла коллекция картин. О нем уж стали поговаривать как о знатоке, ценителе высокого искусства. Но вот однажды прибежал Никаноров, бледный, губы трясутся. Стал просить, чтобы Евграф Васильевич у него самые ценные картины и вещи на время взял и припрятал, обещал большое вознаграждение. Попросил и за друзей своих: мол, тоже в долгу не останутся. Евграф Васильевич испугался, отказываться было стало: что люди скажут, откуда у него все это набралось? Но Никаноров его убедил: мол, трудные времена, надо как-то переждать, а там первым человеком сделаешься. Руки, конечно, у Евграфа Васильевича дрожали, но он все-таки рискнул, ибо пришла ему в голову одна счастливая мысль.

Клан Никанорова распался: кого посадили в тюрьму за какие-то крупные махинации, кто за границу укатил. Уже каким образом Мальков оказался в стороне, трудно сказать: то ли звезда у него такая счастливая, то ли выгородили его друзья, чтобы коллекции он спас и приберег до их возвращения. А может быть, он и, правда, не был замешан в том деле. Никому и никогда Евграф Васильевич об этом ничего не рассказывал, и потому на истории его коллекции лежит отпечаток некоторой тайны, которую мы не беремся разгадывать или домысливать.

Вскоре после ареста Никанорова Евграф Васильевич стал собираться в Ёржино, решил, что хранить картины там будет надежнее. Жена отказалась поехать с ним. Вышел у них жестокий спор по поводу того, что Малькову брать с собой, что оставить ей. Кажется, ему даже пришлось слегка поколотить свою балерину на прощание. Так они и расстались.

Мальков исчез из Москвы.

5

В один из неторопливых, погожих вечеров в библиотеке музея разговаривали Соня Левина и Арсентьев. Он приехал из Филимонова дня на два, был полон энергии, с увлечением рассказывал о мастерицах филимоновских игрушек, о том, что он добивается и до-

бьется, чтобы построили там новый современный цех. Виктор был полон грандиозных планов и доволен собой, что он решил поехать в Филимоново, что работает там, как он говорил, вдали от шума городского. Соня слушала Арсентьева благосклонно, одобряла его порыв, улыбалась, когда он вдруг вскакивал и начинал ходить по комнате.

В библиотеку заглянул Кириллов: «Соня, на ваше имя пришло письмо от того Малькова-Мельникова. Интересно, что он предлагает?» Соня вскрыла конверт. На голубоватой роскошной бумаге каллиграфическим почерком (лишь некоторые буквы вышли дрожащими) было выведено: «Дорожайшая Софья Владимировна! Вот уже месяц, как вы гостили у меня со своими друзьями. Хочу надеяться, что Вы еще не раз окажете честь моему дому и мне — скромному артисту бывших Императорских театров, а ныне отшельнику в местах малодоступных...»

На этом месте Арсентьев расхохотался: «Надо же каким стилем шпарит!» Кириллов же даже не обратил внимания на стиль письма, всяк по-своему пишет: «Читай, Соня, что там дальше?..» А дальше ничего особенного не было. Мальков жаловался на скуку своих мест, намекая, что, может быть, и приедет, если его как следует попросят. О том же, как он хочет распорядиться картинами, в письме ни слова не было. В конце Евграф Васильевич передавал «нижайший поклон Алексею Ивановичу». Арсентьева не упоминал.

— Жаль мне все-таки его, — сказала Соня. — Живет человек бобылем, никого не любит, никакого тепла рядом. Даже электричества себе проводить не захотел.

— Да что его жалеть, гниду такую, — вспыхнул Арсентьев. — Отдал бы картины музею! Или бы на месте музей соорудил, в Ёржине! Представляете, в глубинке такое бы чудо возникло?! Туда бы паломничество началось!.. А то сидит, никого не пускает, а ты жалеешь его!

Кириллов не стал высказываться по этому поводу, но попросил Соню тотчас же ответить Малькову. Написать ему, что музей добивается для него отдельной квартиры в Туле; выхлопочут Малькову и приличную пенсию, если, разумеется, он передаст все или большинство своих картин музею. Кириллов подумал с минуту и добавил: «Да вот еще что: пригласи-ка его, Соня, к нам, пусть приедет погостит. Пригласи как следует...».

...Долго Евграф Васильевич ждал, что объявится кто-нибудь из старых компаньонов; разочтутся они — честь по чести! — и он вернется в Москву. Но в Ёржино никто не приезжал. Так шли годы. Может быть, даже Мальков втайне и радовался, что все досталось ему одному, может быть, даже он поэтому и уехал в Ёржино, чтобы затеряться в глухомани, в затишье, вдали от проезжих дорог, переждать строгие годы, пережить своих компаньонов. В этой части история Малькова тоже несколько замутнена.

Картины он надежно спрятал, жил один (родителей к тому времени уже не стало), обходился малым, людей сторонился. Но на это в Ёржине смотрели как на должное, знали: двор — невеселый. Работал Мальков в колхозе на разных работах, был и счетоводом, и кладовщиком, старался не выделяться, быть, как все, и даже тише других.

Смотрели на него, как на чудака, бобыля, но с уважением: старики еще помнили его чудный, молодой, переливчатый голос, парни и девушки наслышаны были, что он когда-то знаменитым московским артистом был. Эта легенда да неприметное поведение оберегали Евграфа Васильевича от многих жизненных неприятностей. Старый его приятель, школьный учитель Хромов, все старался втянуть его в общественную жизнь, приглашал в школу — ребятишек пению обучать. Но Мальков отвечал, что слух у него хуже стал, после болезни испортился. Потому-то из Москвы и уехал, а то чего ему здесь, в Ёржине, делать. Так что обучать пению он никого не может.

Время от времени Евграф Васильевич ходил в гости к Хромову, иногда Хромов пил чай у него. Так жизнь и текла. Саша Голубева, с которой он когда-то не по-людски расстался, подурнела, потускнела; быстро красота ее отцвела в суровой маетной жизни. Но они здоровались и даже останавливались иной раз, разговаривали. Хозяйку, однако, Мальков к себе в дом так и не привел, продолжал жить один. Иногда выходил ночью с ружьем во двор. Постоит с собаками, походит, прислушается к темному шуму елей и возвратится в дом. Однажды его так мальчишки деревенские видели: стоял он в смутном свете обрубленного месяца, не ше-

дохнувшись, шевелил беззвучно губами и похож был на привидение. Изумились мальчишки: колдун какой-то! Но с тех пор стали его слегка побаиваться и невеселый двор стороной обходить.

Надежно хранил драгоценную коллекцию Мальков. Ни на день не выезжал из Ёржина. Один раз сильно болел, совсем было помирать собрался, но ни слова не проронил, не выдал себя. Может, и выздоровел потому, что картины эти у него были.

Во время последней войны немецкие войска в семидесяти километрах от этих мест стояли, но до Ёржина не дошли, в стороне оно осталось. Многих ёржинцев за это время не стало. Кого на войне убило, кто голод не выдержал, кого время прибрало. Мальчишки мужиками стали, обзавелись семьями. А Евграф Васильевич каким был, таким словно бы и остался: молодежавый, степенный, смотрит внимательно, и руки у него не дрожат, точно какие-то родники его тайно силой питают. Одно в нем поменялось — перестал он неприметным казаться. А лет пять назад рассекретил он свои картины, отвел для них самую большую и светлую комнату, развесил по стенам. Первое время часами сидел в своей галерее, созерцая полотна, освещенные утренним, дневным, вечерним светом. Перевешивал их, менял местами. Радовался сердцем, как не радовался уже столько лет. А может, никогда в жизни не радовался так. И казалось Евграфу Васильевичу, что он молодеет, и чувствовал он эту свою новую молодость, странную пружинящую силу. В глазах его появился свежий темный блеск, а в движениях уверенность.

И пошла по Ёржину и от Ёржина дальше молва, что у мельникова сына, артиста, бобыля, колдуна, появились какие-то невиданные картины.

Невеселый двор после этого события, однако, не сделался гостеприимным. По-прежнему здесь бывали всего несколько человек: Хромов, внучка Саши Голубевой — Катерина, приносившая молоко, и почтальонша Дуняша, огненно-рыжая девка, приезжавшая на велосипеде. Дуняша приезжала каждый день, кроме воскресенья, Катерина приходила через день, Хромов бывал раз в три дня. Мальковские собаки приветливо относились ко всем троим, но по-разному. Больше всего им нравилась Катерина, от которой всегда веяло

спокойной приветливостью и пахло то теплым, то холодным, то морозным коровьим молоком. Горячая, подвижная, шумная Дуняша вызывала в них смутное беспокойство, они не ластились к ней, не пытались лизнуть руки, лицо — лишь внимательно приглядывались, принюхивались к ней. К Хромову они были почти равнодушны и; когда он появлялся, лениво махнув хвостами, отходили в сторону.

Нынче Катерина пришла, как всегда, рано, но не одна, а с годовалым мальчишкой — сыном на руках. Евграф Васильевич был в добром расположении духа, посмеивался, пошучивал, поглаживал мальчишечку по лыняной голове, опущенной еще редкими волосиками. Потом сказал: «Как ты Саньку-то, бабушку твою, напоминаешь, Катерина! Красивая она была! Первой красавицей в Ёржине почиталась. Да быстро у нее красота с лица сошла... Жизнь крестьянская разом с красотой-то женской управлялась. Эхе-хе-хе. Так-то оно и получается! Хочешь, Катерина, галерею тебе свою третьяковскую покажу?»

Они прошли через дом в светлую холодноватую комнату. И Катерина, держа сына на руках, изумленно, почти с испугом, глядела на картины, на которых жили незнакомые ей люди, поля, реки, лесные опушки, места, похожие на ёржинские и не похожие, никогда не виданные голубоватые, с белыми вершинами горы и ночное теплое море... Катерина хотела спросить, кто эти люди на картинках, но не решилась. Ее бледно-синие глаза были неподвижны. Никогда она не думала, что так может быть: ее точно притягивала прекрасная, грозная сила картин, которые редко кому показывались. Ей даже стало больно, и она захотела отвернуться, но не могла. И что-то сквозь эту боль открылось в ее душе, прорезалось, осветилось. «Какой вы счастливый, Евграф Васильевич!» — сказала она тихо. Осторожно посадила сына на стул и продолжала смотреть. Мальков тоже ощутил в себе какое-то незнакомое прежде состояние, но не от картин... Нет, к ним он уже давно привык. Это было другое. Но что?.. В эту минуту он обратил внимание на мальчика, который, сидя на стуле, радовался чему-то, пыхтел, щупал свои коленки, удивлялся своей ногой, которой он болтал, поджав другую. «Сам с собой знакомится», — мимолетно сообразил Евграф Васильевич, и ему стало

еще радостней от этой мысли. И точно перед ним сидел не чужих кровей мальчишка, а его собственный внук или даже сын.

Прощаясь с Катериной, Евграф Васильевич обронил:

— Ты вот что, Катерина, как захочешь еще картины посмотреть, не робей, говори прямо. Я с превеликой радостью для тебя сделаю...

И смотрел ей вслед и думал:

«Смирная баба, откровенная, не то, что другие... Ее вон даже собаки привечают по-особому». Евграф Васильевич вновь ощутил то редкое, счастливое, легкое расположение духа, какое возникло в нем, когда Катерина рассматривала его картины. Он не понял, что с ним произошло, его лишь поразило тихое изумление бледно-синих ее глаз. И еще — тот поток неожиданно-го волнения, который исходил от нее и как бы заряжал его жизнью. И благодарность к нему, Малькову, он тоже чувствовал в этом потоке. Он даже растрогался, что бывало с ним редко, и снова захотел пережить только что прошедшие минуты. Он что-то, кажется, открыл новое для себя и суеверно поплевал через левое плечо, не ошибиться бы. Поэтому, когда прикатила Дуняша на своем велосипеде-развалюхе, Евграф Васильевич задержал ее, заманчиво заулыбался.

— Не устаешь, Дуняша, на своем коне день-деньской гонять?

— Уставать не успеваю! — засмеялась Дуняша. — Ай подсобить хотите, Евграф Васильевич?

— Не устаешь, вот и умница!

— А чего, ноги у меня крепкие... Ездить весело!

— Да уж девка ты ядреная!

Дуняша засмеялась. А смеялась она громко, нахально, широко растягивая свежие красные губы, и как бы дразнила ими Малькова. Он засмеялся тоже. Собаки настороженно повели ушами, прислушались.

— А что, Дуняша, почту ты привозишь исправно, и вообще!.. Вот думаю, как отблагодарить тебя?.. Хочешь, покажу картины! День сейчас полный, светлый... Отработаешь, и приходи.

— Слыхала я про ваши картины! Врут небось все, будто в самой Москве таких нет.

— Но вот посмотришь и скажешь.

— Прощевайте, Евграф Васильевич! Может, и взгляну...

И Дуняша покатила на своем велосипеде-развалюхе дальше по кривым тропинкам, нырнула в ложину, вылетела на бугор, выехала на проселок. Далеко по деревне видны были ее огненная голова, веселое ситцевое платье и черная сумка через плечо.

Евграф Васильевич сходил за водой. Потом заправил примус керосином, стал готовить еду. Примус весело шумел; скоро, упруго струилось пламя. Евграф Васильевич даже подмигнул ему: «Что, дорогой, скоро переезжать будем! Не на веки же вечные здесь оставаться!» Он поел не торопясь, получая особенное удовольствие от еды: тушеного мяса, молодой картошки и хрустящих, пахнущих укропом малосольных огурцов. Он даже опрокинул рюмку старой холодной водки, про запас хранящейся в погребе. Крякнул: «Не грех, по случаю праздника!» Собственно, по случаю какого праздника, он и не знал. Но смутная надежда, что жизнь его должна как-то, наконец, перемениться, крепко овладела им. Он снова вспомнил утренний приход Катерины, ее изумленно-благодарный взгляд, вспомнил свое молодое, подмивающее, как волна, и какое-то безоглядное настроение и чувство, что он открыл нечто, раньше ему неизвестное. Все это и было праздником! Вспомнил он и мальчишечку с редкими льняными волосами на голове, который сам с собой знакомился, щупал свои коленки, удивлялся. Подумал об огненно-рыжей Дуняше, которая должна была прийти к вечеру. И еще радостней и надежней ощутил в себе жизнь. Он прислушался к себе: не обман ли все это? Но понял, что не обман. Хорошо ему, подлинно хорошо. Евграф Васильевич накормил собак, помыл посуду, походил по двору и хотел уже было прилечь отдохнуть, как пришел к нему учитель Хромов. Они выпили вместе чаю.

— Граня, ты бы свет себе провел,—сказал Хромов.—К тебе теперь люди разные приезжать станут, ты их все так и будешь потемками угощать?

— Зачем он мне, свет, я скоро в Тулу, видать, перееду, а то и в Москву попробую. Как думаешь, рискнуть в столицу-то?

— Чего вздумал на старости лет?! Сидел бы уж здесь, плохо ли? Места благодатные,

— Эх, брат, не понимаешь ты,— вздохнул Евграф Васильевич,— без силы-то, без опоры нельзя на свете жить, что-то должно подталкивать человека. А у меня теперь про запас, знаешь, сила какая! Чую я ее. У людей интерес ко мне имеется, чего же мне здесь, в Ёржине, на привязи сидеть-то?

— Смотри, Граня, тебе решать... Знаешь что: сделал бы ты на прощание выставку из своих картин в школе, а? Как бы хорошо было! Век бы тебя помнили. Давай сотворим, что ли?

— Да что ты, что ты! Разве так можно с картинами, туда-сюда... Им же цены нет! Одно слово, шедевры. Мальчишки-то хулиганы, пойдя уследи за ними, враз порчу наведут.

— Зря так думаешь, Граня,— грустно сказал Хромов.— Вижу, что враг ты самому себе.

Евграф Васильевич усмехнулся и ничего не ответил. Что он понимает, Хромов-то! Испытывал ли он хоть что-нибудь, похожее на то, что испытывал он, Мальков, сегодня утром, когда Катерина, Сашкина внучка, рассматривала его картины. Знает ли он, что такое власть над чужой душой? Мальков даже вздрогнул, остановив промелькнувшую мысль. Да, да... власть над чужой душой, смущенной, благодарной, расположенной к тебе. Вот счастье! Кровь бросилась ему в голову, часто застучало сердце, стало жарко. Когда-то, на заре своей юности, когда он пел на ёржинских праздниках, он обладал этой ни с чем не сравнимой властью. И вот теперь. Значит, не зря он мучился, скрывался, пережил все эти годы. «Эх, Хромов, Хромов,— сочувственно проговорил Евграф Васильевич, когда его старый приятель ушел.— Что ты меня старостью лет пугаешь? Для тебя есть она, эта старость лет, а для меня нет. Для меня время теперь не в счет. Вот что я скажу тебе, дурья голова!» И захотелось Евграфу Васильевичу еще одну рюмку опрокинуть. А тут как раз Дуняша прикатила. «Распрягай своего конька-горбунка,— сказал ей Мальков.— И давай-ка по маленькой с тобой выпьем сначала. Праздник у меня сегодня, Дуняша». Она громко засмеялась, покраснелась, но от рюмки не отказалась. Потом пошла мальковскую галерею смотреть. Рыжая, бойкая, бедрастая. Какая-то неаккуратная в ходьбе, пошла она первая впереди хозяина, уверенно толкнула входную дверь.

В галерее Дуняша немного растерялась, притихла: «Красиво у вас здесь!» Стала спрашивать: «Кто это?.. А это?» Евграф Васильевич объяснял. И все ждал, когда почувствует исходящий от нее поток радостной благодарности. И уже что-то похожее померещилось ему, когда Дуняша, резко мотнув головой, сказала вдруг:

— Ох, Евграф Васильевич, развесить бы ваши картины в Доме культуры! Вот бы...

— Дуняша, Дуняша, дурья ты голова! Да нешто можно такие картины куда попало совать, да вы же там, на танцульках, все стены задами своими обтираете...

Дуняша громко засмеялась, широко растягивая полные губы, и снова стала рассматривать полотна знаменитых художников, тепло поблескивающие в летнем предзакатном свете.

— Ты уж, если захочешь, сюда приходи,— сказал Мальков.— Такое в одиночестве созерцают, в тишине...

— Буду приходить,— пообещала Дуняша, не оборачиваясь. Мальков смотрел на ее шею, на огненные колечки волос. От Дуняши пахло крепким здоровьем, потом, полевой дорогой, пылью. В нем возникло сильное желание прижаться к ней. И он прижался. Дуняша не шелохнулась, не повела плечом, только шея у нее пошла красными пятнами. «Чуешь, Дуняшка, я ведь еще, как молодой!» — прошептал Евграф Васильевич. И тут Дуняша как рванется, как отпрянет от него: «Что-то вы такое надумали?.. Срамота какая!» Малькова шатнуло, да так, что он едва на ногах удержался. А Дуняша громко засмеялась и, как пуля, выскочила из мальковского дома.

7

Несколько месяцев кряду Евграф Васильевич посылал письма в Тульский художественный музей на Сонино имя. Письма неизменно начинались словами «Дорожайшая Софья Владимировна!» и кончались «нижайшим поклоном Алексею Ивановичу». Из музея в Ёржино тоже приходили письма, в которых Соня коротко сообщала, как идут переговоры с городскими организациями по поводу отдельной квартиры для Малькова, так, чтобы квартира находилась неподалеку от музея. Соня также писала, что было бы неплохо ему

наведаться в Тулу, на один-два денька хотя бы, гостиницу для него закажут.

Уже третий снег плотно лег на землю и по просекам разгуливал, потрескивал коренной морозец, когда Евграф Васильевич собрался в город. Оставя дом под пристрофом Хромова, он приехал в Тулу и тотчас же явился в художественный музей. Старушка на контроле связалась по телефону с Соней, сказав ей шепотом, что ее спрашивает какой-то человек, судя по всему, знаменитый художник, приехавший, наверно, из Москвы. Соня и та сразу не поняла, кто перед ней стоит. На Малькове была соболья шапка и шуба с собольим воротником; в руках он держал трость старинной работы. Величавое выражение застыло на незнакомом лице. Соня уже хотела спросить пришедшего, чем она может быть полезна ему, как вдруг узнала Малькова и смутилась, покраснела за свою недогадливость: «Ой, Евграф Васильевич... это вы? Здравствуйте!.. А мы ждали от вас телеграммы или письма... А вы вот как, неожиданно!.. Вот и хорошо! Что же это мы с вами здесь топчемся, извините уж меня... Проходите, проходите, я вас директору представлю, там и разденетесь».

Мальков с радостью наблюдал за растерянностью Сони и думал: правильно он сделал, что приехал неожиданно, и чувствовал, дело он свое должен провести выгодно. Все к этому шло. Но Кириллов при первом же разговоре с ним, не петляя и без всяких обходов, сказал, что квартиру он Малькову вот-вот должен выбить, и пенсию ему тоже выхлопочут, но что Мальков, безусловно, должен передать музею в дар свои сокровища. Тут Кириллов перечислил картины, которые должны перейти к ним, целый список. Остальную часть коллекции Мальков может оставить у себя, либо продать по собственному усмотрению. Евграф Васильевич искренне подивился памяти Кириллова: ведь он ничего ни разу не записывал тогда в Ержине, а тут на тебе, целый список на стол выложил. Силен парень! Да и речь Кириллова, точная, суховатая и светлые спокойные глаза его не вызывали сомнения. Не этого желал Мальков. Ему приятна была некоторая расплывчатость, неясность на этом повороте его жизни, когда бы он мог половить рыбку в мутной воде. Ему хотелось переехать в большой город, хорошо, славно жить, но галерею свою не разрушать: не дарить ее, не распро-

давать; может быть, лишь выставлять эти картины время от времени в музее, в большом зале, так, чтобы написано было, что картины принадлежат не кому-нибудь, а Евграфу Васильевичу Малькову. Тогда-то интерес у людей к нему и возникнет, и притом постоянный. И жизнь завертится. И отбоя от знакомств всяких не будет: от стариков, имеющих деньги, от молодых художников, от хитрых знатоков, умеющих подлачиваться. А он, Мальков, и совет даст, а кому и деньги в долг, кого захочет, привечать станет, а перед кем и закроется наглухо. Вовсе не жадность к деньгам владела теперь Мальковым, как могло бы показаться с первого взгляда, а возникшая в нем мучительная, неистребимая жажда крепко держать жизнь в руках, не продешевить ни на самую малость, не оказаться в дураках. И пришла ему мысль: а что если приискать где-нибудь на старых улицах собственный одноэтажный дом, купить его, а ёржинский продать? Тогда и квартира, которую сулит Кириллов, не нужна будет, и дарить музею ничего не надо. А переберется он, с музейными работниками уж как-нибудь поладит, врагами они не станут.

Вечером, сидя у Сони Левиной дома, он пил крепкий чай из электрического самовара и, раскрасневшись, вытирая большим темно-зеленым платком пот со лба, рассказывал всякую всячину. Соня, как и предполагал Мальков, была действительно не замужем и жила одна. Ее светлые глаза не таили никакой хитрости, не держали никакой задней мысли, а светлые, мягкие волосы были причесаны по-домашнему. Ему уже столько лет не приходилось так пить чай, как сегодня, здесь, в чистой городской квартире, с милой молодой женщиной.

— Трудно без людей жить, доложу вам, — искренне вздохнул Мальков, — трудно, Софья Владимировна, а я ведь сколько без людей живу.

Соня покивала головой, и глаза у нее стали еще добрее. Евграф Васильевич уловил это сочувствие, вызванное его словами, и продолжал:

— Как надо, чтоб душу-то поняли, устремления оценили... Вот что скажу.

— Да, очень важно, Евграф Васильевич.

— Совет вот у вас хочу взять, Софья Владимировна... Как вы человек бесхитростный, открытый, вы мне

по совети и ответите... Что вот если я откажусь от квартиры, которую вы мне сулите, а куплю себе небольшой домик в Заречье или в Чулковской слободе?

— И коллекцию при себе оставите? — Соня пристально посмотрела на Малькова.

— Покамест бы оставил.

— Делайте, конечно, как вам удобнее. Но мне больно было бы такую красоту от людей прятать, если уж по совести... — Соня даже удивилась и обрадовалась холодности своего голоса.

— Эх, Софья Владимировна, не поняли вы меня. Я ведь обмана боюсь... Боюсь обманут, вытянут у меня картины, и не нужным я сделаюсь никому.

— Что вы надумали, Евграф Васильевич, кто вас обманывать собирается?

На том разговор и кончился. Соня проводила Малькова до гостиницы, а на следующий день пошла показывать ему город.

Евграф Васильевич вел себя на улице несколько странно. Заходил подряд во все магазины, заговаривал с продавцами; его тянуло к любому малому скоплению народа на улице. Разговаривал он с Соней громким, поставленным голосом, чему она немало удивлялась и чувствовала себя неловко. Походка его изменилась, жесты стали широкими, от вкрадчивости и следа не осталось. Расплачиваясь, он широко распахивал шубу с собольим воротником, доставал толстый, потертый кожаный бумажник и с такой небрежностью подавал деньги, что продавцы и кассиры проникались к нему, превеликим уважением. Даже женщины не шумели, когда он подходил к прилавку без очереди. Что-то оперно-величественное было во всей его осанке, в одежде и, казалось, давало ему право на исключительность. В центральном гастрономе былолюдно и шумно: продавали редкий в последнее время осетровый балык. Евграф Васильевич попросил взвесить целый кус и, нимало не смущаясь недовольными взглядами, вынес его из магазина. В универмаге ничто не привлекло его внимания, но, когда Соня стала приглядываться к розовому шерстяному польскому платью, тут же купил его, так что Соня раздосадовалась даже, потому что платье было последним.

Мальков уговорил Соню отобедать с ним в ресторане. («Не обижайте уже старика, Софья Владимиров-

на!»). Во время обеда все рассказывал истории из своей прежней артистической жизни и ни разу не коснулся вчерашнего, неприятного в конце разговора. Однако заметил: «Теперь твердо решил, перееду в Тулу». Прощаясь, он поцеловал Соне руку и сказал, что он знает, они обязательно будут с ней дружить, а иначе и быть не может.

Утром следующего дня Мальков уехал в Ёржино. Двумя часами позже в музее женщина-контролер передала Соне пакет, в котором оказалось шерстяное розовое платье.

8

Кириллов торопил Малькова принять решение: подпиши он дарственную, и завтра же у него будет отличная квартира в центре города, рядом с музеем. Мальков же не торопился, его не оставляла мысль приобрести в Туле собственный дом, купив его у какого-нибудь казюка¹ по случаю. Обычно при таких домах имеется небольшой сад. И это тоже устраивало Евграфа Васильевича. Он списывался с разными людьми, заочно знакомился. Был неутомим. Одновременно вел переговоры о продаже своего дома. На письма же Алексея Ивановича отвечал в неопределенных выражениях.

Неожиданный случай заставил Кириллова еще раз съездить в Ёржино. В Туле остановился проездом известный московский художник К. Он заглянул в музей и рассказал, что направляется к некоему Малькову в Ёржино, тот ему обещал продать ночной пейзаж Айвазовского. Может быть, удастся заполучить и Врубеля. Кириллов встревожился и предложил художнику сопровождать его в поездке, на что К. весьма охотно согласился.

Евграф Васильевич не ожидал приезда Кириллова и очень удивился, увидев его рядом с московским художником. Но все та же неясная улыбка скользила время от времени по губам Малькова и исчезала в глубине круглого лица. Одет он был в засаленную стеганку, на голове привычно, чуть набок сидела выцветшая меховая шапка пирожком, протертая в не-

¹ Казюк — казенный человек, так издавна звали тульских оружейников (устарел.).

скольких местах. Двор был завален снегом, неровная дорожка тянулась к дому; недвижно стояли черные, заснеженные ели.

Евграф Васильевич, чувствуя некоторую неловкость создавшегося положения, засуетился, завертелся, стал собирать еду на стол, поставил водку, кус мороженого сала, горячую картошку в мундире, соленья. И разговора не начал, пока не выпили и не закусили как следует. Алексею Ивановичу он объяснил, улучив момент, что с К. он договорился о продаже ночного пейзажа давно, еще до знакомства с музейными работниками. А так-то он слово держит крепко и коллекцию не разбазаривает, ему ведь самому хочется отсюда выбраться побыстрее.

Потом Евграф Васильевич принес из соседней комнаты обещанную картину — небольшой по размерам, прекрасно написанный пейзаж. Ночное теплое море, серебристо-спокойное под луной, уходящее куда-то в бесконечную влажную мглу...

Пейзаж был настолько хорош, что Евграфу Васильевичу никак не хотелось с ним расставаться, все вертел его, не выпуская из рук; наверно, сердце заняло, защемило, потому что Мальков потемнел лицом, замолчал. «Кто бы знал, — выдохнул Мальков, — сколько времени у меня этот пейзаж хранится, сколько мы пережили вместе!» Он сел в свое вольтеровское кресло и опять замолчал, держа в руках теплое лунное море. Приближались сумерки, и снежные ели за окном стали неясно шуметь, как морской прибой.

«Вот вы, Алексей Иванович, все торопите меня, — сказал Мальков, и голос у него был искренний и с хрипотью. — Все понукаете, а я как оглянусь, — ни любви у меня, ни дружбы, ни привязанности никакой, одни эти картины... Только они, милые мои! Как же мне можно сразу решиться, может, это и странность...».

Кириллов, слушая его, впервые заметил следы пыли и плесени в комнате и грязные жирные пятна на клеенке. «Ничего Евграф Васильевич, не плачьтесь, — сказал он. — Переедете в Тулу... Веселее жить будете. И чего тянуть?»

Они опять сели за стол. Евграф Васильевич зажег две керосиновые лампы XVIII века. В комнате было жарко, в воздухе плавал сигаретный дым. К. уже хотел расплатиться с Мальковым, но тот угрюмо посмотрел

на художника и попросил надбавить еще сто рублей, сверх установленного. Они поторговались немного, и К. уступил.

Было уже темно, начинало вьюжить, и решили гости заночевать у Малькова. На этот раз он не противился. Гостей устроил в гостиной, рядом с галереей, а сам ушел в спальню, имевшую из сеней отдельный ход.

Ночью Кириллов проснулся от духоты и от того, что у него схватило живот. Жирная беспорядочная еда с вечера дала себя знать. Смотрит он, а художник уже на ногах и тоже за живот держится. Горит керосиновая лампа. Хотел Кириллов во двор выйти, но художник его остановил: «Выйти никак нельзя, Мальков нас с той стороны запер». «Вот старый черт! — выругался Кириллов, — испугался, что картины унесем, что ли!» Стали они громыхать в дверь кулаками, никакого ответа. Так до утра и промучались. А утром открыл Евграф Васильевич их и спрашивает с легкой улыбкой: «Ну как, гости дорогие, спалось вам?» И все оправдывался, что запер их по забывчивости.

Позже Алексей Иванович знаменитый художник часто смеялся, вспоминая этот случай, но тогда им было не до смеху.

9

К весне Евграф Васильевич принял окончательное решение: от предложения Кириллова отказаться и дом купить собственный. Дом такой реально вырисовывался уже в глубине тульского Заречья. Дело это, как говорится, было на мази.

Весна выдалась ветреная, холодная. И словно бы лень напала на Малькова; он, преодолевая себя, выходил во двор, возился в сарае, готовился к отъезду. Днем во время работы лень отпускала Евграфа Васильевича часа на три — на четыре, а потом опять возвращалась. Он знал за собой эту весеннюю слабость. Знал, что скоро она должна пройти, терпеливо ждал. Вот уже месяц, как он перестал бриться, стал отпускать бороду; борода красиво серебрилась, и он решил оставить ее. Спал он в это время плохо, просыпался затемно, слушал глухое шевеление сосен и думал о городе; неотступная мысль сверлила его мозг: «Надо переехать... Как можно скорее». На несколько минут Евграф

Васильевич, как бы проваливаясь, задремывал, и ему представлялись всякие странные картины. Сегодня, например, померещилось, что он опять стоит у себя в галерее с Катериной, а мальчишечка ее светлоголовый удивленно щупает свои коленки, знакомится сам с собой и смеется. Евграф Васильевич тоже смеется и приглядывается к мальчишечке, а у того совсем другое лицо, такое, как на детских фотографиях Малькова. Ну, конечно же, это и есть он, Граня. Это он сам щупает свои коленки, радуется, начинает осознать себя. «Нелепость какая-то! — думает Мальков и открывает глаза.

Этим утром он встал веселее, легче и понял, что весенняя слабость начинает проходить. Дуняше, доставившей газеты, улыбаясь, сказал: «Давай-ка мировую литературу, посмотрим, что там нового...»

Днем пришел Хромов. Евграф Васильевич очень ему обрадовался. И вместе они просидели долго.

— А все-таки зря ты уезжаешь, Граня, — говорил Хромов. — Вчера мы разговаривали с Юркой Голубевым, хочет он к тебе прийти.

— Комсомольский секретарь, что ли?

— Ну да, Катеринин брат. Хочет он тебя уговорить музей здесь у нас сделать.

— Видел я таких патриотов! На моем веку, знаешь...

— Подожди, Граня, не бухти... Представляешь, — это он говорит, — музей бы у нас тут, как в Поленове, выстроился... Не где-нибудь в городе, а здесь, в Ёржине. Среди лесов... Вот бы жемчужина была! И о тебе слава бы по всей России пошла. Решился бы, Граня, не прогадал бы, ей-богу! И душу бы освободил.

В самый этот разговор и Юрка Голубев появился. Стали они вдвоем с Хромовым убеждать Евграфа Васильевича. Юрка горячился, говорил, что свет надо немедленно подвести к дому Малькова и уезжать никуда не надо, потому что все равно он, Мальков, нигде в другом месте счастья себе не найдет. Слушал их Евграф Васильевич, слушал да как стукнет кулаком по столу:

— Идите-ка вы к черту отсюда! Какое вам дело до моей души... Идите!

— Нет у тебя сердца к людям. Прощай, Граня, — только и сказал Хромов.

Ушли Хромов с Юркой, а Евграф Васильевич никак прийти в себя не мог, все по дому в досаде метался, вещи из рук ронял. Сам не понимал, почему успокоиться не может. Что-то заронили в него на этот раз слова Хромова, какой-то особый смысл почудился в тихом голосе старого приятеля. И точно заноза вонзилась в сердце. Неожиданное, непривычное, пугающее открылось на мгновение ему и промелькнуло в сознании светящейся точкой. Что это было? Отблеск какой мысли прочертился в этом угрюмом мозгу? Может быть, тень сомнения в правильности истраченной жизни?

Евграф Васильевич вышел в сени. Решил вскипятить чаю — ему очень захотелось крепкого сладкого чая, чтоб успокоиться, согреться. Стал разжигать примус — спички не слушались, ломались одна за другой. Он выругался в сердцах, чиркнул еще раз. Спичка вспыхнула. Стрельнувшая сера попала в бадью с керосином, стоящую рядом с канистрой. Высоко ударило пламя. Евграф Васильевич схватил бадью и, не помня себя, выбежал во двор. Он хотел отшвырнуть ее подальше, но споткнулся, упал и потерял сознание.

Очнулся он не скоро. Лицо и руки нестерпимо пылали. Он не мог пошевелиться, тело его точно примерзло к ледяной земле. Он увидел совсем близко собачью морду. Собака начала облизывать его лицо, причиняя ему еще большую боль, но он не в силах был отогнать ее ни движением, ни голосом: звуки не выходили из его горла. Другая собака, которую он не видел, не могла до него дотянуться и скулила на привязи неподалеку.

Он стал различать темную бадью. Значит, все-таки он успел немного отпихнуть ее. Услышал высокий шум старых елей. Ночь уже была на исходе. А когда совсем рассвело, увидел тонкий весенний ледок на земле, и снова все исчезло.

Обнаружила его обожженным, лежащим в одном пиджаке посреди двора Катя Голубева, принесшая утреннее молоко. Евграфа Васильевича тут же отправили в районную больницу. Но спасти его не удалось.

Так окончилась история Евграфа Васильевича Малькова, сына мельника из Ёржина, обладавшего некогда красивым от природы голосом. Картины из его коллекции попали в Тульский и Калининский художественные музеи. Есть они и в Третьяковке.

Прекрасное всегда возвращается к людям.

1

Молодой художник Виктор Арсентьев решил на несколько лет поехать работать в деревню Филимоново. Деревня эта находится в Одоевском районе Тульской области и издавна славится тем, что жители ее изготавливают глиняные игрушки, которые так и называются — филимоновские.

Виктор — молодой человек с блестящими черными глазами. Он художав, подвижен и вспыльчив. По натуре путешественник и спортсмен. Еще в Москве в студенческие годы увлекся изучением народных художественных промыслов и преуспел в этом деле немало, даже монографию собирался написать. Но молодая жизнь, склонность к бродяжничеству, работа над дипломной картиной помешали тогда этой затее, само увлечение промыслами поутихло в нем, отодвинулось, стало расплываться, точно ушло в глубину.

Окончив училище, Арсентьев приехал в Тулу и принялся работать в художественном фонде, выполняя разные заказы. Когда же возник разговор о том, что в деревне Филимоново начинает возрождаться чуть было не исчезнувший с годами художественный промысел и что нужен там грамотный энергичный человек, который возглавил бы это дело, Арсентьев, поразмыслив немного, решил поехать. Три обстоятельства подтолкнули его на это решение. Во-первых, он давно и страстно желал простора для широкой деятельности, на деле испробовать свои силы. Во-вторых, разговор о филимоновских игрушках всколыхнул в Арсентьеве прежнее увлечение художественными промыслами, и оно возникло в нем с новой силой. И еще одно: в студенческие годы, живя в общежитии и беспорядочно питаясь, Виктор заболел язвой желудка (если внимательно приглядеться к его черным блестящим глазам и напряженно очерченным векам, можно уловить то характерное выражение, какое свойственно страдающим язвенной болезнью). Врачи говорили Виктору, что можно

совершенно избавиться от язвы, если много бывать на воздухе, регулярно питаться. И добавляли: неплохо бы пожить в деревне.

И вот назначен отъезд. Вечером у Арсентьева собрались товарищи проводить его: несколько молодых живописцев, неопрятно одетых и шумных, и сотрудники художественного музея Алексей Иванович Кириллов и Соня Левина, с которыми Арсентьев успел сдружиться.

Виктор не распространялся о причинах своего решения поехать жить в Филимоново. И кое-кто рассматривал это как романтический поступок и даже как красивый жест для того, чтобы выделиться. Товарищи по цеху считали, что Виктор делает непростительную глупость: вместо того, чтобы накапливать мастерство, набивать руку в профессиональных приемах живописи, вырабатывать свой, собственный стиль, он упускает время, уезжает в глубинку и, оставшись без творческой среды, безусловно, отстанет. Один из присутствующих, веселый коренастый малый с буйными, непослушными волосами, все время набегающими на лоб, слегка подтолкнув Арсентьева, произнес:

— Славный ты парень, Витька! Предлагаю тост... За благие намерения Виктора Арсентьева!

— Не люблю преувеличений! Какие благие намерения? — огрызнулся Арсентьев. — Все обыкновенно, совершенно обыкновенно...

— Сердцем он добр, но ершист, — сказал коренастый об Арсентьеве в третьем лице и подмигнул Соне, — но я не обижаюсь, сам такой... Не хочешь, Витька, за благие намерения, выпьем за твое «совершенно обыкновенно»!

Они выпили и решили, что жизнь прекрасна, что не надо задираться, ссориться друг с другом, что у каждого свой путь и будущее сулит каждому из них свои удачи. Потом Виктор стоял с Соней Левиной у незавершенного темного окна, в котором близко покачивалась, шелестела вершина молодого тополя, а над ней и вдали неоглядно мерцала наполненная электрическим блеском летняя ночь. Соня была несколькими годами старше Арсентьева и относилась к нему одобряюще мягко, слушала его внимательно и без снисходительности. Арсентьев был самолюбив и снисходительности терпеть не мог: уловив или даже заподозрив

снисходительную интонацию в голосе собеседника, он немедленно замыкался, мог нагрубить. С Соней он разговаривал всегда охотно и ненастороженно.

— Знаете, Соня... Я ведь родом из Епифани,—неожиданно сказал Арсентьев.— В маленьком городке вырос. Бывали когда-нибудь в Епифани?

— Была один раз, там ведь Куликово поле рядом.

— Рядом. Я и в Филимоново, Соня, без натуги собрался. И никакого здесь пошлого порыва нет, и финта, как говорится, не делаю. У меня сердце пока еще к большим городам не прилепилось.

— Но ведь вы учились в Москве...

— Учился и люблю ее. И Тула ничего себе. Но не в этом дело. Дефект, что ли, в моей натуре есть. Ритм, энергию, экспрессию большого города принимаю, но теряюсь... Как бы это сказать, не по мне большие муравейники. Холодно. В маленьком городе совсем другое: каждый человек на виду. Есть ощущение собственной ценности. Может быть, некрасиво так—про себя совестно говорить. Но, что поделать, чувствую так. Не принимаю исчезновения.

— А мне, наоборот, трудно в маленьком городе жить,—вздыхнула Соня.—Я к большим городам привыкла, горожанка в каком уж поколении.

— Витя, я вот что думаю,—энергично сказал подошедший к ним Кириллов,—ты ведь завтра едешь налегке еще... Пооглядись, конечно, но время не трать, не тяни, приступай сразу, пусть руку твою сразу почувствуют, иначе не вытянешь. Вот тебе мой совет. И еще: постояльцем не будь, постарайся хоть полдома купить. Купишь по сходной цене, там недорого, я эти места хорошо знаю. И деньги сбережешь, а то они у тебя в кармане не держатся. А захочешь продать, всегда покупатель найдется... Ты завтра когда собираешься?

— В восемь пятнадцать автобус на Одоев...

— А зачем на Одоев?

— Филимоново-то Одоевского района.

— Это все так. Но одоевский автобус делает крюк через Крапивну, да еще потом от Одоева километров двенадцать-четырнадцать топать в обратном направлении до Филимонова.

— Подумаешь, и протопая.

— Чудак-человек! Не спроси я тебя, ты бы на одоевском укатил. Это на два часа дольше. Тебе другой

маршрут нужен. Тула — Суворов. Не доезжая поворота на Одоев, сойди в деревне Нестерово, от нее напрямую проселком километра три-четыре, не больше, там подскажут... — Кириллов неожиданно рассмеялся и сказал, обращаясь ко всем: — Тут вот пили за благие намерения, это все блажь. Предлагаю тост за просто-душие!

У Арсентьева дернулись брови, но он сдержался, ссориться не стал.

2

Деревня Филимоново расположена на волнистом холме, над рекой Упой, в стороне от проезжих дорог. Упа полуобнимает филимоновский холм и, петляя, теряется вдаль. С холма, если смотреть в сторону Одоева, видна городская водонапорная башня и крыши одоевских домов; левее открывается глубинный простор, в воздушной синеве движутся облака, в низине — деревни, пестрые поля. По далекому склону выгона ползет стадо, его и не сразу отыщешь даже пристальным взглядом. Над теряющимися поворотами поблескивающей реки, над гребешками малых лесов в ясный день заметен полуразрушенный Анастасьев монастырь времен Ивана Грозного. Если же с филимоновского холма смотреть в сторону Нестерова, то не только оно, но и близлежащая деревня Татьево наполовину не видна, настолько изрезана, пересечена и бугриста местность с этой стороны.

Сам филимоновский холм неправильной формы, и поэтому филимоновская улица вытянута и неровна, дома разбросаны. Ту часть деревни, где расположен цех, в котором нынче делают знаменитые игрушки, филимоновцы окрестили Красенками. На улице так и говорят: «Пойду, схожу в Красенки», точно это другая деревня.

Игрушки здесь начинали делать давно, а когда, — никто не знает. Четыреста лет назад или пятьсот? Во всяком случае, роспись на этих игрушках — елочки да солнце, грабли, грачи — по сути своей восходят к рисункам глубокой древности, на них лежит отблеск языческой непосредственности. И распространение филимоновские игрушки имели довольно широкое (недавно они были найдены во время земляных работ на территории

Тульского кремля). Как возник филимоновский художественный промысел? Земля в этом месте неурожайная, да и малопригодная для посевов. Зато глина была найдена удивительная (ее искать долго не надо, прямо на поверхность выходит). Она в основном синеватого цвета, и в обиходе ее называют синикой. Запасы ее огромны.

— История деревни Филимоново полностью связана с этим необыкновенным месторождением глины. Каждый двор занимался «глиняным» промыслом — а дворов становилось все больше, и было время, когда насчитывалось их семьдесят пять. Мужчины большей частью гончарили — делали посуду. Женщины лепили игрушки-свистульки. С давних пор по окрестным деревням их кличут свистулечницами.

Яркими, чистыми красками пылают-светятся филимоновские игрушки: петух, собака, медведь с гармошкой, всадник... Бывают и композиции: два парня в обнимку; бабка доит корову, а кошка ждет молока, и многое другое — всякая всячина. Но как бы сложна ни была филимоновская игрушка, она обязательно свистулька — на забаву детям, на потеху взрослым: где-нибудь да пристроены отверстия! И оттого что эта игрушка еще и глиняный свисток, многое определяется в ее внешнем облике. Чтобы удобнее держать было, чтобы все складно выходило в игре, когда подносишь свистульку к губам, очертания этих глиняных фигурок упрощены, линии скруглены или вытянуты. Глянет покупатель на ярко разукрашенного медведя или собаку — и похоже и не похоже. Вроде, тот зверь, да и не тот. Шеи у петухов вытянуты, как у жирафов... Все это придавало сказочность филимоновским игрушкам, и покупали их на ярмарках с большой охотой.

Делались игрушки в холодные месяцы. Деревянный стек, с помощью которого обрабатывается глина, филимоновские женщины называют пичужкой, может быть, потому, что вытянутой формой он напоминает клюв, может быть, потому, что игрушки получаются поющими. Потом все эти глиняные бараны, медведи, петухи ждали весны. Весной, когда тепледа и сохла земля, раздували филимоновские жители свои самодельные крестьянские горны. В них обжигали гончарную посуду и игрушки. При обжиге игрушки часто лопались, бились. У филимоновских женщин даже присловье та-

кое есть: «Всю зиму делать — не переделать, а весной из горна таскать — слезы лить: черепков не оберешься». Уцелевшие игрушки усердно разрисовывали.

При обжиге глина-синика приобретает нейтральный, почти белый цвет, на который хорошо накладывают краски и который на отдельных местах игрушки остается незакрашенным. Например, не закрашиваются лицо и руки у человеческих фигурок. Это использование естественного цвета глины — одна из отличительных черт именно филимоновской игрушки.

Разрисовывать свои изделия женщинам приятнее всего было и оттого, что цвета радостные и весна, и оттого, что игрушка уцелела после обжига. Сперва когда-то рисовали природными красками, получая их из местных трав, из коры деревьев, из особых сортов глины, являющихся земляными красителями. Та раскраска была более блеклой, чем нынешняя, более устойчивой. Потом появились анилиновые краски. Но их разводили и разводят не на воде, а на натуральных куриных яйцах, в особых случаях даже на одном желтке, чтобы краска дольше жила. Пылают, поблескивают филимоновские игрушки-свистульки. Три характерных цвета составляют филимоновскую гамму: красный (малиновый), желтый, зеленый, очень звучный. Иногда встречается синий, но редко. Яркие краски (особенно, когда они разведены на одних желтках) контрастируют с матовой фактурой неокрашенной глины. И это придает игрушкам особую выразительность в цвете.

Едва игрушки были готовы, появлялись в деревне коробейники и забирали часть товара. Другую часть филимоновские женщины развозили по деревенским ярмаркам. Спрос был большой. По всем тульским деревням пели филимоновские свистульки. Ребятишкам самое удовольствие было в глиняный свисток подуть. Во время детских забав игрушки эти часто бились, и потребность в них никогда не уменьшалась. К тому же яркие, выразительные филимоновские изделия покупались не только для детских забав — ими украшали горницу в иной крестьянской избе. Поэтому Филимоново выделилось, заняло особое положение среди бедных окрестных деревень. Жили филимоновцы довольно зажиточно и обособленно, не любили принимать к себе чужаков, не любили и девушек своих выдавать замуж в другие деревни. За много веков устоялся, наладился

глиняный промысел, в кровь и плоть вошли навыки и всякие хитрости ремесла, выработалась особая порода филимоновских мастеров. Мужчины были молчаливые, въедливые в работе, крепкие телом, женщины — насмешницы и большей частью певуны. Одним словом, прочно держались филимоновцы за свой гончарный и художественный промысел. Однако войны в начале нашего века, голод и нищета в деревне не могли не сказаться на филимоновском промысле — он стал затухать, вырождаться. Потом пришли революционные годы, земельное переустройство, до игрушек ли было? И все-таки в послереволюционные годы промысел возродился и просуществовал до тридцатых годов, когда местные власти на филимоновцев как на кустарей наложили налоги. Делать игрушки стало невыгодно, тем более что распространялись они с трудом. Спрос упал. Гончарные мастера и мастерицы стали менять профессию, постепенно забывая ее. Работали на колхозных полях, кое-кто в город подался. Горны со временем стали разрушаться, тропинки к ним позарасти. Старые мастера по привычке иногда еще лепили для себя игрушки, но не обжигали их, не разрисовывали, и детей лепке не учили. Лишь кое-где в домах сохранились давнишние, поблекшие, облупившиеся до неузнаваемости свистульки. Пройди так еще немного времени, и осталось бы только предание о диковинных, цветных глиняных лошадях, коровах, собаках, которые когда-то здесь изготовлялись в бесчисленном количестве. Но все обернулось иначе. В стране возник пристальный интерес к народным художественным промыслам. В Филимоново начали приезжать искусствоведы, художники, журналисты. Появился спрос на игрушки. Мастерицы вспомнили полузабытое. Четыре из них стали регулярно работать на Тульский художественный фонд. А уж оттуда яркие и непосредственные филимоновские игрушки попали на всесоюзные и международные выставки, получив самое высокое признание. Старейших филимоновских мастериц Анну Гавриловну Зайцеву, Александру Гавриловну Карпову, Александру Федоровну Масленникову и Антонину Ильиничну Карпову приняли в Союз художников. В деревне стали поговаривать об организации цеха, чтобы возродить старинное филимоновское дело. Люди заволновались, стали сходиться, прикидывать, примерять, как бы сделать

так, чтобы не четыре мастерицы, а все Филимоново скопом принялось лепить и гонcharить, как это делали отцы, деды, прадеды, прапрадеды... Разумеется, всем жителям деревни невозможно было переключиться на свой прежний исконный промысел. Но филимоновцы добились своего: колхоз выделил помещение под цех. В Туле было вынесено решение: цех этот отнести к местной промышленности и подчинить Крапивенскому обозному заводу.

И снова загрузевшие, но проворные пальцы, сжимая деревянные пичужки, обрабатывали синику, нащупывали плавную легкость линий и переходов, искали правильную форму. И на свет появлялись причудливые, веселые, забавные игрушки-свистульки. Еще не прошедшие обжиг, не одетые в пестрый красочный наряд, они были влажного синего цвета, но в самих линиях уже дышала жизнь.

3

Над деревней поздний светлый вечер. Воздух начинает загустевать, темнеть, но чем выше он от земли, от оврагов, от реки, от леса, от изб с первыми бледными огнями, от крыш с телевизионными антеннами, тем он легче, прозрачнее. Уже развеялся дух недавно прошедшего стада и улегшейся пыли. Коров подоили. В прохладном воздухе едва прочерчен запах кисловатого дыма. Кругом — та особенная звучность, какая бывает при переходе от вечера к ночи, на самом переломе.

В той части деревни, которую прозвали Красенками, встретившись у колодца, разговаривают женщины. Речь их, поначалу спокойная, все больше оживляется и слышна далеко. Высокая худая смуглая старуха Митрофановна говорит красивой моложавой женщине лет сорока:

— Надо бумагу составлять. Вы, Ивушкины, все ученые, вам и составлять. А то что же выходит: Карповы да Масленникова на художников работают и Зайцева с ними заодно. Зайцева в Туле сколько лет сидит, а и то на художников лепит. У них одна дель, у нас — другая. А мы колупаемся себе да в Крапивну возим. Ихнюю дель выше нашего ценят. На все выставки тащут, грамоты дают,

— Подожди, Митрофановна, горевать,— успокаивает ее Ивушкина.— К нам со дня на день начальник должен приехать.

— Сказывают, художник он,— замечает Авдотья Чуева, одноклассница и подруга Ивушкиной.— Хорошо бы!

— Ну какой он художник-начальник, сперва попробовать надо. Хороший, небось, не приедет! — засмеялась Клава Грачева, жена плотника Степана, молодая женщина с дерзкими светлыми глазами, и первая пошла прочь от колодца.

— Ишь коза, продувная, бесстыжая,— сказала ей вслед Митрофановна.

Клаву Грачеву недолюбливали бабы в деревне за необузданный нрав, проворный язык, а может быть, и за красоту ее, дерзкую, нисколько не отцветшую. Ей исполнилось в прошлом году тридцать, но она не раздалась, не обабилась, несмотря на то, что троих родила. Крепкая, гибкая, как лоза. Всякое про нее говорили.

Женщины помолчали некоторое время, как бы вслушиваясь в легкую звучность наступающей ночи, в удаляющиеся Клавины шаги, в хруст ветки под ее ногами.

— Ведьмацкая натура у этой Клавки,— не успокаивалась Митрофановна.— А руки угадливые, как гончие, линию чуют. Ты бы вот, Любаня, свою девку тоже бы лепить приучала. Неча ее от дели нашей огораживать.

— Не огораживаю я ее,— сказала Ивушкина.— Что-то моя Верушка холодно к этому относится.

— А ты приучай, приучай — полюбит.

— И зачем Любане Верушку приучать к этому? — быстро заговорила Авдотья.— Чего ей в глине-то нашей мазаться!

— Ну, понятно...— в институт поедет поступать,— проворчала Митрофановна и стала доставать воду из колодца.

— А какой он интересно из себя, художник, начальник-то? — продолжала Авдотья.— Холостой или женатый?

— Тебе что за печаль, с бабой аль без бабы он. Это вон Любане забота: у нее Верка подрастает.

— А все равно интересно,— не унималась Авдотья.— Человек приезжает. Какой он такой-разэтакий: молоденький или в летах, и вообще, одним словом...

— Поглядим, как увидим, что языком-то трепать... Не больно-то ему нужны наши. Городской, да и художник, скучать здесь будет.

Женщины стали было расходиться. Но Авдотья, прищурившись, сказала вдруг:

— Ой, бабоньки... миленькие мои... Хорошо-то как нынче! Светлынь... звезды без блеску... Хорошо!

Она тихо и радостно засмеялась.

— Глупая ты, Авдотья,—спокойно сказала Митрофановна.— Не девка чай,—на звезды зариться.

И они разошлись. Митрофановна в одну сторону, Авдотья и Любаня — в другую.

4

Автобус остановился. Вместе с Арсентьевым в Нестерове сошла молодая женщина. У нее были светлые, дерзкие, широко поставленные глаза. Подкрашенные бледно-синим цветом веки придавали этим глазам странное, языческое выражение. Одета женщина была по-городскому; коротко пострижена. «Нездешняя», — решил Арсентьев, но все-таки спросил:

— Не скажете, как до Филимонова добраться?

— Скажу, как не сказать. А вы не художник, часом, будете? — спросила женщина и посмотрела ему прямо в глаза.

— Художник.

— А не к нам ли вас прислали в Филимоново?

— К вам.

— Ну тогда пошли.

«Здешняя,— подумал Арсентьев,— а глаза мажет. Угадала сразу, кто я».

Они перешли шоссе и, оставляя справа нестеровские избы, выбрались на проселок, пошли полем.

— Это уж Филимоново? — спросил Арсентьев, указывая на крыши, видневшиеся вдаль.

— Нет, это Татеево. Отсель Филимоново не видать, оно за оврагом.

Вдали показалась и быстро стала приближаться повозка. Сидящий в ней человек рванул вожжи, и гнедая сильная лошадь, подавшись назад, резко остановилась и горячо задышала чуть ли не в лицо Арсентьеву и его спутнице. С повозки лихо соскочил рыжий поджарый молодой мужик. Кудрявый, нечесаный, но чисто выбри-

тый. Щеки его снизу были как бы подпалены румянцем. Он кивнул Арсентьеву и обратился к женщине:

— Я поспешал, думал, управлюсь, к автобусу успею, да промахнулся малость. Мне еще в Нестерово...

— Лихо ты поспешал, Сеня,— сказала женщина.— Но уж коль промахнулся, езжай в Нестерово, а мы уж пешочком, у нас кладь легкая...

— Как знаете,— усмехнулся рыжий, забрался в повозку и дернул вожжи.

Они пошли дальше.

— У нас правление в Нестерове,— объяснила женщина.— А это Шалов Сеня, бригадир наш филимоновский.

Дорога обогнула светлое, легкое, шелестящее поле овса, и стали отчетливо видны татьевские дома. В теплом, прозрачном воздухе постанывали электрические провода. Арсентьев почувствовал, как что-то праздничное, горячее, просторное толкнулось в его сердце, и он оевобожженно вздохнул, сливаясь с этим зеленым, солнечным, сквозным, многозвучным пространством, овеянным неясными запахами поля и дороги.

Началась деревня. Татьевская улица шла косо, бугрилась; у самого выхода из деревни, на возвышенности, стояли сельмаг и Дом культуры. В магазине было тихо и прохладно. Старуха с бесцветными глазами покупала пряники. Здесь был устойчивый дух хлеба, сельди, разных круп, черствых пряников, материи, лежалой бумаги, мыла, еще чего-то, чего и уловить Арсентьев не мог. Попутчица, быстро оглядев прилавки и полки, посоветовала ему купить полотняную рубаху. Рубаха была белая, в полоску, с короткими рукавами и стоила 3 рубля 50 копеек. Арсентьев купил ее и тут же переоделся. В новой рубахе ему стало еще свежее, еще приятнее шагать полевой дорогой рядом с красивой улыбчивой женщиной.

Филимоновские дома завиднелись еще от татьевского сельмага. Арсентьев спросил свою попутчицу, знает ли кто здесь историю филимоновского промысла. «Да кто знает! — отвечала она.— Порасспросить, ясно, не грех. Митрофановна есть такая у нас. С моим мужем Степаном потолковать можно. Потом Ивушкины есть, хозяин ихний — учитель. Дед еще у них горбун, все знает. Его по улице Корешком кличут. Порасспросайте! А я одно помню, давно — я еще такаячко была, со-

всем дитё! — пошли мы с папашей по ягоды. Смотрю, глиняные черепки на опушке разбросаны, спрашиваю: что это за черепки и почему они здесь валяются. А папаша отвечает: мол, здесь раньше дом стоял, старик Филимон жил, глиняные горшки делал и игрушки разные, от него и деревня наша пошла. Может, все это байки-перебайки, но и по сей час, где не пахано, черепки найти можно». Она засмеялась и снова посмотрела Арсентьеву прямо в глаза:

— Не подумайте, что наплела-закрутила. Так оно и было. Так папаша и рассказывал. Между прочим, старика Корешка по-настоящему-то Филимоном звать.

Поднявшись на филимоновский холм, они остановились. Вернее, остановился Арсентьев, пораженный панорамой, открывшейся неожиданно после слепой бугристой местности, по которой они шли сюда. Женщина поймала его взгляд и тоже остановилась.

— Что красиво-то? — вздохнула она. — Глянешь, душа заходится!

С филимоновского холма в глубоком провале виднелись деревни, лежащие внизу, гребешки малых лесов, Упа, петляющая до самого горизонта, облака, движущиеся в воздушной синеве... Было решено, что Арсентьев поселится в Красенках в каменном доме, отведенном под цех, с другой его стороны, — там хорошие две комнаты и ход отдельный. А пока осмотрится и привезет вещи, поживет у Ивушкиных.

Днем Арсентьев осмотрел цех, поговорил с женщинами, которые наперебой рассказывали ему о всяких неполадках и недостатках в их работе: увидел электропечь, малую размером и старого образца. Сушильных шкафов не было. Арсентьев оглядел еще раз цеховое помещение и на минуту затосковал даже: предстояла немалая волокита по организации возрождающегося промысла. А ведь он мечтал совсем о другом: с головой уйти в технологию производства, совершенствовать ее, проводить исследования, рисовать, писать статьи для журналов. «Не тут-то было, — подумал он зло. — Опять придется танцевать от печки».

На глухих филимоновских задворках показали ему два полуразрушенных горна: в них когда-то обжигали глину. Камень, из которого они были выложены, осыпался, приобрел неопределенный цвет, местами замшел, зарос травой. «Предстоит подробная, будничная

жизнь,—подумал Арсентьев.—Будничная и бесцветная. Поначалу, во всяком случае. Надо постараться не скиснуть».

Вечером, намаявшись от впечатлений, захмелев от свежего деревенского воздуха, сидел он за столом в доме учителя Ивушкина и слушал, что говорит хозяин. Слушал он его с трудом, потому что очень хотел спать. Но потом превозмог себя, выпил горячего чаю, и речь учителя для него прояснилась, слова стали отчетливыми. За столом сидели еще жена учителя, Любовь Филимоновна, и ее отец, горбатый старик, о котором Арсентьев уже знал по рассказу Клавды Грачевой. В соседней комнате что-то делала дочь Ивушкиных Вера—иногда выходила, мелькая, худенькая, бесшумная, кажется, совсем еще ребенок,—Арсентьев лица ее так и не разглядел. Потом она вовсе ушла.

Ивушкин говорил, что возрождение филимоновского художественного промысла—признак замечательный, тут ведь не один сорт глины имеется, можно вообще великое дело затеять, а не только цех для игрушек.

—...Но,—Ивушкин внимательно посмотрел на Виктора,—затевать надо сразу по-крупному, все подробно изучить, высчитать, здесь наобум Лазаря не пойдет... Это ведь не художественная самодеятельность, вот что понять надо. Это промысел, хотя и художественный, то есть жизнь трудовая... сама жизнь.

Арсентьев и раньше хорошо понимал все это, но только сейчас, в Филимонове, стал смутно представлять, какое дело он хочет взвалить себе на плечи, если, конечно, браться за него по-настоящему.

—Я вот что помышляю,—продолжал Ивушкин.—На уроках труда в нашей школе определенное количество часов надо бы отдать на обучение гончарному делу и лепке игрушек. Тем более, есть у кого учиться! Я говорил уже с директором, но он пока в этом резону не видит... надо убедить его.

—Надо,—подтвердил старик Филимон.—Что ж он не смекает сам, что ли, человек ведь ученый... В ребятишках корешок заложить надо. Тут без корешка не обойтись.

—Наверное, смекает,—предположил Ивушкин.—Да не очень-то в затею нашу верит, осторожный человек.

— Осторожничает,— вздохнул Филимон.— А с него-то немалый спрос, люди спросят. Одно слово, учитель...

Арсентьев подумал: «А старик ведь точно Корешок». В облике его, лице, в аккуратной одежде, в сухом, маленьком, искореженном теле, в самой речи звучала неистребимая жизнестойкость. Он, наверное, и слово это «корешок» употребляет часто. У него худые, длинные, подвижные пальцы; тонкая, почти прозрачная кожа, и что-то слабо краснеет, просвечивается из-под кожи в разных местах: у заостренного носа, на впалых щеках; голос высокий и слегка придушенный. Голос неприятен. Но глаза добрые, приветливые. У дочери похожие глаза, только поспокойнее и потемней. Она в мужской разговор не вмешивается, хотя дело это касается и ее тоже. Однако слушает живо, и, когда речь заходит об уроках труда в школе, говорит:

— А ведь у нас, кроме игрушек да гончарной посуды, еще и холсты ткали, паневы шили, полотенца вышивали. Я мамушкину паневу до сих пор берегу... Вот бы девчонок наших поучить этому!

— Ну уж это пустое, Любаня,— говорит Ивушкин.— Зачем? Я об игрушках почему пекусь? Не потому, что старина патриархальная?.. Не люблю слюней по этому поводу. А потому как дело — живое. Вокруг Филимонова глины такие, завод гончарный завести можно... Да-да, целый завод, на долгие годы. И игрушки в нем делать тоже. А игрушки-то ведь какие? С природой, с естеством связаны. Их в руки брать — одно удовольствие, они красоте учат. Такой свисток с превеликой радостью сыну или дочке в подарок привезешь. И лепить эти свистульки, так же как и посуду глиняную, здесь, на этом месте, разумно. Вот что. А умиляться да ахать... Ради этого-то одного и огород городить не стоило бы.

Ивушкин отвечал жене, но говорил с прицелом на Арсентьева, как бы прощупывая его. Виктор чувствовал это и немного злился. Почему надо человека обязательно подозревать в легковесности? Что за настороженность? Арсентьеву казалось, что люди должны ему верить сразу, потому что он открыт и никому зла причинить не желает. Разве это не видно с первого взгляда?!

Ивушкин настоятельно советовал Виктору встретиться с Зайцевой, живущей в Туле, и ее сестрой Кар-

повой, которая гостит сейчас у сына в Москве. Они — заглавные мастерицы, и без их опыта не обойтись. Старик тоже считал, что эта встреча необходима.

...Лежа в постели, засыпая, Арсентьев мысленно перебирал подробности прошедшего дня: и то, как он шел полевой дорогой с Клавой Грачевой и она рассказывала о глиняных черепках, найденных в детстве, и то, как она смеялась, смотря ему прямо в глаза, и как лошадь остановилась резко перед ними и горячо дышала в лицо. Видел он и рыжего бригадира, лихо спрыгнувшего с повозки, и сельмаг, где купил полотняную рубашку. Рубашка, правда, оказалась замечательной: легкой, приятной. А тульские проводы, разговоры с Кирилловым, с Соней казались Арсентьеву такими далекими, как будто все это происходило год назад, а не прошлой ночью. Перед ним смутно рисовалась туманная перспектива деятельности, натура же его желала решительных действий, ясности. Он понимал, что узелок этот не развяжется сразу, и засыпал с беспокойством. Разум подсказывал Арсентьеву, что линия его филимоновской жизни будет выстраиваться как-то иначе, чем он предполагал.

Под утро он услышал крик петуха сквозь сон. Крик был какой-то резкой, неправильной формы. Арсентьев открыл глаза в синющей тишине и опять заснул. Проснулся он вторично, когда вовсю играло солнце. Услышал в соседней комнате голоса хозяев, девичий смех — сперва громкий, потом тихий и оборвавшийся. Через некоторое время раздался высокий, слегка придушенный голос: старик вернулся с рыбалки и похвалялся уловом. Арсентьев встал, мотнул головой, зажмурился на мгновение, сказав про себя: «День второй». И быстро записал в блокноте: «Оборудование для цеха. Крапивинский завод. Глины в окрестностях. Встретиться с Карповой, Зайцевой». Умываться он пошел на двор. Во дворе увидел хозяйскую дочку, впервые разглядел ее: невзрачная, остроносенькая, с неопределившимися чертами, скорее всего, дурнушка. Русые волосы ее имели пепельный оттенок и мягко светились в золотистом утреннем свете. Глаза такие же, как у ее красивой матери и горбатого деда, но было в этих глазах и свое, особенное: легкое, девичье, смешливое.

Они поздоровались, и Арсентьев направился к рукомойнику, думая о предстоящем дне.

С плотником Степаном Грачевым Арсентьев излазил все окрестности Филимонова, взял из разных мест глину на пробу, чтобы потом отвезти ее в город в лабораторию.

Степан нравился Арсентьеву своей неназойливостью в разговоре. Он казался незаметным, любил возиться по хозяйству, все время мастерил что-то. Однажды Степан показал Арсентьеву фигурки, которые он лепил и хранил, никому не показывая, у себя в сарае. Когда Арсентьев увидел вылепленные Степаном фигурки, он изумился: они совершенно не были похожи на филимоновские игрушки. Это были странные изображения, насмешливые и добрые — деревенских мальчишек, лопоухих собак. Взгляд у Степана, оказывается, был приметливым, безошибочным. Вылепил он и своего соседа, весельчака и обжору, вылепил и тощую высокую Митрофановну, полуприкрыв ей презрительно левый глаз. Правого глаза он ей не сделал вовсе. Были здесь и фигурки космонавтов, и женские головки. Сквозь профессиональную неумелость проглядывала точность психологических характеристик и смелость неожиданных линий. Никакой предвзятости, никакой привязанности к шаблонам.

— Ты где-нибудь учился? — спросил Арсентьев.

— Нет, не учился, — ответил Степан. — Так, смотрел.

— А в художественное училище поступать не пробовал?

— А зачем? — Степан пожал плечами. — Я ведь плотницкому делу обучился.

— Да-да, знаю...

«Поразительно, — подумал Арсентьев, — каких только людей на земле не встретишь! То бездарность натужно карабкается вверх за успехом, а то вот талант — настоящий талант! — сидит в полной безвестности и даже пальцем не пошевелинет, чтобы его узнали. Похоже, что ему и не нужно все это. Что это, глупость? Лень? Или мудрость?» Арсентьев посмотрел на Степана таким взглядом, каким смотрят на человека неприметного телосложения, когда он вдруг — нá тебе! — два двухпудовика одной рукой выжимает. В сарай, где Арсентьев рассматривал Степановы глиняные фигурки, неожиданно вбежали два мальчугана. Один из них, ры-

жий, вертлявый, плакал и, стирая кулачками слезы, стал жаловаться на брата, прижался к Степану. Степан помирил их, легким движением подтолкнул к выходу, улыбнулся: «Совсем щенки еще, чуть что, скулят». Арсентьев взял одну из женских головок, потом другую, третью... В каждой угадывались Клавины черты: вот мелькнула ее улыбка, вот дерзко глянули ее глаза. Степан лепил одно и то же лицо, точно искал его в толпе, ошибался, находил, снова терял. Арсентьев уже слышал, что Клава у Степана отчаянная. Поговаривали, что она гуляла от мужа. Слышал Арсентьев, как мужики, посмеиваясь, спрашивали филимоновского бригадира Сеньку Шалова: «А скажи-ка, Сенька, Клавкин парень, он кто тебе будет... родственник?» Рассказывали, что Степан было завербовался на Север, хотел уйти от жены, но передумал, остался и сына, родившегося не от него, признал, относится к нему так же, как к своим, даже, может быть, лучше, жалостливее. Арсентьев еще раз посмотрел на Степана, как бы не узнавая его, и вдруг почувствовал жгучую зависть к этому человеку, к его жизни, к его любви. Он только сейчас понял, как хороша и притягательна, как прекрасна эта женщина, жена Степана. Виктору немедленно захотелось сделать что-то необыкновенное, чтобы кто-нибудь восхитился им, открыл его для себя, как только что он открыл Степана. Он даже побледнел и сам почувствовал свою бледность; ум его стал лихорадочно работать. Он хотел скорее уйти отсюда, ему казалось, что Степан вот-вот разглядит все, что происходит в нем, и воплотит в глине.

— Значит, со всех мест глину взяли? — спросил Арсентьев, прощаясь.

— Других мест не знаю.

Взгляд Степана был медленным и словно бы рассеянным, тускловатым, но теперь-то Арсентьев знал, что тускловатость эта обманчива. Когда он ушел от Грачева и остался один, он все думал, думал, думал... Что надо сделать, чтобы привлечь широкое внимание к промыслу? Главная работа начнется поздней осенью, зимой, а пока он будет доставать оборудование, хлопотать, ездить в Крапивну, в Тулу, может, и в Москву съездит. И опять подумал о Степане: самоучка, но как полнокровен... А что если попробовать изменить форму игрушек, сделать их более современными, увели-

чить в размерах, сместить линии? Надо рискнуть, а вдруг!.. Он чуть не бегом отправился в Красенки, где условился встретиться с женщинами. Да, надо попробовать расшевелить эти игрушки, вмешаться в привычное... Нет, не отвергнуть традицию. Приблизить ее, приспособить к современному вкусу, поднять на уровень века... Арсентьев был необыкновенно взволнован. Только бы удалось!

В цехе его дожидались несколько женщин. Он увидел Клаву и еще раз почувствовал, как привлекательна и женственна Степанова жена. Настоящая красавица! Арсентьев почувствовал, как у него прибавилось решительности, уверенности в своей правоте. «Затевать надо сразу, по-крупному»,—вспомнил он слова Ивушкина. Игрушки, стоящие на столах, показались ему менее выразительными, чем раньше. Он взял одну из них: молодушку в сарафане колоколом и с ребенком на руках. «Может быть, рисунок разнообразить и расцветку,—подумал Арсентьев.—Почему обязательно должны быть грачи, елочки да грабли?» Он попытался об этом заговорить с женщинами, но они никак не могли уразуметь, чего, собственно, хочет он, лишь Клава Грачева понятно и радостно смотрела в глаза Арсентьева, одобрительно кивала головой.

— Ну вот,—сказал он, обращаясь к Митрофановне,—молoduшка, которую я держу... почему она должна быть именно такой? Почему ее не увеличить, разукрасить как-нибудь иначе, почему должно быть одно и то же?

— Дель у нас такая—вот почему,—ответила Митрофановна.—Не мы эту дель выдумали, не нам ее корректировать. Почему, почему? Так бабка делала и матушка... Дель такая...

Старуха замолчала. «Господи!—подумал Арсентьев.—Как им втолковать, что новшество необходимо, что без этого не обойтись, что это им самим поможет, промыслу поможет... Заладили одно и то же: «Бабка так делала, матушка так делала». Арсентьев даже покраснел от досады, стал ходить по цеху, хватался за голову, громко говорил, убеждал. Женщины слушали, с любопытством поглядывали на него, помалкивали. Были здесь и две из тех, что лепили игрушки для художественного фонда,—Александра Федоровна Маслен-

никова и Антонина Ильинична Карпова. Масленникова, словно пожалев Арсентьева, сказала:

— Может, и ваша правда, Виктор Васильевич, да уж такой наш след. Мне вон тоже на выставке игрушки приглянулись, красивее наших, глазурью покрыты, сверкают... Да только не делают у нас так.

— И глазурью попробовать можно! — сказал Арсентьев. — Не надо бояться. Рискнем? Как, бабоньки?

— Обязательно испробовать надо, — отозвалась Клава. — На рискованного коня ставьте, завсегда вытянет.

Остальные женщины молчали. В цех вошли, припоздавши, Авдотья Чуева, Ивушкина и дочь ее Вера.

— Ну, вот и моя Верка попросилась посмотреть, как у нас тут, — сказала Ивушкина и улыбнулась.

Вечером Арсентьев написал Соне Левиной в Тулу:

«Здравствуй, Соня! Кажется, все складывается благоприятно. Пока живу в семье здешнего учителя Ивушкина. Скоро приеду в Тулу за вещами, у меня будет отдельная квартира при цехе, две комнаты. Кстати, привезу с собой разные пробы глин для лаборатории: глины здесь богатые. Интересно, что покажет анализ? В воздухе носится идея гончарного завода на местных глинах. Представляете, какая бы это была роскошь! Глины я собрал с помощью филимоновского плотника Степана Грачева. Уникальный мужик. Если бы вы видели фигурки односельчан, вылепленные им! У него глаз великого скульптора. Не смейтесь, я не преувеличиваю. Люди вообще здесь талантливые, но чересчур консервативные. Я решил кое-что предпринять. Я, конечно, не раскопаю под Филимоновом Трою, но революцию в здешнем художественном промысле постараюсь совершить. Подробности расскажу при встрече. Виктор.

Места здесь благодатные!»

6

Арсентьев съездил в Тулу, привез вещи на грузовике, который ему дали в Художественном фонде, и поселился в двух комнатах, при цехе.

Не тратя времени, он принялся за работу. На широких белых листах рисовал петухов, баранов, медведей. Искал новые линии, иногда упрощенные, иногда причудливые, изобретая формы, пытаясь сопрячь сказоч-

ное и современное. Потом раскрашивал акварельными красками. Работал Арсентьев азартно, без устали. На лбу и под глазами выступали бисеринки пота, рубаха, которую он купил в Татьяне и теперь суеверно надевал во время работы, посерела, загрязнилась, была залепана красками, но он ее не менял, считал, что она принесет счастье. Приходил Степан Грачев, медленно перебирал листы, присматривался.

— Ну, как? — спрашивал Арсентьев.

— Красиво, — отвечал Степан.

— Придется нам с тобой, Грач, первыми эти куклы лепить. Поможешь?

— Почему же... помогу.

Иногда он приходил с женой. Клава восхищалась рисунками Арсентьева: куда, мол, Филимоновским игрушкам до этих. Она смеялась, не стояла на месте, смотрела художнику прямо в глаза, но взгляд ее не был так дерзок, подвижен и откровенно насмешлив, как без Степана. При муже она была чуть ниже, чуть тише, чуть незаметнее, и это получалось у нее так естественно, так необманно легко, как получается только у женщин, беззаветно любящих. Клава с еще большим интересом, чем рисунки, рассматривала обстановку арсентьевского жилища. Первозданным чутьем своим она всегда искала незнакомое, неожиданное. Какая-то скрытая пружина толкала ее к этому неожиданному, и она не могла противиться этой силе. Теперь в Филимонове появился очаг, не похожий на другие. На грубо сколоченных полках стояли привезенные Арсентьевым книги. Романы, путеводители, учебники по прикладному искусству, стихи. Книги были старые, новые, потрепанные, сверкающие, пестрые. На низком столике, рядом с глиняными игрушками в особых держателях стояли долгоиграющие пластинки. Клава осторожно доставала их, рассматривала цветные конверты: Бах, Рахманинов, колокольные звоны, Дебюсси, Сигер. В этом жилище царил мужской дух, звук незнакомых имен; запах краски был перемешан с запахом дерева, мокрой глины и табака. Беспорядочно валяющиеся листы сочетались с грубой строгостью некрашенных полок, с узким жестким топчаном, застеленным солдатским одеялом. Это был дом художника. И этот дом волновал и неодолимо притягивал Клаву к себе. Когда она проходила мимо, то начинала чувствовать собственное серд-

це, которое словно подталкивало ее к дому художника, и она с великим трудом заставляла себя не заглянуть туда. Степана тоже влекло сюда: он часто бывал у Арсентьева и, может быть, даже — он сам точно не знал — завидовал художнику, что тот сколько угодно мог с утра до ночи и с ночи до утра лепить, рисовать, красить.

Иногда во время работы Арсентьев включал проигрыватель и ставил пластинки. Музыка заполняла пространство, и ему казалось, что он плавал в ней, и работало ему хорошо, свободно. Однажды, когда звучал орган, Арсентьев почувствовал, что кто-то стоит за его спиной, и обернулся. Горбатый старик и его внучка были неподвижны, как на фотографии. Они, должно быть, только что вошли и не решались оторвать Арсентьева от работы. У Веры были сияющие, серьезные и — ему показалось — счастливые глаза. Старик смотрел внимательно, участливо. Но выглядел грустнее обычного в своей аккуратной, выцветшей рубашке; худыми подвижными пальцами теребил снятую кепку:

— Вот полюбопытствовать решились, Виктор Васильевич...

— Замечательно!.. — тихо сказала Вера.

Арсентьев выключил музыку, спросил старика, как тот относится к его затее, и добавил:

— ...Я однообразие не люблю, надоедает. Яркий мазок ищу, непохожесть.

— Ищи, сынок, — согласился Филимон. — Оно, конечно, можно одно дерево к другому прививать, может, чего и привьешь к нашей игрушке... Но не все ведь прививается, бабоньки-свистунчики твои задумки проверяют. Как начнут синику своими пичужками пытать, так и проверяют.

— Что ты, дед, — воскликнула Вера, — зачем проверять, это же так красиво! Обязательно получится... Правда, Виктор Васильевич!

— Красиво-то красиво, — вздохнул старик. — Павлин тоже красивый. Помнишь, по телевизору показывали: загляденье, а не птица, а посади его в наши леса жить, завянет. Да... А в телевизоре красиво выступал. Тут корешок искать надо. Найдешь его, тогда и валяй себе, не осторожничай...

Арсентьева, горячего еще от работы, от музыки, от уверенно сложившихся линий, раздражали сейчас сло-

ва горбуна и особенно его высокий придушенный голос.

— ...А свистулечницы наши — великие мастерицы, — продолжал старик. — Всяка по-своему лепит, ни один зверь на другого не похож, у каждого свой лик, каждая игрушка особенная.

— Великие... — задумалась Вера. — Митрофановна, мама наша, Александра Гавриловна... Какие же они великие?

Она усмехнулась и покраснела. Вера, хотя и выглядела чуть ли не подростком, окончила в этом году школу, должна была поступать в педагогический институт и сейчас готовилась к приемным экзаменам. У Арсентьева она попросила на несколько дней стихи Вознесенского.

Когда Вера с дедом ушли, Виктор некоторое время не мог вернуться к работе — все вспоминал слова Корешка, сказанные не зло и даже участливо, но какие-то царапающие. «Сам Ивушкин тоже будет против моих новшеств, это уж наверняка, — подумал Арсентьев. — Но ведь я прав. Остается только доказать, добиться успеха».

Разные люди заходили к Арсентьеву. В тусклый дождливый день пришел Сенька Шалов, он был навеселе. Время клонилось к вечеру. Сенька сбросил дождевик на пол, у входа. Сел за стол, помолчал. Выругался. Вздохнул: «Не ко времени дождейчик получился... Кабы не разошелся. Мне еще сегодня в Татьево скатать да в Нестерово... Ты, я вижу, дело заворачиваешь. А знаешь, художник, в правлении недоволены, смотри не промахнись! Ты у меня бригаду разоришь, девок переманивать станешь, смотри!.. Колхозу какая выгода от игрушек-то, это Крапивенскому заводу выгодно да Туле, а нам одно отвлечение». Арсентьев хотел было ответить Сеньке, что отвлекать никого не собирается, что игрушки лепят в зимнее время и занимаются этим больше пожилые, а молодые, если кто и захочет, будут совмещать это с основной работой. У него даже мелькнула мысль, что правление, если оно недоволено, может вытребовать цех под свое начало, и не прогадает. Арсентьев хотел все это сказать, но не успел: с улицы, прикрывая голову фанеркой, вбежала Клава.

— Уф, дождь какой припустил! Переждать-то можно? — Она увидела Сеньку и на миг смутилась.

— Проходи, Клава, — сказал Арсентьев, — вон полотенце, возьми.

— Зачем оно мне, не сахарная. Спасибо, конечно. Теремок, я вижу, заполняется, и уж красный лис сюда подвернул.

— Эх, Клава, вострая ты баба, — засмеялся Шалов, — змея, а не баба, даром что фигуристая! Вон как дождь всю облапил, живого места не оставил.

Клава отвернувшись к окну, постояла с минуту и — вон из дому, не протившись, хлопнула дверь.

— Зачем обидел? — сказал Арсентьев. — Простудится ведь, в самый ливень побежала.

— Ничего с ней не делается, живучая кобылица! С ней не то еще случилось, по шею в холоднющей воде стояла, и ничего. Хошь расскажу? Друг мой... Ну, в общем, гулял он с ней. Сидели они раз под самую ночь над Упой. Вдруг видят: человек идет к ним. Она издаля узнала. «Ой, — говорит, — это мой Степан!» И прямо в воду пошла, деться никуда нельзя было, а он уж близко. Тихо вошла, по само горло, и за кустом стала. А вода, скажу тебе, не приведи господь, — осень была. Ну, значит, подходит Степан к дружку моему, а у того все дрожит, представляешь, небось. Спрашивает Степан: «Телку мою не видел? Клава искать послала». А Клавка, вот она тут, за кустом, в воде... Присел он на бугор рядом с дружком-то моим, закурили они. Сидят, говорят. Ночь сухая, зарница вдали чиркнула. Дружку моему голова Клавкина видна, а Степан все не уходит. Полчаса в реке простояла, пока Степан не ушел. Другая б околела давно, а эта в бане попарилась и не чихнула после ни разу, вот.

Сенька поднялся, взял с пола дождевик, натянул его, сказал:

— Совет тебе мой — не зарься на Клавку. Вот она с моим дружком гуляла, думаешь, что: любила его? Как бы не так, точно говорю! Чудная она, не разберешь...

Арсентьев глянул на рыжие, нечесанные, спутанные Сенькины волосы, и ему пришло на память: «С головой, как керосиновая лампа!»

Сенька Шалов ушел, а Виктор снова взял карандаш, присматриваясь к расписной глиняной девице, стоящей перед ним на столе. Губы его сами собой стали насви-

стывать какой-то мотив. Время от времени он посмеивался и повторял: «С головой, как керосиновая лампа!» И был доволен своей работой.

7

Когда эскизы были готовы, размеры рассчитаны, шаблоны вырезаны, Арсентьев с помощью Степана принялся изготавливать образцы новых игрушек. На свет стали появляться вылепленные из синики бараны, петухи, собаки, не похожие на тех, что лепили в Филимонове прежде. Вернее, основа была филимоновская, но сам абрис, сама замкнутая линия, образующая форму, была легче, острее, элегантнее. Соразмерность частей получилась иная.

— Современные пропорции!.. Посмотри, совсем другое дело! — говорил Арсентьев Степану. — Ну, как? Игрушкам надо придать стремительность. Век скоростей. Глянь-ка, Грач... Нравится? По-моему, здорово!

— Красиво, — похвалил Степан, — очень даже... И на городские похожи... Так нынче лепят, из дерева режут, я видел. Верно ты ухватил, красиво.

— Ну вот и хорошо! — Арсентьев осторожно поворачивал фигурку всадника. — Я знал, что тебе понравится, ты ведь талант, Степан... Настоящее всегда оценишь. Мы и рисунок другой попробуем: треугольник, окружность, облако... Глаз можно написать с ресницами, такой, как у Клавки твоей. Будет он среди треугольников да окружностей, как языческое око, светиться.

— А глазурью-то будешь пробовать?

— Глазурью? Хотел я, да прикинул: не стоит. Покрою глазурью — слащаво получится, и фактуру уничтожим. Фактуру материала лучше обнажать. А тут еще глина такая. Современная линия на обнаженной фактуре острее.

— Значит, бабы-то наши верно делали, что сроду не глазурили?

— Бабы-то? Бабы ваши слепо делали... Ты вот, Степан, совсем по-другому лепишь, у тебя каждая линия неожиданная.

— Я-то, может, и по-другому, и ты по-другому, а игрушки, которые бабы лепят, мне тоже нравятся. Линия, говоришь, в них небыстрая, да зато лепкая, в каж-

дой игрушке своя музыка играет, двух одинаковых не найдешь.

— Интересно, Корешок то же самое говорил, да я что-то не вижу.

— Обожди еще...

Случилось так, что в эти самые дни приехал в Филимоново корреспондент из Тулы. Подобранный, спортивный, веселый парень, он чуть ли не на ходу выбрался из «газика», точно выбросился. У него были живые движения, живые глаза и ранние залысины. Он собирал в соседнем колхозе материал для очерка и на обратном пути решил заглянуть в Филимоново. Разыскав Арсентьева, с ходу задал ему несколько вопросов. Соображал он быстро, мысль хватал на лету и, когда Арсентьев разъяснял ему что-нибудь, прерывал Виктора на середине фразы: «Усек! Теперь вот что...» При всем при том его обаятельная наглость не вызывала у Виктора раздражения. Он, может быть, даже завидовал легкости, с какой этот парень перемещался в пространстве, говорил, «усекал». Узнав о планах Арсентьева, корреспондент пришел в восторг:

— Сказке надо придать космичность,— он внимательно-быстро глянул в глаза художника.— А знаешь что: пожалуй, репортаж получится. Дадим-ка одни штаны на два базара.

— Как это? — удивился Арсентьев.

— В Туле у нас напечатаем, и в Москву еще пошлю. Тебе паблисити вот как нужно. Салют! Желаю успехов. Совсем забыл. Когда ты думаешь новые образцы запустить?

Арсентьев объяснил, что нужно сначала в Союзе художников эскизы утвердить, получить разрешение в министерстве, а писать об этом пока не стоит. «Хорошо, напишем туманно»,— сказал корреспондент и исчез так же мгновенно, как возник. Он уехал, пробыв в Филимонове немногим больше часа, но все-таки успел сделать доброе дело: захватил с собой Веру Ивушкину. Она собиралась ехать в город сдавать вступительные экзамены в институт; и так славно все получилось: выходит Вера с чемоданчиком из дому, тут же машина стоит, как раз в Тулу отправляется, точно корреспондент ради нее, Веры, и заглянул в Филимоново.

Арсентьев чувствовал себя победителем. С этим чувством он просыпался, работал, отдыхал, разговаривал с людьми, читал книги, засыпал. Ровная радость наполняла его тело, мозг, сердце. Каждая клеточка в нем ожидала, предчувствовала успех. Стояли золотые дни раннего августа. Эскизы были выполнены в красках, отработаны, выверены. Образцы новых игрушек готовы. Соня Левина прислала письмо, в котором сообщала, что лабораторные анализы показали: филимоновские глины — шести сортов, два из них по своим качествам приближаются к лучшим фарфоровым глинам. Кроме того, Арсентьев ожидал, что вот-вот должна появиться статья, а может быть, и две статьи о филимоновском промысле, как обещал тот спортивный веселый парень, корреспондент, так неожиданно нагрянувший к ним. Самое время было съездить в Тулу, а потом и в Москву, зайти в Художественный фонд, в управление культуры, в Министерство местной промышленности. Решил Виктор, наконец, разыскать и двух старейших филимоновских мастериц, Зайцеву и Карпову, как советовал ему учитель Ивушкин.

...Анну Гавриловну Зайцеву он отыскал быстро. Жила она на окраине Тулы, в поселке Мясново, в деревенском доме. Встретила Арсентьева радушно, как своего, филимоновского, расспрашивала про всех: про Митрофановну, про Ивушкиных, про Корешка и улыбалась смутно: «Корешок-то в молодости до чего пригож был, не гляди, что горбун, лицо чистое, как у девицы. И гончарил складно, его дель высоко ставилась. И девка за него красивая пошла, вот ведь как. Лет десять назад померла Ленка-то. У нас в Филимонове много баб красивых-то было, певуны все. Я как в тридцатых приехала в город, затосковала. Плакала, все равно как второе замужество». Лицо у Анны Гавриловны белое, сухое, старое-престарое, пальцы искривлены, уродливо бугрятся. Но игрушки повсюду в комнате стоят прекрасные и свежие, сделанные совсем недавно. Арсентьев стал приглядываться к ним и вдруг отчетливо уловил, что игрушки эти не похожи на игрушки других мастериц. Линии как будто те же, гамма красок та же, и все-таки явная непохожесть. Что это, свой стиль? Значит, как-то иначе учили, иным приемам, значит,

импровизация возможна, и он, Арсентьев, прав в своих поисках новой формы. Виктор стал расспрашивать Анну Гавриловну о подробностях ее работы, об особенностях ее игрушек и услышал все то же: «Никаких особенностей, сызмала у бабушки да мамушки училась, у тетки своей. Они работают да поют, и так ладно у них получается-то... Я возле все вертелась, нравилось мне, как они лепят, и сама пробовала, а уж потом сестру меньшую, Сашку, выучила. У нас у всех руки на это дело понятливые...» Арсентьев слушал ее и соображал: «Что же это такое? Говорит одно, а делает по-другому... Или из чего-то не понимаю?» Решил хитрее покопать, поглубже, спросил:

— Когда молодушку лепите, всегда вытяжные руки делаете?

— Ясно, вытяжные, с одного куска вытягивают. Всегда.

— А не помните, кто-нибудь из филимоновских не лепил молодушек с накладными руками?

— Что ты, дорогой мой, никто не лепил, некрасиво! Красиво когда вытяжные, из цельного куска.

— Значит, у вас все одинаково делают?

— Все, дорогой мой, все.

— Да-а!..

— И шляпки только на филимоновских молодушках, на других не увидишь. У нас своя филимоновская красота, а в Дымкове другая. А кто нашу тропку проторил, неведомо...

Что-то шелохнулось в Арсентьеве, потревожилось от слов Анны Гавриловны, будто тучка забрезжила на ясном небе. Зародилась в нем странная беспокойная тяга; он взял у Зайцевой адрес ее сестры и поспешил в Москву и прежде всего стал искать там Карпову.

Александра Гавриловна гостила у сына и жила на Дербеневской набережной за Павелецким вокзалом, где-то около Первой Ситценабивной фабрики. Арсентьев порядком поплутал, пока отыскал нужный номер и первый корпус, затерянный в серой массе одинаковых пятиэтажных домов.

Александра Гавриловна удивилась, что кому-то понадобилась в этом огромнейшем городе, что ее разыскал незнакомый человек и вот стоит перед ней. Она

даже не сообразила сразу пригласить Арсентьева в комнату, смотрела на него вопрошающе. Но когда узнала, в чем дело, и попригляделась к незнакомцу, заулыбалась: «Проходите, проходите... Давно из Филимонова-то?» Арсентьев вошел в комнату, огляделся, хотел увидеть игрушки, но игрушек нигде не было. Александра Гавриловна ушла в соседнюю комнату, и оттуда раздался ее голос и голос девочки. Через минуту Карпова появилась с газетой в руках: «Вот ведь сразу не угадала, а потом признала вас. Похожие вы здесь». Карпова протянула ему газету. На четвертой странице сверху была его фотография, чуть ниже фотография игрушек и записка. Называлась она «Филимоновское искусство». Арсентьев пробежал заметку — в ней расхваливалась его энергия, рассказывалось о его планах, описывались игрушки, назывались мастерницы, среди которых Александра Гавриловна почему-то не упоминалась, так же, как и не упоминались Зайцева с Масленниковой. Арсентьев почувствовал, как стыд полоснул, ожег его нутро, стал медленно подниматься неприятной волной, и он ощутил кожу на лбу и на щеках. Кто виновен был в происшедшем: корреспондент ли, впопыхах расспрашивающий его, сам ли Арсентьев... И вдруг он отчетливо вспомнил, что это не кто иной, а именно он забыл тогда назвать и Александру Гавриловну, и Анну Гавриловну, и Масленникову. Арсентьев понимал, что должен сейчас поднять глаза, и не знал, как это сделает; взгляд его малодушно цеплялся за газетные строчки, за заголовки, — он увидел число: оно было сегодняшнее. Наконец, Арсентьев преодолел себя и встретил строго внимательный, но вовсе не осуждающий взгляд Александры Гавриловны. Она, точно помогая выкарабкаться ему, заговорила о деревенских делах, о том, что скоро вернется в Филимоново, что здесь задержалась потому, что заболела внучка. Арсентьев мало-помалу стал приходить в себя, но до самого конца встречи оставался скованным, всем существом своим помня случившееся. У него даже язык не повернулся рассказать о своих новшествах, он только попросил Карпову, когда она вернется, помочь другим мастерницам, потому что игрушки, которые делают она, ее сестра, Масленникова и еще другая Карпова, лучше, чем игрушки остальных мастерниц. Александра Гавриловна согласилась помочь, но сказала: «Бабы-то

не виноваты, у них обозный завод принимает, с него малый спрос, а мы четверо-то, каждая по себе, на художников работаем. Вот дель разная и получается-то. Пусть бы всех фонд художников под себя взял. И магазин выхлопотать такой, где бы и наши, и все другие глиняные игрушки продавались. А мог бы и колхоз нас в себя включить, то-то было бы! Помню ярмарки в Плавске, в Одоеве, в Крапивне — привезем два воза игрушек, двух часов не стоим».

Александра Гавриловна угостила Арсентьева чаем, пирогом с капустой, домашним вареньем. Спроволила все это она быстро, не суетясь. Она немного моложе своей сестры, лицом темнее ее, взглядом суше. За чаем Арсентьев, наконец, спросил, нет ли здесь ее игрушек. Карпова глянула на него внимательно, ответила не сразу:

— Сын не приветит их... Да я вот тоже, не очень ставлю их в избе своей... Другие любят украсить, а я равнодушная к этому.

— Не может быть, Александра Гавриловна, ведь вы же делаете их!

— Делать-то делаю... Делать я их привычная. А чтоб любоваться — не по мне это. Есть тут сколько-то свистулек, внукам привезла. Поищу сейчас.

Но искать сразу не пошла, не поспешила, продолжала говорить о том, что заботило ее, и, между прочим, спросила Арсентьева про пенсию: будут ли им, четверым, которых в Союз художников приняли, пенсию больше обычного платить. Арсентьев ничего не мог ей ответить, но обещал все точно выяснить к тому времени, когда Александра Гавриловна вернется в Филимоново. Арсентьев подумал, что она самая, пожалуй, дельная, расторопная и расчетливая из всех филимоновских мастериц и — без тени поэзии, с этой неожиданной строгостью, которая несколько раз уже ни с того ни с сего обозначилась на ее темном лице и в глубоких сухих глазах. А ведь говорили, что она прекрасная мастерица, причем одна из лучших, а в деревне еще и не раз поминали, что поет она знаменито. Арсентьев стал спрашивать Александру Гавриловну о том да о сем и разговорил ее. Оказалось, что муж Карповой, Петр, колхозным бригадиром был. Его во время войны немецкие солдаты прямо в их дворе и застрелили.

— Вся деревня горела, — сказала она, — Враг шел,

кур бил, скотину... Мужа моего да еще соседского мальчишку-то, шестнадцать годов ему не было, вывели во двор, ничего-то не сказали... Смотрю, свекровь к избе ползет, только-то и ойкнула: «Петьку убили!» На второй день я в себя пришла. Сперва их во дворе, под сараем похоронили, уж потом на кладбище снесли. Вот и осталась с четырьмя: дочке десять лет, мальчишке восемь, еще одной — полтора, да на руках — пятимесячный. Вот век и мучилась — кормила, учила. Прокормиться, сами знаете, как трудно было; годы-то какие: щавель да вода... Сейчас у меньшого-то, у Кольки, и гошу.

Оборвав себя на полуслове, Александра Гавриловна зашла в соседнюю комнату, покопошилась там, поговорила с девочкой и вынесла оттуда три игрушки-свистульки: медведя с гармошкой, петуха и всадника. У всадника была отбита рука и облупилось лицо. Арсентьев жадно вглядывался в эти игрушки: они были суровее, строже, проще, чем свистульки Зайцевой, и расцветка была скупее, более резкой, более темной: красный цвет приближался к багровому, а синий был холодным. Потом он углядел, что линии в карповских работах ужесточены и вовсе не тяготеют к плавности. И при всем при том это были прекрасные игрушки, настоящие произведения искусства, одухотворенные, близкие его пониманию. Он еще не смог осмыслить, что открылось ему в игрушках Александры Гавриловны, но это было очень важное, уже вспыхнувшее в его сознании, и нужно было только сформулировать это важное, это вспыхнувшее. Он рассеянно спросил Карпову, по какому плану она делает свои игрушки. «Ни по какому», — ответила она. «Значит, и здесь импровизация», — подумал Арсентьев. — Но ведь не какая угодно, не первая же пришедшая в голову фантазия тут же лепится». Неужели он не прав? Неужели он, Арсентьев, которого друзья всегда считали горячим и даже неуравновешенным, который всегда, как ему самому казалось, следовал за своим чувством, вдруг оказался рассудочным? Неужели в поисках новых форм он пошел от головы? Арсентьеву не хотелось так о себе думать, и тем более представить себя рассудочным человеком он не мог. Но мысль его напряженно работала, искала ответа. Он по-новому увидел Александру Гавриловну, точно освещение изменилось в комнате; ее

глубокие, исполненные строгости глаза, густое синее платье, цветной платок.

— А что, если бы попросила я вас,— сказала она,— отвезть в Филимоново вещицу одну. Есть там краля такая Клавка Грачева, знаете небось, просила она пуловер ей какой-нибудь ненашенский купить... Я и купила, а у нее день рождения вот-вот; в самый раз пуловер бы ей.

— Давайте отвезу, мне не трудно,— сказал Арсентьев.

— Ну вот, и слава богу, и баба порадуется. Спасибо вам. Да, вот еще и газетку возьмите, нужна ведь, небось...

Арсентьев взял пуловер, газету со злосчастной заметкой и своей фотографией и простился с Александрой Гавриловной. На улице он еще раз прочитал заметку и долго рассматривал свою фотографию, словно не узнавал себя. Вчера еще он с нетерпением ждал появления этой статейки!

Арсентьев снова почувствовал острый стыд, но теперь не обжигающий, а ноющий, глухой. И надо же, чтобы дали его фотографию, только его и больше ничью! Он представил лицо Сони Левиной, читающей эту газету, представил Кириллова, учителя Ивушкина, Степана, представил усмешливые рожи друзей-художников. Его словно раздели при всех.

Позже, к вечеру, он вышел из гостиницы и долго слонялся по Москве один. Вспомнил игрушки Александры Гавриловны, красный цвет, приближающийся к багровому, и холодный синий и подумал: «Жизнь ее отпечаталась на этих игрушках... Сама ее жизнь».

В каком-то переулке, кажется, Кривоколенном, его внимание привлек автофургон стального пыльного цвета с желтой кабиной. На стене фургона была нарисована изогнувшаяся длинная рыба. Она точно летела по стальному пыльному цвету. Чуть ниже — полустертая надпись: «Скумбрия вкусна и питательна». В желтой кабине висела танцующая, пушистая, дымчатая фигурка в перьях. Арсентьеву захотелось заглянуть внутрь кабины. Он прижался к боковому стеклу, даже поставил ладонь ко лбу, чтобы лучше разглядеть все. Над пушистой фигуркой поверху смотрового стекла проходила желтая бахрома, на заднем окошке — цветная занавеска. На стенке, рядом с занавеской, фото-

графия девушки с сумкой через плечо, на фоне моря; и еще какая-то картинка. Над приборным щитком, почти по центру, ближе к рулю, самодельный забор из волнистой проволоки полукругом образовывал площадку, там лежал спичечный коробок. На правом сиденье — цветной чехол, из того же ситца, что и занавеска; шоферское сиденье было не покрыто, и жестко посвечивала его коричневая искусственная кожа... Это был целый мирок нехитрых привязанностей, малый дом, в котором какой-то человек перемещался в пространстве и находил равновесие в вихре скоростей и мельканий огромного мира. Виктор, наконец, оторвал взгляд от кабины и пошел дальше.

Наступила ночь, но в гигантском городе по-прежнему душно, ни ветерка. Это интересно нарисовать: в темных домах, как позвоночники, светятся лестничные площадки. Потом в тумане очертания домов теряются. И стоят нитки света.

9

Сколь значительно, подлинно то, над чем с таким пылом и нетерпением недавно работал Арсентьев? Он искал, рассчитывал, ваял такие формы, которые должны были своей острой яркостью поразить, ошеломить зрителя, привлечь, прилепить к себе взгляды. Разве не было в этом смысла? Разве не отвечает это ассоциативному современному мышлению, нервной стремительности века? «Нет, я не рассудочный, и никогда рассудочным не стану, — думал Арсентьев. — Я попробовал выдумать из головы фантастические игрушки. Выдумывают же писатели фантастические рассказы... Но имею ли я право посягнуть на филимоновскую традицию? Ведь это опыт, талант, разумение многих поколений. И подвластно ли это разумению одного художника, одного человека?»

Мысли эти мучительно, трудно вертелись в голове Арсентьева, и пока он был в Москве, и по дороге, в электричке, и в Туле, и в вечернем автобусе, и дома в Филимонове, когда он вернулся туда.

Перво-наперво Виктор бросился к своим эскизам, к игрушкам, которые недавно они вылепили со Степаном. Сделал он это прямо с порога, не успев умыться, бросив как попало вещи. Он с нетерпением перебирал свои

работы, оценивая их быстрым взглядом, откладывал в сторону, брал другие, возвращался к прежним. Делал это Арсентьев с тайной надеждой, что придуманные им игрушки окажутся все-таки талантливыми, живыми, необходимыми глазу. Это невозможно рассказать словами, объяснить, но как художник он должен был почувствовать это живое безошибочно и мгновенно. Однако на сей раз его собственные произведения не показались ему столь привлекательными, как раньше, не вызвали в нем радостного чувства удачи, наоборот, в нем возникло раздражающе колкое беспокойство. И оно не проходило. «Кажется, дело — дрянь, — испуганно подумал Арсентьев. — Кажется, это эклектика, с миру по нитке... Значит, я... значит, у меня банальный стереотип мышления, тот самый, над которым я издевался, когда видел его у других. А мне кричали, что я талантлив, и я верил этому». Он почувствовал слабость в ногах, и в руках, и во всем теле. «Да, дело — дрянь... Может быть, я вообще никакой не художник, так, служу миражам. Тогда все бессмысленно... Жалкие потуги, и больше ничего». Но надежда опять шевельнулась в нем, и стала утешать, и по-женски жалостливо убеждать его, что, может быть, все еще не так, как ему кажется, что хватит сегодня мучиться, завтра еще будет день, и он сможет заново, утренними глазами, посмотреть на свою работу. Арсентьев взял пуловер и пошел к Грачевым.

Ни Клавы, ни Степана дома не оказалось. Арсентьев отдал посылку старшему грачевскому мальчику и наказал передать матери. Потом вернулся к себе и лег спать. Проснулся, когда было звездно в окнах. Вышел во двор, постоял. Свежесть. Млечный Путь белеет, пылит в небе. Женщины поют далеко, не в Красенках; может быть, на другом конце Филимонова. Арсентьев умылся, набросил пиджак на плечи и пошел туда, где поют.

Женщины пели у дома Масленниковой, за вторым поворотом кривой филимоновской улицы. Арсентьев остановился шагов за двадцать от поющих и так, стоя в тени, слушал их. Ни мужиков, ни девчат здесь не было, пели одни бабы, собравшись по какому-то случаю. Среди поющих Арсентьев разглядел и Клаву Грачеву, услышал ее голос, неожиданный, глубокий и нежный:

Ой, игрушечки-свистулечки,
Занятные дела.
Полюбила я нечаянно,
Любила, как могла...

И откликнулась, зазвучала в Арсентьеве молодая тоска по женщине, которая беззаветно любила бы его, по ее рукам, порывисто обнимающим, по ее дыханию, по ее сочувствию, по ее голосу, глубокому и нежному, который бы пел для него одного чудные песни и шептал ему на ухо тихие благодарные слова.

Я твоей любовью бедная,
Но вослед не побегу.
Почему я птицей белою
Обернуться не могу?

Мягко распластываясь, летела песня. «Я кругом несчастлив», — подумал Арсентьев, резко повернулся и пошел прочь. Женские голоса стали отдаляться, а потом и вовсе затихли.

Смутно белеет тропинка под его ногами, блестит трава. Ночь стоит — не шелохнется. В сущности жизнь мгновенна, неуловима, а сейчас кажется неподвижной. И молодая тоска обостряется в нем, и звучит больнее — это уже тоска по бессмертию, это жгучее желание выразиться, воплотиться в том, что пусть останется и неизвестным, но останется и будет жить после него, всегда... Он услышал шаги за спиной, совсем рядом, вздрогнул, обернулся. Это была Клава.

— Гуляем, ночь пополам ломаем?

— Ну-да... вроде этого.

— За пуловер-то спасибо. Как она там, Гавриловна?

— Приедет скоро.

— Долго гостит нынче, омосквичилась, небось. А вам не скучно у нас?

— Нам не скучно.

Клава засмеялась коротко, подошла поближе. Дерзкие, ласковые глаза были слегка нетрезвыми. Рот словно кривился в усмешке.

— Вот вы ученый-переученый, а что завтра станется, не знаете?

— А что завтра должно такое случиться?

— Завтра-то?! Завтра мне 31 годочек стукнет, вот

что случится... На убыль пойду,—она засмеялась.— Сегодня последняя ночь, когда я тридцати годов еще.

— Вот ночь и выдалась такая.

— Да, уж ночь, как подарок!..

Клава быстро глянула на Арсентьева и заговорила тихо, почти шепотом, переходя на «ты»:

— Знаешь, художник, пойдем погуляем, отгуляем эту ночь... Пойдем! В поле, у реки сладко, страшно, в воде серебро толкается...

— Иди, Клава, домой.

— Дома-то что? Не сидится нынче...— Она вздохнула.— Ребятки спят. Степан еще завтра вернется... Сегодня с бабами гуляла, а завтра с ним вдвоем спразднуем без никого.

— А где Степан?

— Плотничает с бригадой. За Одоевом где-то... А хочешь, к тетке моей сходим, тетку проведем. Это верст за пять отсюда... Вот удивится!

Арсентьев почти не понимал, что происходит. Близко, совсем рядом в ночной неподвижности темнеет-белеет Клавино лицо. И смотрит она на него не дерзко, не насмешливо, как всегда, как минуту назад, но глубоко и нежно, преданно и по-бабьи сочувственно. И он вдруг подумал, что беззаветная любовь может быть и короткой... Беззаветной и короткой.

— Иди, Клава, домой.— Арсентьев отстранился слегка от нее.— Иди.

— Робкий ты, Витька,— Клава чуть наклонила голову.— Совсем робкий. Смотрела я, по-другому думала.— Взгляд ее опять сделался дерзким и насмешливым.— Приходи утром на речку, ранехонько только. Как развидняется, сразу и приходи. Туда, где дерево поваленное... Придешь, утром-то хоть не спобеешь?

Арсентьев пожал плечами, ничего не сказал. И Клава ушла. Резко, быстро. Мелькнула несколько раз в тени, на свету и исчезла. Арсентьев — как проснулся; долго смотрел в ту сторону.

Ночью он ворочался на своем узком топчане, мучался. Нет, все-таки он рассудочный человек, слабак, раз не пошел с женщиной в поле, к реке, тетку ее искать где-то за пять верст. Слабак он: женщина ведь звала. И все слышалось ему: «...пойдем, погуляем, отгуляем эту ночь», «сладко, страшно», «в воде серебро

толкается». Виделось Арсентьеву отчетливо, как идут они с Клавой через лог, проселком, как блуждает в поле какой-то огонек, а поле шуршит, шевелится, и лицо у Клавы неясное, бледное и серьезное.

Едва задремал он, как почувствовал, что светает. Открыл глаза. Окна чуть забелелись. Пойти ли к речке? Засмеет ведь. Или сама не придет... Он поднялся и стал натягивать брюки. Нет, должна прийти, обязательно придет. Он захотел ее увидеть именно сейчас, рано утром, там, внизу у реки.

Было зябко, туманно; перекликались петухи. Во дворах уже проснулась, зашевелилась жизнь. В избах по-утреннему чисто светились огоньки. В воздухе острился тончайший запах дыма. Арсентьев шел спешно, но внутренне таился, никого не хотел встречать. На крутом спуске поскользнулся, наступив на мокрую от росы палую ветку, чуть не растянулся. Клаву он заметил издали, она стояла у поваленного дерева, спиной к Арсентьеву, неподвижно. Он подошел, она не обернулась даже. И он ничего не сказал, не назвал ее, не поздоровался. Так они стояли молча. Наконец, вдали возникла огненная точка, и вспыхнул, заиграл, распылился первый, кажется, зеленый луч. Все стало преобразаться, приобретать объем, теплоту.

— Красиво,— вздохнула Клава.— А почему от красоты бывает тоска?

— Не знаю,— сказал Арсентьев.— У кого как.

— Ну да,— согласилась Клава.— Небо зеленое — там, на окоёме, видишь? Солнце красное. Речка синяя. Только-то день непочатый был, а уж потек, посыпался... Пойду, делов полно.— Она обернулась к Арсентьеву. Глаза у нее за ночь стали глубже, холодней, под ними тени легли. И точно притихла в этих глазах, утилась насмешливая колючесть, сквозная тяга, веселая жажда бытия. Клава ушла; Арсентьев продолжал следить, как, чуть зависая, поднимается солнце. «Зеленое, красное, синее. Все разделено в ее глазах. Так и берут они краски для своих игрушек у солнца, у поля, у речки... Здесь же дна не видно!»

Зеленое, красное, синее. Все, действительно, раздельно пока. Но скоро вспыхнет желтое, золотистое, возникнут тона, полутона, затрепещет согретый воздух. И весь этот мир с лежащими внизу деревнями, с рекой Упой, петляющей до горизонта, с гребешками

малых лесов по обеим ее сторонам, с одоевской водонапорной башней, виднеющейся вдали... весь этот мир скоро наполнит неуловимая текучесть красок.

10

Женщины были на полевых работах, стояла страда; и в цехе оставались только Митрофановна и Авдотья Чуева, подвижная, круглая, смешливая женщина, одногодка и подруга Любани Ивушкиной. Арсентьев заглянул в приоткрытую дверь, но его не заметили. Митрофановна тупо уставилась на один из его эскизов, а Чуева, медленно работая деревянной пичужкой, пыталась лепить молодущку по новому образцу. Уезжая в Москву, Арсентьев оставил им эскиз, показал на примере, как что делается, попросил, пока он будет в отъезде, поучиться новым приемам, пощупать непривычные линии.

Арсентьев хотел уже войти, когда Чуева бросила неожиданно пичужку, смяла глину и заплакала: «Не выходит у меня... не умею, хочь убей... И руки накладные не умею... И никто из наших...» Митрофановна вскочила, выругалась в сердцах, сплюнула: «Тьфу, пропади ты пропадом! Свистун этот Витька-то, свистун, и только! Личность в газете свою пропечатал и воображает, сучий сын... Пойдем к Ивушкиным, Авдотья! Корешка заведем... Бабы вернутся, скажем...» Арсентьев растерялся. Надо было тут же, сейчас же зайти, сказать: «Извините, бабоньки, извините меня...» Но он не мог ни зайти, ни сказать, ни шагу сделать. «Самолюбив я, отвратительно самолюбив», — подумал Арсентьев и осторожно, стараясь не скрипнуть, не задеть ничего, выбрался наружу, посмотрел на свои изделия, почти спокойно подумал: «Конечно же, это — эклектика, вздор! И острые линии, и геометрические фигуры на росписях. Все это назойливо, претенциозно, просто глупо». Он вынес игрушки во двор и разбил их, а эскизы изорвал. Потом вернулся в дом, долго рассматривал старые филимоновские свистульки. В нем снова что-то загорелось, забилося, не находило выхода. Он принялся писать письмо, по многу раз ошибаясь, вычеркивая и вставляя слова:

«Милая Соня!

Всё, что я Вам рассказывал, все эти оригинальные

формы, которые мерещились мне, все это вздор, чистейший вздор! И даже — теперь я вижу — несколько не оригинально. Я ведь балда: Степан, помните, я Вам о нем писал (который лепит гениально), похвалил мои игрушки: красиво, мол, на городские похожи. Я тогда не понял смысла его слов, да и он сам, наверно, не понял, что сказал. Похоже, похоже, — на все похоже! У него острейший глаз. На кой же черт такое новшество, если — на все похоже! А внутри тогда что? Пусто, корешка-то нет. Понимаете, пусто! Хорошо, еще поймал себя, схватил быстро, а то бы развернулся, стал бы на рожон лезть, прекрасное корезить. Тут бы мне и крышка! Знаете, когда коса на камень находит, искры летят, правоту не разглядишь. Я ведь знаю себя, ожесточился бы. Пришлось убираться из Филимонова восвояси. И дело бы на четверть пути бросил, а потом бы сам мучился. Знаете, Соня, здесь две женщины по моей просьбе пытались лепить по-новому, но у них выходили уродцы. Возможна ли в этом деле импровизация? Не знаю, наверно, возможна. Ведь у каждой мастерицы свой почерк. Но ведь это художественный промысел, а не художественная самодеятельность, понимаете, промысел. Это так просто, а я никак до этого дойти не мог. Старинное дело, хлеб их насущный... Промысел функционален от многого. Я понял: здесь всё не случайно. В данном случае можно улучшить, углубить, но не изменить в корне, в принципе. А я хотел менять в принципе, хотел удивить свет какими-то сверхнеожиданными игрушками, диковинами. Вот я какой, Витька Арсентьев, полюбуйте, чего выдумал! Боюсь, Соня, что и эта страсть меня тайно влекла в Филимоново... Такие дела. Когда я понял эклектику своих творений, я вдруг по-настоящему увидел, как прекрасны старые филимоновские игрушки. Как плавны, вытянуты, современны — да, и современны! — эти линии. И как условны! Разве похож вот этот петух на обыкновенного петуха? Сказка. И ни капли нарочитости; веришь этой условности: она не нарочна... Вот я, кажется, нашел это слово — не нарочна! Сижу я сейчас и смотрю на эти глиняные свистульки, столько за ними прячется, и не разглядишь всего. И, правда, ни одна игрушка на другую не похожа, у каждой свое лицо...»

Арсентьев положил ручку и подумал, что, может быть, он так сильно переживает случившееся, так бо-

леет именно потому, что его честолюбивые намерения не состоялись. В честолюбии жила, наверное, хорошая тяга, был азарт. А что сейчас будет? Есть ли в нем чистый интерес к филимоновскому промыслу как к такому? Способен ли он, Арсентьев, здесь долго прожить, работая кропотливо, негромко, без фанфар, без статеек о нем. Надо все как следует понять в себе. Если интерес этот поверхностный, слабый и радужный, как мыльный пузырь, тогда он быстро завянет, лопнет; сам Арсентьев станет в тягость себе и людям, работающим под его началом. И очень важно: то ли выбрал, своим ли делом живешь? Не за свое принялся, лучше сразу обрубай, не морочь голову ни людям, ни себе. Правда, можно и не своим делом пробавляться, только если оно удачливо и легко идет. Но, может быть, здесь не в честолюбии дело, вернее, не только в одном честолюбии, ведь он, Арсентьев, работал с таким напором, столько вложил энергии, фантазии и восторга в свою затею, так простодушно верил, что он создает шедевры, до которых сроду не поднимались филимоновские мастерицы? Он полюбил свои создания, привязался к ним. Оказалось вдруг, что они претенциозны, искусственны, эклектичны по сути своей. Что с того! Это было созданное им. И Арсентьеву стало жаль, хоть сначала он и не признавался себе в этом,—разбитых игрушек, изорванных эскизов. А потом понял, что жаль, и виновато улыбнулся: «Своя-то дель, не чья-то!» Мелькнуло в сознании филимоновское словечко.

Так он и сидел в раздумье, когда вошел Корешок, маленький, весь из себя сияющий, овеванный теплым светом, в мягкой курточке, прилежно застегнутой на все пуговицы. «Чего сидишь, сгорился, Василич?» — спросил он Арсентьева. «Сгорился» — какое ласковое слово,—подумал Виктор, никогда он такого не слышал.— Не от горя ли? Верно, от горя, да не то чтобы от большого, а так... сгорился, задумался, плечи опустился».

Арсентьев слушал старика, а сам поворачивал, вертел это слово, нравилось оно ему, и представлял, каким его, Арсентьева, увидел Корешок, когда сказал так. Горбун рассказывал всякую всячину, а сам приглядывался к Виктору. Позвал к ним вечерять, сказал, что Верка вернулась, какой-то экзамен не сдала. Арсентьев кивнул, что придет, а сам продолжал думать о своем

и потом вдруг с какой-то полужеланности отчетливо услышал: «...с вечера всё хорошо кажется, захмелеешь от радости, наутрие посмотришь тверезыми глазами, душа захолодет: все не то! Душой болел, как болел! Непропеченный потому как был. Одно слово — непропеченный. А мужиком сделался, не то сносил». Арсентьев пропустил начало и не мог понять, о чем же шла речь, но уловил, что каким-то образом она касалась и его. Оставшись один, он сообразил, что забыл на дворе, не прибрал разбитые игрушки и что Корешок не мог не приметить этого.

Солнце уж стало заваливаться за горизонт, когда Арсентьев вышел на улицу и встретил Степана Грачева. Степан вернулся из-под Одоева, просмоленный солнцем, с выгоревшими просяными, почти белыми бровями и ресницами, с медленной усталостью в движениях. Арсентьев не утаил от него, что уничтожил новые игрушки и все, что касалось их: эскизы, расчеты, вырезки, шаблоны.

— Зря разбил, — спокойно сказал Степан. — Бабы уж точно бы не делали, у них своя дель, выстраданная. А так уж чего бить? Я ведь свои не бью.

— Ты — другое дело! Твои фигурки сохранять надо. Они живые.

— И твои сохранить надо было, зря разбил. И твои — живые... Живой человек делал, значит, живые.

Всё не шли из головы Арсентьева последние слова Степана. Нехитрые, негромко сказанные и на случай, они зацепили какое-то колесико в сознании Арсентьева, повернули, отпечатались в этом сознании, обозначив, может быть, новый незнакомый поворот в нем. Живой человек делал! И этого одного уже достаточно, чтобы вызвать пристальное внимание, уважение к тому, что он сделал, осторожность в оценке, скромность. Все это натурально жило в Степане. Жило ли это в Арсентьеве, было ли его внутренним правилом? Виктор стал вспоминать, перебирать разные свои поступки, недавние, прошлые, совсем давнишние и по-другому смотреть на них.

По-другому он взглянул и на Ивушкиных, когда вечером сидел у них: на хозяина, на Любаню, на Корешка, на Веру, на всех вместе — за столом; на белую старомодную скатерть, на стиранные занавески, на

книжный шкаф и этажерку с книгами, на темный потрескавшийся портрет Лобачевского, на скобленные, светлые, свежие полы. Так хорошо ему было сейчас здесь и славно, и он ощущал всем существом дух скромности и серьезности, который лежал на каждом предмете в доме сельского учителя. И раньше, живя несколько дней у Ивушкиных, Арсентьев видел это, но пропустил мимо сознания, а теперь разглядел и принял с радостью. И хозяина он увидел точно в первый раз: его суховатое лицо, высокий рост, худобу, серые близорукие глаза. И Вера изменилась: из глаз ее исчезло то легкое, девичье, смешливое, что когда-то уловил Арсентьев, и появилось новое, веселое-грустное, неуловимое. Вся она стала строже, в новом платье, которое было ей к лицу; сидела тихо, таилась, раз-другой посмотрела на Арсентьева. И ему показалось: она вовсе не опечалена, что не прошла по конкурсу и вернулась домой.

Потом Арсентьев с учителем и Корешком курили во дворе. Учитель усмехнулся:

— Испугали вы филимоновских женщин, Виктор Васильевич, прибегали они к деду нашему, жаловались, будто вы игрушки старые запретить решили.

— Запретить?! — удивился Арсентьев. — Вот уж не умею. И потом вздор ведь это.

— Я им про то же толковать стал, — воодушевился Корешок. — Но они-то, Авдотья и председатель ихнего бабства, разгоряченные, одна плачет, другая кричит.

— Митрофановна, что ли?

— Кто же еще, она и есть председатель бабства. И ну меня шпынять, чтобы я к тебе шел: у них, мол, складно не получится с тобой говорить.

— Людей легко обидеть, — раздумчиво сказал Ивушкин. — Особенно старых да малых. Самому случалось. Человеку-то столько за жизнь пережить приходится. Это неукоснительно помнить надо. Нетерпенье — сердцу не подмога. А то на повороте занесет, глядь, а человека обидел...

Придя домой, Арсентьев вспомнил, что не закончил письмом Соне, и обрадовался, что оно не закончено. Он смутно догадывался, что слова его найдут сочувствие. Сочувствие было так необходимо. И он принялся жадно писать:

«...Нужно ли отдавать предпочтение старинному на-

родному искусству перед игрушками, которые изобретаются сейчас? Это так же глупо, как пытаться с наскока изменить старинный промысел. Ничего не сделаешь: темп его изменений другой, он исчисляется десятилетиями, веками. Представляете, Соня, филимоновские игрушки начали делать задолго до рождения Пушкина, а делают и по сей день, причем в первородном виде. Попробуй вмещаться! А ведь я сам чуть не продал душу черту. И, желая качественно обогатить промысел, мог бы привести его к оскудению. Может быть, все-таки зря я разбил свои игрушки, хотя они, конечно же, не стоят ничего. Но если бы даже эти игрушки сотворил не я, а сам Пикассо, все равно не надо было насильственно прививать их черты филимоновским свистулькам. Это два разных потока. Вот что я уразумел наконец-то и на всю жизнь. Есть вещи посложнее: почему, например, условность игрушек, которые я разбил, была назойлива, нарочита... а условность, причем явная, филимоновских свистулек вовсе не нарочита и даже приятна для глаза? Это для меня тайна. Буду следовать филимоновской традиции, постараюсь всмотреться во все ее подробности и понять. И вот еще о чем я думаю: есть ли во мне материал для того, чтобы стать настоящим художником, маленьким ли, большим ли, но настоящим? Вот видите, я уже говорю: «маленький или большой», а раньше я иначе не думал, кроме как — большой. И смешно, что задумался над этим сейчас, когда и кисть в руки не беру, весь в другом, в людях, в промысле, в глине; в мелочах, казалось бы. Художник, человек я... Видите, пришло время, и ваш друг тоже стал задумываться над вечными вопросами. Хочу определить себя, построить ли, достроить себя или перестроить, уж и не знаю что, но определить. А то ведь столько дров еще наломать могу, зачем... Знаете, бывает первая уверенность в себе, от незнания — это детство, потом вторая уверенность — от переизбытка собственных силенок. Эта наглая уверенность, и, как я понимаю теперь, она на слабых ногах и подвержена страху; а еще есть третья уверенность, в ней нет и тени наглости, она бесстрашна, она не кричит о себе. Это достоинство человека и мастера, определившего себя. Вот о чем я мечтаю. Вот чего хочу достичь.

Итак, Соня, перед вами расписаны страдания молодого Арсентьева. Извините, что сумбурно, но перечи-

тивать не хочется, а править — скучно. Улыбнитесь над всем этим, тем более что улыбка у вас добрая. Что я думаю делать? На новой основе технически усовершенствовать филимоновский промысел. Наладим производство игрушек, а там и завод гончарный, может быть, поставим (какие здесь глины, вы сами знаете!). Это идея учителя Ивушкина, и, по-моему, она замечательная. Пишу это без пыла. Если бы от меня...»

Арсентьев вдруг вспомнил взгляд Веры Ивушкиной и перестал писать. «Тихая, невзрачная, дичок какой-то,— подумал он.— Гордая, должно быть. Но, кажется, она действительно не переживает, что не поступила... А может, и переживает, у таких ведь не узнаешь».

Письмо он так и недописал.

Что это? Темные, голые, тонкие, вздрагивающие ветки прокалывают влажный воздух. Небо серое, облачное. Все бесцветно, будто растекается. Арсентьев явно ощущает себя, видит каждую подробность. Он идет этим лесом, и ничто ему не кажется странным, хоть он знает, что листья еще не должны были облететь. Он видит перед собой огромные неподвижные фигуры всадников, зверей и птиц. Фигуры поднимаются над скоплениями серых вздрагивающих веток. Он задирает голову, чтоб как следует разглядеть эти фигуры, и не может понять, глиняные они или живые. Они стоят далеко друг от друга. «Как прекрасны все-таки тысячи оттенков черного и белого,— думает Арсентьев.— Я никогда этого раньше не замечал». Ему не страшно: гигантские глиняные фигуры не угрожают, они добры. Но он теперь точно понял, это — изваяния. Но что-то беспокоит его, он всматривается в чашу, идет дальше и видит белую лошадь, ту самую, которую в детстве он искал, когда в ночном под Епифанью сторожил с мальчишками табун. Это та самая, с черным пятном на левой стороне морды. Арсентьев несколько не удивился, все так и должно быть. И эти тонкие голые ветки, и эти глиняные фигуры, и эта белая лошадь. Он сел на нее, и она пошла шагом, потом перешла на легкую рысцу, потом понесла его сквозь сетчатое, словно морозящее мелколесье. Он припал головой к ее холке, спасаясь от мелькающих веток. Он чувствовал, что и лес, и душа его насквозь обнажены, и ему приятно было ощущать это белое живое существо, движущееся, горячее, знакомое с незапамятных времен его дет-

ства. Лошадь вынесла его из леса; распахнулся простор с черной поблескивающей, петляющей до самого горизонта рекой. Арсентьев дышал влажным текучим освобожденным воздухом, который обдавал его и смешивался с острым запахом разгоряченной лошади. Солнце наполнило пространство бесцветным сиянием. Это был удивительный непередаваемый свет. Вдруг лошадь остановилась. Какая-то женщина протянула Арсентьеву руку. Потом они шли с ней, и он не знал, кто она. Но он сразу и безошибочно почувствовал, что между ними нет никаких преград, что это близкий ему человек. Они наткнулись на лесной колодец, едва светившийся сквозь траву, окруженный кочками. Она указала ему взглядом на колодец. Арсентьев нагнулся и заглянул в глубину. Из глубины поднимались и рассыпались в чистой воде белые иголки. Они нашли родник! В родниковом зеркале возникло лицо женщины, ее глаза с неуловимым выражением веселья-грусти. Арсентьев встал на колени, приблизился к воде, сухие травинки укололи его лицо. Он узнал этот взгляд, его неуловимость. «Что за глаза у тебя?.. Что за глаза?..—прошептал Арсентьев.—Ласковость в левом, в правом — печаль. И еще что-то. И раскольничья чистота!» — обрадовался Арсентьев. Ему показалось, что он сложил стихи.

11

Утром Арсентьев никак не мог вспомнить слова, которые придумал во сне. Надо же, чуть ли не в первый раз стихи написал и забыл. Ему казалось, что они были необыкновенно удачными, четко определенными. Арсентьеву захотелось увидеть Веру и поговорить с ней; она очень даже может оказаться другой, не такой, когда рядом отец, мать или дедушка. «Станный все-таки сон», — подумал Арсентьев. Он наскоро выпил кружку молока, отрезал горбушку непропеченного хлеба, стал готовить яичницу. В районной газете ему на глаза попались стихи учителя Бурмистрова:

Бабье лето, — не оттого ли,
Что косынок не видно в поле?

Бабье лето на редкость стояло доброе, с летающей паутиной, сухими солнечными днями. Последними теп-

лыми днями года. Арсентьеву предстояло сегодня очень важное дело: он решил на миру отобрать лучшие игрушки у всех филимоновских мастериц, чтобы потом через Союз художников послать на международную выставку. Это нужно было сделать затем, чтобы поднять престиж мастериц, чья продукция шла в магазины через Крапивинский обозный завод, то есть поднять престиж нового цеха. До сих пор на выставки посылались игрушки только тех четырех женщин, которые работали на Художественный фонд. Считалось, что их свистульки выше качеством. И это была правда. Но если бы удалось пробиться на выставки и другим мастерицам, если бы цех получил высокое признание, то было бы легче сделать и следующий шаг: объединить промысел в одних руках, под одним началом. Арсентьев был настроен решительно. Он собирался уже выходить из дому, когда в дверь постучали. Перед ним стояли две незнакомые девушки с чемоданами, с этюдниками. «Кто такие? Откуда?» — удивился Арсентьев. У них — свеженькие, миловидные, чем-то похожие друг на друга, лица. Одна чуть постарше, но каждой не более двадцати. Вид совершенно счастливый. Не успел Арсентьев и рта раскрыть, как они ему все объяснили. Зовут их Нина и Валя. Нина — из Омска, Валя — из Серпухова. Они сдавали экзамены в художественное училище, но не прошли. В Москве, на экзаменах, и познакомились. Прочитали в газете заметку «Филимоновское искусство» и решили поехать в Филимоново поработать, а на следующий год опять попробовать поступить. «М-да, заметка... Рановато вы, девочки, приехали. Что же мне с вами делать? — подумал Арсентьев. — А может быть, в самый раз, кто знает?»

— Ну что ж, Нина и Валя, ставьте вещи и пошли.

— Сразу!! — удивилась Валя.

— Сразу. Мы будем отбирать лучшие игрушки для выставки. Посмотрите.

— Великолепно! — сказала Нина.

— Да, совсем забыл, вы же проголодались с дороги, наверное?

— Нет, нет, мы потом, — заговорили девочки, обе сразу. — Мы с вами... Пойдем... мы посмотрим...

В цехе уже было полно народу. Бабы одеты по-праздничному, волнуются, разговаривают, шумят. Здесь Митрофановна, Клава Грачева, Любаня Ивушкина и

Вера, Авдотья Чуева, Масленникова и все другие. И, кроме того, Степан Грачев, Ивушкин и Корешок. На Нину и Валю бабы посмотрели с удивлением, настороженно. «Это еще что за крали?» — услышал Арсентьев Клавин шепот, обращенный к Любане. Он объяснил, что Нина и Валя — будущие художники и что они приехали в Филимоново поучиться. По Клавиному лицу пробежала усмешка; усмехнулись и Митрофановна, и Авдотья Чуева. Но про девочек вскоре забыли, стали показывать свои старые игрушки, спорить. Митрофановна считала, что надо отобрать как можно больше, что все должно пройти.

— Руки у нас всех ученые, у всех угадливые, — настаивала Митрофановна, — что у Клавки, что у меня, что у Зайцевой. Главное-то, синика! Из другой глины так не сделаешь, рассыпится. Зайцевой вона в Тулу аж возят синику-то. От художников грузовик приходит, ее выручают...

— Ну, что мелешь, что мелешь, Митрофановна!.. — высоким голосом выкрикнул Корешок. — Что тебе Зайцева-то, заместо бельма?..

— А ты не встревай, Корешок, в бабьи дела, — обрезала его Митрофановна.

— Бабий ваш разговор, а не бабьи дела, — рассердился горбун.

Женщины зашумели:

— Будет хороводиться... Давай дель смотреть.

И, наконец, все попритихли, стали игрушки рассматривать: каждую мелочь, каждую подробность брали в расчет. Арсентьев следил за тем, чтобы линии на переходах были плавные, легкие, чтобы элегантность была и чтобы фактура материала в тех местах, которые не закрашивались, была отчетливо видна. Он знал, как это ценится знатоками. Корешок не обращал пристального внимания на элегантность линий и подчеркнутость фактуры, он следил за тем, чтобы свистульки весело гляделись, чтобы краски светились. В игрушках, которым он отдавал предпочтение, жила какая-то наивная мудрость и неказистая выносливость. Степан Грачев был не очень придирчив, но взгляд его безошибочно находил в этих глиняных фигурках, поначалу ему одному, может быть, только и видимое, излучение доброты, которое он любил в сочетании с неяркостью натурального цвета. Клавины игрушки частью были

именно такими, другой частью — яркими, звучными, сделанными размашисто, горячо. Арсентьев только сейчас обратил внимание на эту раздвоенность, на это различие в Клавиной работе. Но самое странное, что и то и другое было сделано одинаково талантливо и сделано, безусловно, самой Клавой. Ее свистульки, вместе взятые, были переменчивы, завлекательны и своей раздвоенностью беспокоили, одновременно отталкивая и притягивая к себе. Степан, чуть нахмурившись, выбрал у жены, как и у других женщин, игрушки, которые ему нравились. У Клавы щеки пошли пятнами, и в глазах метнулся острый недобрый огонек. Арсентьев, может быть, прибавил бы к отобранному Степаном и те Клавины свистульки, которые были яркими, но решил в данном случае не перечить Степану, поверил справедливости его выбора.

В отличие от Грачева учитель Ивушкин подолгу рассматривал каждую глиняную молодушку, каждого всадника, поворачивая их и так и этак, был придирчив и даже педантичен, выделяя игрушки наиболее правильной, как ему казалось, формы. Иногда Ивушкин, Арсентьев и Степан переглядывались, на губах у них обозначалась улыбка, и это значило, что им безоговорочно понравилось одно и то же.

Женщины были возбуждены и все больше волновались от любопытства и неизвестности, радовались, вздыхали, обижались. Наконец, игрушки были отобраны. Теперь предстояло их отвезти в художественный фонд и доказать специальной отборочной комиссии, что эти глиняные фигурки тоже имеют полное право представлять филимоновский промысел на международной выставке.

Когда стали расходиться, Арсентьев, вспомнив про Нину и Валю, улыбнулся им:

— Ну как, девочки, понравилось?

Он заметил Веру. Она выходила из цеха одна, отстав от матери, и на ее лице было выражение радостного внимания ко всему вокруг. Русые волосы ее прекрасно и мягко светились в полуденном свете, совсем по-другому, чем тогда, в утреннем, когда Арсентьев увидел ее в первый раз. Он вспомнил вчерашний сон, неожиданно для самого себя подошел к Вере и сказал почти беззвучно: «Приходи к реке, где старый мост, в пять часов». Вера испуганно посмотрела на него и про-

шла мимо. Арсентьев вернулся к девочкам и повел их к себе. Он сделал им яичницу, согрел чай, а сам все думал, как это ни с того ни с сего он подошел к Вере. И вспомнил ее испуганные глаза.

Нина и Валя с аппетитом ели, смеялись, рассказывали о себе. Они не были развязны, но не было в них и застенчивости или робости, которая случается с девушками при первом знакомстве. Арсентьев подумал, что если бы он только заикнулся, они с превеликой радостью остались бы у него жить, расположившись в одной из комнат. Но при всей своей общительности девочки оставались далеки от Арсентьева. Они были всего-то на шесть-семь лет моложе его, однако принадлежали уже другому поколению с другими вкусами, с другими пристрастиями. Ребята этого поколения — решительные, насмешливые, без тени сентиментальности даже — нравились Арсентьеву, но он не всегда понимал их. А при девушках, таких, как Нина и Валя, чувствовал себя иногда чуть ли не старичком и терялся, тяжелея.

— А когда вы будете игрушки изменять? — спросила Нина, которая была помоложе.

— Изменять, зачем? — отозвался Арсентьев.

— Как «зачем»?! А в газете писали.

— Тоже, скажешь же ты, Нинка, — засмеялась Валя.

— Видите ли, — смутился Арсентьев, — были тут попытки, но делать этого ни в коем случае нельзя... Это великая традиция.

— Что великая, ежу понятно, — воскликнула Нина. — Но разве покрасивей нельзя?

— Что значит, ежу понятно! Что значит, покрасивей!

— Так у нас мальчишки говорят... Ежу понятно, когда прозрачно.

— Не так уж это прозрачно, — усмехнулся Арсентьев. — Это только кажется, что прозрачно.

— А знаете, Арсентьев, мы бы попробовали, — сказала Валя. — Вы отказались, а мы бы... Знаете, какие игрушки придумать можно, закачаешься!

Арсентьев нахмурился, глянул исподлобья на девочек, а потом ему стало смешно, и он не выдержал, рассмеялся.

— Почему вы смеетесь, Арсентьев? — удивилась

Баля.— Можно такие современные линии закатать, ломаные...

— Да, можно закатать...— хохотал Арсентьев,— современные... ломаные... Можно закатать, девочки... После объясню, чего смеюсь.

Всё, что угодно ожидал Арсентьев, только не этой комической ситуации, которую преподнесла ему жизнь. И он увидел себя небритого, счастливого, день и ночь рисующего, изобретающего с азартным простодушием новые формы, желающего поразить всю округу художников и весь белый свет, а потом пишущего исповедальные письма Соне. Он смеялся над собой, нисколько не жалея, что все это произошло.

Было уже без двадцати пять, и Арсентьев, уходя, сказал девочкам, что, когда он вернется, он пристроит их где-нибудь: либо у Масленниковой, либо у Авдотьи Чуевой, а лучше всего — у Митрофановны. Ее дом в самих Красенках и ближе всего от цеха.

Арсентьев шел и думал, что он сейчас обязательно расскажет Вере эту смешную историю про девочек и про самого себя. И про свой сон. И, может быть, даже про белую лошадь, которую он искал когда-то в детстве. И даже, может быть, про родник, который они вместе с Верой нашли. Ему очень хотелось увидеть сейчас эту худенькую диковатую девочку и поговорить с ней. Он знал, что все будет естественно, он встретит ее и скажет...

Арсентьев спустился к реке, прошел берегом к тому месту, где когда-то был мост, а теперь осталось несколько редких темных, трухлявых балок, по которым даже мальчишки уже не отваживались переправляться на другую сторону. Было ровно пять. Он постоял, походил. Прошло пятнадцать, двадцать минут, тридцать. Вера не пришла. Арсентьев вспомил, с каким идиотским видом он сказал ей: «Приходи к реке, где старый мост, в пять часов». Ничего более пошлого придумать нельзя было! И Арсентьев опять посмеялся над собой, но на этот раз грустно.

12

После этого случая Вера точно повзрослела. При встрече с ней и во время редких коротких разговоров Арсентьев чувствовал себя неловко и смотрел ей в лицо

так, что видел то чистый лоб и русые невьющиеся волосы, то нежную кожу щеки, легко очерченной, то маленький подбородок и часть худенькой шеи; в глаза он не смотрел. А глаза у нее были по-прежнему весело-грустные, неспокойные и особенно чистые в осеннем пасмурном свете. Осень уже наступила всерьез с короткими перебежными дождями, обстукивающими леса и перелески, мосты, проселки, строения, поля. Вера каждое утро приходила в цех, приглядывалась, примеривалась и сама уже потихоньку начала лепить, учась у матери и других мастериц. Лепила она еще робко, и свистульки у нее выходили пока неприглядные, но руки ее, худенькие, крепкие, чуткие пальцы, уже начинали что-то соображать, проникая в малые секреты дела.

Вера Ивушкина только-только постигала старинное филимоновское ремесло; иногда ей казалось, что она не учится у матери своей, Любани или у Авдотьи Чуевой, а вспоминает что-то полузабытое, уснувшее в ее памяти, размытое, запорошенное. В такие минуты ею овладевало томительное и радостно-тревожное предчувствие какого-то изначального праздника, душа ее напрягалась и сосредоточивалась в самой себе и на том, что она делала, потому что это становилось частью ее самой.

— Прилежничаешь, — смеялась над ней Клава Грачева. — Вона каких уродцев нарожала. Что у тебя, Верка, свистульки такие квёлые? Срамота одна.

— Цыц! Что девку муторишь, — рассердилась Митрофановна. — Змеиное твоё горло! погоди, приладится, тебя еще обскачет.

— Держи карман шире! — засмеялась Клава, но примолкла.

Во время работы женщины иногда пели негромко и протяжно, и песня точно отсвечивала в их глазах и помогала Вере искать плавные длинные линии.

...Шли дни. Будничная, с ее маленькими делами жизнь, которой Арсентьев прежде боялся, захватила его. Теперь после его бурного филимоновского старта, ошибочных поисков, спада, переоценки собственных возможностей, она, эта будничная жизнь, была Арсентьеву даже по душе, он окунулся в нее. Надолго ли это, — он не знал. Его теперь занимало больше всего, чтобы игрушки у всех мастериц были высокого каче-

ства, произведениями искусства, а не поделками, чтобы вся продукция, выпускаемая цехом, была ровной, без изъяна. И он был строг при отборе, придирчив, почти как учитель Ивушкин. Часто бывал в Крапивне. Ездил в Тулу. Добился все-таки, чтобы были посланы на международную выставку в Канаду, наравне с игрушками Зайцевой и Карповой, игрушки и других мастериц. Карпова уже недели три, как вернулась из Москвы, и принялась за дело незаметно и разом, помогая во всем Арсентьеву. А девочки, Нина и Валя, уехали, не прожив в Филимонове и месяца. Он это принял почти так же естественно, как то, что вернулась Карпова.

Однажды, возвратясь из Крапивны, Арсентьев нашел в почтовом ящике письмо от корреспондента, приезжавшего летом. Виктор как раз был не в духе. На обозном заводе не очень-то жаловали филимоновские игрушки. Ящики с ними, косо поставленные, с торчащими углами, непрочны как-то держались друг на друге. При переноске на глазах у Арсентьева разбилось несколько игрушек. У него сердце упало. Он разыскал старшего мастера и на грязном заводском дворе среди телег, бочек и ящиков стал кричать на него. Старший мастер, лысый мужик, от которого разило сырым дымом, дегтем и хомутами, уставился на Арсентьева, не понимая, в чем дело. А когда понял, сипло сказал: «Наградили игрушками! Они мне, как козе баян. На кой черт они мне?!» И скверно, ржavo так выругался.

Виктор устал, был рассержен и голоден, а тут еще письмо от этого корра, в котором сообщалось, что тот задумал написать большой проблемный очерк на филимоновскую тему. Письмо было приветливым, складным и деловым, с целым перечнем вопросов: «Как продвигаются Ваши дерзкие планы по модернизации игрушек? Утверждены ли в центре эскизы и образцы? Разнообразны ли глины в окрестностях Филимонова? Помог ли Вам мой материал, тиснутый дважды (надеюсь, Вы прочли его)?..» и т. д. Затем следовала просьба прислать некоторые характерные детали, касающиеся обстановки и людей, ибо приехать он сразу не сможет, замотан, а получив в руки такие данные от человека сведущего, сможет быстрее помочь делу. В конце стояла подпись: Ю. Пастухов.

«Какой, однако, счастливый характер!» — усмех-

нулся Арсентьев.— Может быть, посоветовать ему назвать очерк «Из вторых рук». И все не знал, как ответить корреспонденту, с чего начать или вовсе не отвечать. Лишь на четвертый день принялся писать ему:

«Уважаемый Ю. Пастухов! К сожалению, не знаю Вашего имени и отчества, так как Вы не успели мне даже толком представиться, так спешили. А потому называю Вас, уж извините, согласно подписи в газете и в конце Вашего письма: Ю. Пастухов. (Арсентьеву даже захотелось написать так: Юпастухов). Отвечаю на некоторые вопросы по Вашей просьбе.

1. Относительно модернизации игрушек. Ни в коем случае этого не делать! Лично я не все понимал, когда пришел сюда. Пока мы видим чистое, без признаков вырождения крестьянское примитивное искусство,— это прекрасно. Я за модернизацию, но только в том смысле, чтобы приобрести глиномешалку, так как этот процесс весьма трудоемкий, также ничего не имею против новой электропечи и сушильных шкафов. Вот о чем можете написать, если хотите помочь нам. Также было бы весьма своевременно отобрать наш цех из-под начала Крапивенского завода. Обозному заводу, занимающемуся хомутами, колесами да полозьями, филимоновские игрушки в обузу. Можете представить критерии и художественные вкусы у принимающей организации! Вот проблема, и ее надо решить. Иначе искусству грозит превращение в суррогат. И об этом напишите! Художественный же фонд наотрез отказывается брать филимоновский цех под свое начало, боясь перепроизводства. Зачем им лишние хлопоты, им вполне хватает изделий нескольких мастериц. Трудное положение. Замкнутый круг. От этого затосковать можно. Повозиться, повозиться, да и махнуть рукой. Но круг надо размыкать. А для полного сбыта продукции необходимо открыть один или два специализированных магазина в Москве, скажем, и в Ленинграде, куда бы поставляли свои изделия филимоновские, дымковские, каргопольские и другие мастера. Напишите, люди Вам спасибо скажут!

2. Помогла ли нам Ваша заметка? Прочтя ее, приехали к нам две девушки издалека. Что они углядели в Вашей заметке, какая жизнь померещилась им в Филимонове? Они умели немножко рисовать и мечтали, наверно, о славе, которая неожиданно должна была им

свалиться на голову. Когда они увидели этих бабок и как они мастерят игрушки, то по своему невежеству стали высказывать сомнения по поводу их талантливости и открыто подсмеиваться надо мной, что я называю их великими мастерицами. Поначалу я был терпелив и пытался все объяснить.

Надо вам сказать, что в жизни не видел таких неприспособленных девчат. Обед сварить — проблема, печь истопить — проблема, зато поспать — мастера. Сначала будил, потом плюнул — надоело. Расстались мы с этими вундеркиндами. Отсюда вывод — бойся людей, которые корчат из себя художников, и без сожаления с ними расставайся. Нина из Омска — 19 лет. Вали из Серпухова — 21 год.

3. Глины. Лично я знаю шесть сортов глин вокруг Филимонова. Некоторые из них по своим техническим качествам приближаются к лучшим фарфоровым глинам. Глины делятся, если вы знаете, на четыре категории: строительные, гончарные, фарфоровые и те, которые относятся к земляным красителям. Так вот, все эти глины здесь имеются. Но рассчитывать, конечно, на возникновение гончарного завода или комплексной фабрики в короткое время не приходится. Однако дело это живое, и я вижу его.

4. Ближайшие перспективы? Говорить о широком производстве на данном этапе, не имея в резерве молодых, смешно и нелепо. Учитель Ивушкин добивается, чтобы обучение филимоновским ремеслам велось на уроках труда в местной школе. А кроме того... Случайный приезд тех девушек, Нины и Вали, как ни странно, натолкнул меня на мысль: организовать при цехе школу, где бы мастерицы передавали свой опыт. Школа на хозрасчете. Своего рода школа-цех. Это может быть вполне реально. Строительство школы и, разумеется, общежития — дело затяжное, но я готов стучаться во все двери и доказывать, доказывать... Надеюсь, что добьюсь своего. Причем ведь в Филимонове делали и прекрасную посуду. Я это говорю не без умысла. Двадцать девушек и двадцать юношей учатся вместе и живут в одном общежитии! Без парней здесь ничего не выйдет, затоскуют девчата и разбегутся. А набирать их можно из числа тех, кто не прошел по конкурсу в художественное училище, но действительно серьезных и способных людей. Такие будут крепко держаться за

Филимоново, так как в этом — единственно верный для них шанс приобщиться к искусству. Вместе с местными жителями они составят ценнейший сплав. Утопия? Не думаю. Ведь мы можем стать производственной базой какого-нибудь художественно-промышленного училища.

5. Вы просите прислать «некоторые характерные детали, касающиеся обстановки и людей». Не знаю, что и написать. За что ни возьмись, все характерное, а на бумаге бледнеет. Нарисовать бы — другое дело, я бы нарисовал... Скажем, тишайшую ночь над Филимоновом. Утро. Поворот реки, там, где поваленное дерево. Или старый мост. Даже петушиный крик нарисовать бы мог! А вот словами, извините, не могу. Так что приезжайте сами, слово — это Ваше дело.

Сподвигните ли? Извините.

Виктор Арсентьев.

Р. С. Нет ли среди Ваших знакомых желающих приобрести дачу в таком красивом месте, как Филимоново. Поинтересуйтесь! Дом с хорошим садом и огородом. Прсят 700 рублей (0,13 га).

13

Филимоновскую даль затянуло снежной пеленой. В Красенках, в цехе женщины лепят игрушки и поют. Запевают Клава Грачева и Александра Гавриловна Карпова. У Клавы глубокий голос и звучный, у Карповой высокий, но не резкий и тоже очень красивый. Арсентьев слушает их и сам лепит петуха. Лепит он с радостью, вспоминая того живого, который машет крыльями и вздорно кричит под его окном. Может быть, поэтому игрушка у него выходит с комическим оттенком, но он сам пока не замечает этого. «Если по-настоящему, — думает он, — то учиться свистульки делать нужно года два, не меньше». Арсентьев иногда бросает незаметный взгляд на Веру и по выражению ее лица, по движению рук чувствует, что в ней возникла уже тяга к этой работе. К Вере подходит Александра Гавриловна, смотрит и начинает тихо что-то объяснять. Арсентьев оставляет своего петуха и тоже подходит к Вере. У Карповой по-прежнему на темном лице и в глубоких сухих глазах обозначена строгость, но голос приятный.

— Ты, Верушка, примечай, примечай, а сама вольнее делай... от себя иди... не зажимайся, тогда и молодушка твоя заиграет.

Арсентьев понимает, что в этих словах, случайно услышанных им, скрывается один из главных секретов филимоновского искусства, которое по сей день сохраняет индивидуальность мастерства, не переродившись в ремесленничество. Это дороже всего Арсентьеву в старинном промысле, и это во что бы то ни стало надо сберечь, не упустить, даже если дело широко размахнется. Он, задумавшись, смотрел на деревянную, испачканную синикой пичужку в руках Александры Гавриловны, на склоненную голову Веры, на молодуюшку, еще неясно возникающую из куска глины. Арсентьев почувствовал, что кто-то смотрит на него, обернулся и на минуту поймал Клавин взгляд, но тут же понял, что она смотрит чуть мимо, не на него, а на Веру. У Клавы ведь светлые синие глаза. Она не ожидала, что Арсентьев обернется, и смотрела на Веру темным нелюбящим взглядом, и Арсентьеву показалось, что сами глаза у нее стали темными. Клава не смутилась, только губы у нее чуть дрогнули, и на лице сразу же возникло обычное ее веселое и дерзкое выражение.

...В другой раз Арсентьев подошел к Вере на улице. Она шла куда-то. Он догнал ее, словно невзначай, и пошел рядом.

— Какое сегодня солнце!.. Замечательно! — сказала Вера.

— Действительно... Солнце!

На белом, крепком, чистом снегу стоял золотистый голубоватый свет. В нем струились деревья, избы, дым над крышами, гребешки дальних лесов. Накатанная дорога скрипела сама собой.

— Вот бы такое солнце на свистульках нарисовать! — улыбнулась Вера. — Ни за что не получится.

— Получится, Вера, — сказал Арсентьев, — обязательно получится... Надо только очень захотеть, чтоб получилось.

— Я еще никогда не разрисовывала. Интересно. Елочки, грачи... Грачи во-он откуда прилетают, самые первые...

Им встретила Авдотья Чуева, заулыбалась, поздоровалась. А когда они прошли, остановилась и смотрела им вслед. Глаза Арсентьева вдруг увидели на снегу по

краю дороги крохотную голубую вспышку. Он остановился. Нет, ему не померещилось. Дымчато-голубая вспышка. А рядом ярко-зеленая, красная, опять голубая...

— Посмотри, Вера,— воскликнул Арсентьев,— ты только посмотри!

Но она не видела, а потом увидела. И они оба застыли. Красные, зеленые, оранжевые точечные вспышки. Солнце в кристаллах снега. Невозможно было оторваться. Достаточно было сделать шаг вперед или назад, как все пропадало. Удивительное место! И особенно эта дымчато-голубая вспышка, целый мир.

Арсентьев ощутил сильную, до грусти живую, жгучую потребность любить, и чтобы его в ответ любили, и чтобы это длилось вечно. Но он отчетливо, как никогда раньше, понял, что это — не вообще какое-то чувство, что оно предельно конкретно и относится к этой худенькой девушке, стоящей рядом. Он поднял взгляд и увидел на ее лице не радостную растерянность, которую ожидал увидеть, а такое выражение, будто она прислушивалась к чему-то. Арсентьеву даже показалось, что и он уловил какой-то далекий неясный звук.

— Слушаешь? — спросил он.

— Я не слушаю, я думаю... Хорошо, думаю, будет, когда жаворонок запоеет. Вот бы не весной, а сейчас запел.— Она неуверенно посмотрела на Арсентьева и виновато улыбнулась.

— Ты куда идешь, Вера?... Хочешь, со мной пойдем. Хвои хочу наломать, дома поставить.

— Нет, я к Митрофановне, захворала она что-то. Мать послала к ней.

— Сильно захворала?

— Не знаю даже...

Арсентьев зашагал по самой середине накатанной сверкающей дороги. А Вера повернула назад, потому что, разговаривая с Арсентьевым, давно прошла дом, в котором жила Митрофановна.

Арсентьев направился к лесу и по самому краю стал ломать ветки. Но перед тем, как ломать, ему каждый раз приходилось качнуть хвоей. Молодые сосны от малейшего прикосновения вздрагивали, осыпали снег. Виктор едва успевал отскочить и смотрел, как в светящемся воздухе сквозного леса дерево стоит, как бы охваченное метелью, почти невидимое. Снежное шур-

шанье зависает, распыляется, затихает. И над крутым падающим к реке пространством проясняется, возникает и очищенно зеленеет сосенка, каждая ее ветка становится очерченной. «Какое сегодня солнце!» — вслух повторил Арсентьев Верины слова и, оглянувшись и никого не увидев, повалился спиной на снег, стал смотреть в синюю глубину солнечного зимнего неба, холодно дымящегося по краям. И будто вправду жаворонки пели, все время поднимаясь и опускаясь, вверх-вниз, вверх-вниз...

Это тянулось несколько мгновений. Арсентьев вскочил на ноги, отряхнулся и словно бы почувствовал себя виноватым перед людьми, среди которых он жил сейчас. Точно застали его здесь Александра Гавриловна, Степан Грачев или Митрофановна, или даже Вера. Ну, пускай он художник, но ведь неловко, совестно так безоглядно наслаждаться этим солнечным днем, голубыми и зелеными вспышками на снегу, повалившись, смотреть в небо и растворяться в сознании собственного счастья посеред строгой и суровой жизни.

14

Ночью, уже погасив свет, он снова ощутил себя счастливым. Какое сегодня было солнце!

С разных сторон комнаты в теплой комнате дышала хвоя. Она стояла в розовой стеклянной вазе рядом с книжными полками, в глиняном коричневом кувшине на столе и в оцинкованном ведре под окном.

«Что за глаза у нее?» — подумал Арсентьев и стал напряженно вспоминать те слова, которые пришли ему когда-то во сне. Но не вспомнил. И потом никогда не мог вспомнить. И ему казалось, что тогда он точно нашел, понял, какие именно у Веры глаза.

И он заснул.

Проснулся он глубокой ночью от какого-то сухого, треснувшего звука: трик-трук. Арсентьев прислушался. Через некоторое время звук повторился: трик-трук-трик, точно что-то отлеплялось в комнате, отскакивало, смещалось, точно давало знать о себе какое-то живое деревянное существо. Звук был именно живой и деревянный: трик-трук. Арсентьев уже хотел встать и зажечь свет, когда понял, что это в хвое лопаются, раскрываются сосновые шишки. Он почему-то обрадовал-

ся. И в темноте, лежа на своем жестком узком топчане, прислушивался и не спал. Вот он, обыкновенный человек, делает обыкновенное дело в одной из деревень, каких в России не счесть, помогает людям наладить их давнишний промысел. И приехал он сюда не по распределению и не по назначению, а только по своему желанию и отчасти оттого, что поманила его красота. Да, отчасти и она, конкретная красота филимоновских расписных игрушек. Большое это дело, малое ли, но оно вызвало в Арсентьеве интерес, стало для него значительным. Перед ним открылась или еще только приоткрылась жизнь, которая стояла за этими расписными игрушками.

Он стал размышлять о смысле красоты.

«Какая же красота для человека главная?» — думал Арсентьев. — Прекрасно море на рассвете, далекие горы, звезда над полем, солнце в кристаллах снега... Нагромождение камней и огромные водоемы, и движение трав при соответствующем освещении вызывают в человеке восторг, восхищение; у некоторых даже слезы навертываются на глазах. И возникает радость или тоска... Ему, художнику, казалось, что это и есть главная, непреходящая красота, и он больше всего ценил в людях умение тонко воспринять эту красоту.

«...Но звезда в сумерках... Но горы... Море... я теперь понимаю, что их ласковость обманчива, как и обманчива их ярость. Они — сплошная неустойчивость, ненадежность. Они всегда опасны и безучастны к человеку. Красота? Но эта красота сама по себе не может объединять...»

Он подумал, что бархатистым вишневым закатом на море может умилиться и самый отпетый негодяй.

«...Приветливость звезд и морей — это обман нашего зрения. Я давно чувствовал холодность солнца на камне или на листе. А рисовал по-другому. Что же мои прежние пейзажи, их восторженность?..»

Ему было странно, что он начинал осознавать все это здесь, постигая, казалось бы, примитивное крестьянское искусство, грубо связанное с необходимостью промысла.

«Какая красота для меня главная?»

И он начинал догадываться, что, конечно, не южная, рвущаяся наружу, однако и не северная, бледная, которая ему очень нравилась и без которой он тоско-

вал. Главная — созданная, выстраданная самим человеком, строгая... Красота человеческой жизни... Красота человеческого поступка... Ее невероятно трудно вылепить. И так же трудно следовать ей до конца, сохраняя в себе, не отступая и не соскальзывая с ее тропы.

Арсентьев слышал, как у книжных полок набухла, напрягалась, выстрелила, отлепилась чешуйка-створка. Потом раздался перебегающий-перекатывающий сухой треск. И всю ночь в тепле время от времени потрескивало, пощелкивало, растворялось.

За окнами блестел холод.

15

Время, считая от этой ночи, потекло для Арсентьева медленно. И в нем самом стояла какая-то медленная радость, которая сопутствует человеку, когда он открывает для себя новое, важное и верит в свои силы, и любит другого человека, но еще не признался себе в этом. Время текло медленно еще и потому, что январь стоял однообразно морозным, солнечным, янтарным. Потом дней десять погода была гнилой, оттепельной. И снова стал забирать мороз. Февраль с середины был снежный, пасмурный, но крепкий.

В феврале Арсентьев раза три-четыре ездил в Тулу. Рассказывал своим друзьям — Соне и Кириллову — о заботах филимоновского промысла, просил помочь, поговорить в Художественном фонде, может быть, все-таки смягчатся там, не станут противиться и возьмут промысел в свои руки. Но директор фонда, женщина практичная и спокойно-уверенная в себе, выслушивая горячие слова Арсентьева, всякий раз загадочно улыбалась и говорила одно и то же: «Нереально...» Зашел Арсентьев и в редакцию к знакомому корреспонденту. Ю. Пастухов был по-прежнему обаятелен, подвижен, элегантен, как капитан КВН. «Старик, — сказал он, — извини, срочный выезд... Письмо получил... Усложняешь, старик! Надо поговорить. Извини, бегу. Следующий раз с удовольствием... Звони, не пропадай!» И тут же Ю. Пастухов пошел-побежал к выходу. Арсентьев грустно посмотрел ему вслед, и, когда вышел из редакции, Ю. Пастухова уже нигде не было видно.

«Не скоро дело делается», — успокаивал себя Арсентьев.

сентябрь. И снова шел в Художественный фонд, в музей, в областное управление культуры. Однако в последний приезд его ожидало радостное известие: филимоновские игрушки отмечены главными премиями на международной выставке в Монреале. Кроме четырех мастериц, работающих на Художественный фонд, премии получили еще Митрофановна и Клава Грачева. Арсентьев ликова! значит, продукция цеха признана! Теперь дело стронется с места.

«Вот видите! — убеждал он директора фонда. — Пора забирать нас к себе. Прямая выгода! И потом, ради искусства!..»

«Посмотрим...» — полуулыбаясь, отвечала ему спокойно-уверенная женщина.

Они вместе отправились в управление культуры получить дипломы. В коридорах управления было людно. На трех стендах расклеены фотографии и цветные вырезки из журналов. Начинаясь фестиваль самодеятельного искусства. В кабинете начальника тоже были люди. Он вышел из-за стола, улыбнулся, развел руками: мол, ничего не поделаешь, такой сегодня день суматошный, и вручил Арсентьеву дипломы. «Поздравляю, — сказал он. — Большой успех. Поздравляю. Замечательные все-таки мастерицы! Пожалуйста, передайте им всем мои поздравления. Обязательно как-нибудь выберусь в Филимоново. Вы ведь пока не наша епархия...» Арсентьев хотел, воспользовавшись удачным случаем, сказать ему, что обозный завод сам с превеликой радостью отказался бы от игрушек. Но начальник управления, уловив желание Арсентьева высказаться, умоляюще посмотрел ему в глаза и крепко пожал руку.

В коридоре, возле соседней комнаты, стояли, расхаживали несколько мужчин. И проходя мимо, Арсентьев услышал, как один из них нервно говорил: «Надо ему сказать!.. Надо потребовать...».

Спутница Арсентьева осталась в управлении культуры, а он, выйдя на лестничную площадку, прислонился к стене и стал внимательно рассматривать дипломы. Они были первой и второй степени, а Карповой был присужден Гран-при. Арсентьев решил не оставаться в Туле еще на день, как предполагал раньше, а сейчас же возвратиться в Филимоново, чтобы поскорее обрадовать там всех.

С автовокзала он позвонил в редакцию Ю. Пастухову и сообщил новость. «Ну вот и о'кей! — обрадовался тот. — Дадим в номер! Я же говорил, усложняешь, старик...»

На Суворов уже автобусов не было. Пришлось ехать через Крапивну на Одоев. Дорога была забита снегом, автобус мотало из стороны в сторону. Пока добирались до Одоева, день уже кончался.

В сторону Татьяны и Филимонова попутчиков Арсентьеву не оказалось. Какой-то дед согласился подвезти его немного. Виктор не сел, а опустился на колени в крестьянские розвальни в лежачее сено с не выветрившимся еще до конца запахом сухих цветов. Поставил рядом сумку и стал смотреть вперед. У низкой ходкой лошаденки вскоре задымились бока. Острый ветерок постегивал Арсентьеву лицо и начинал пробивать полушубок. По дороге они с дедом не перемолвились ни одним словом. Меньше чем на полпути тот свернул в сторону, поехал то ли в Дракино, то ли еще дальше. А Виктор взял сумку и зашагал по пустынной зимней дороге, слегка занесенной и потому сливающейся с полем. Легкая выюжка перебегала дорогу. Арсентьеву хотелось побыстрее оказаться у себя дома в Филимонове, отогреться, выпить горячего чаю, послушать музыку, увидеть Веру. Он шел сейчас совершенно один полем, лесом в начинающихся сумерках и, казалось, видел самого себя сверху, свою крохотную фигурку, движущуюся в косом снежном пространстве, несущую филимоновским бабам дипломы за их глиняные игрушки. Вдруг Арсентьева охватило неопределенное беспокойство, и он подумал, что это от сумерек, но не успокоился. Он чувствовал несвободность собственных движений, точно кто-то следил за ним. Он оглянулся, посмотрел направо и у дальнего леса увидел волков. Их было два... Три. Они были темнее сумерек, но светлее леса и отчетливо виднелись на снегу. Арсентьев почувствовал глупую беспомощность и страх, поднял воротник, стал наглухо застегиваться. Вспомнил, что в таких случаях надо курить. И когда закуривал и ломал одну за другой спички, встал спиной к ветру и к волкам и за несколько этих мгновений взмок от пота. Решил курить одну папиросу за другой и идти равномерно, не проявляя беспокойства. У него не было с собой ни ножа, ни даже палки. В задубевшем полушубке, с сумкой, он

шел, стараясь не делать лишних движений, весь сжавшись внутри, и лишь косил в сторону наблюдающих за ним неподвижных зверей. Волки тронулись и пошли наискосок, словно бы в его сторону. Кожа на его лице стянулась, задеревенела. Но волки резко свернули. И исчезли в длинном овраге. Арсентьев хотел бежать без оглядки, но все так же шел, шел... Ему казалось, что за спиной его бесшумно движутся, следуют за ним волки, и с боков возле сквозных, серых, волчьего цвета лесков в порошенье редкого сухого снега мерещились холодные светящиеся звериные зрачки. Промокшее от пота белье стало неприятным, леденяще прилипало к телу.

Наконец, он вышел к деревне. И, освободившись от страха, побежал к себе, в Красенки. Откуда только сила взялась!

Дома он переоделся. Отогрелся. Выпил водки. И представил, как в Туле в Союзе художников кто-нибудь входит и говорит: «Слышали, Витьку-то Арсентьева волки съели!» И его друзья пытаются сделать печальные лица, а сами со смеху помирают...

Он разминается, улыбается счастливо, икает и думает, собирать ли завтра общее собрание в цехе или разнести дипломы по домам сегодня же. Ему не терпится. И он решает, что лучше сегодня. И перво-наперво он идет к Ивушкиным.

У Ивушкиных хорошо, как всегда, чисто и приветливо. Арсентьев рассказывает; он возбужден и жестикулирует. Вера смотрит на него. Она почти не говорит ничего, не спрашивает, но лицо ее, осунувшееся, тревожное, а теперь уже и радостное, светится. Учитель расхаживает по комнате, высокий, нескладный, серые близорукие глаза его смеются.

—...Значит, твердила: «Нереально, нереально», а теперь уж и: «Посмотрим». Молодец, баба! — говорит Ивушкин. — Считайте, Виктор Васильевич, первый шаг сделан. Сейчас, знаете, в самый раз статью написать в серьезный журнал о промысле и о гончарном заводе в перспективе. В самый раз.

— Обязательно, обязательно, — соглашается Арсентьев. — И про завод, и про школу мастеров.

— И не откладывайте, Виктор Васильевич. А то знаете, как у нас: с полгода будем дипломами любоваться и время упустим.

Корешок одобрительно кивает головой. От горячего чая на заострениях его бледного лица и возле рта выступили капельки пота. Любана слушает мужчин, а сама долго и подробно рассматривает дипломы.

— Смотришь, доченька! — говорит Корешок. — Придет время; и сама получишь, и Авдотья твоя. А может, еще и Верка наша научится и получит... Дай-ка гляну! А ничего! Красивая бумага, лощеная...

Любана поднимает глаза и, оттого, что отец, видно, угадал ее мысль, смущается: миловидное мягкое лицо ее слегка розовеет.

В это время приходит Авдотья Чуева, подвижная, смешливая, всегда готовая рассмеяться, та, которая заплакала, когда у нее не получалась игрушка по эскизу Арсентьева. Она не знает, что он ее видел в тот самый момент. А он всегда помнит это. Смех у Авдотьи раскатывается частыми колечками, и плотник Степан говорит, что Авдотья смеется мелкой стружкой.

— Я — минут на полчаса, — легкой скороговоркой сообщает Чуева, но, увидев Арсентьева, восклицает: — Ой, у вас гость... Здравствуйте, Виктор Васильевич!.. Я тогда в другой раз, в другой раз, извиняйте... Любашка, выдь на минуточку.

Ее уговаривают остаться; и она снимает пальто и подсаживается к Любана. Рассматривая дипломы, Авдотья очень тихо и смешно вскрикивает: «Ой, бабочки мой глиняные... Что же это? Теперь на весь мир прослышат о нас... А я думала — минут на полчаса, а в самую новость-то и попала».

Учитель спрашивает Арсентьева, когда он думает устроить вручение дипломов. Арсентьев отвечает, что хочет сегодня же их мастерицам разнести и вручить каждой в отдельности.

— Правильно, обрадуй баб, — говорит Корешок. — А то вот Митрофановна, захожу к ней: сидит — сгорбилась. С лица и без того темная. А тут еще хворь зацепила...

Ивушкин соглашается, что надо обойти всех и поздравить каждую, но считает, что собрание устроить обязательно надо и лучше всего в Татьевском Доме культуры. Туда народу набьется много. И филимоновских, и татьевских, и нестеровских всех пригласить. И чтобы все правление колхоза присутствовало.

— Это совершенно необходимо,— говорит Ивушкин и смотрит на Виктора серьезными глазами.

Арсентьеву очень уж не хочется уходить от Ивушкиных. И он согласен решительно во всем с учителем. Ему нравится сегодня даже высокий придушенный голос Корешка. И то, как смутилась Любаня. Ему приятно сидеть здесь, и чувствовать, как Вера хорошо на него смотрит и, не произнеся почти ни одного слова, молча разговаривает с ним. Он тоже разговаривает с ней, не обращаясь впрямую, и Арсентьеву кажется, что этого никто не замечает.

Наконец, он поднимается, аккуратно складывает дипломы в папку и уходит.

Он идет к Масленниковой. Узнав новость, она всплеснула руками, смутилась, заулыбалась: «Надо же!» И задела глиняную плошку, чуть не обронила с табуретки. Стала хлопотать, приглашать Арсентьева к столу, за которым сидели ее сын, невестка и еще какая-то незнакомая женщина. Диплом она взяла кончиками пальцев, будто руки у нее были мокрые, и еще раз сказала: «Надо же!» И унесла в другую комнату.

Арсентьев пошел к Карповой.

Александра Гавриловна сидела в избе одна. Видно, уж спать собиралась. Свет у нее горел в одной комнате. И отчетлив был черный прямоугольный проем в стене— вход в другую комнату. Выслушала она Арсентьева серьезно. Взяла диплом, в котором непонятными ей знаками извещалось, что ей присужден Гран-при. Спросила:

— Где это, сынок, находится?

— Монреаль?

— Да, он самый...

— В Канаде.

— Далеко-о...

— Да уж далеко, за океаном.

— А скажи, сынок, эти книжки-то, которые нам дали...

— Дипломы, что ли?

— Да вот... скажутся они на пенсии-то?

От Александры Гавриловны Арсентьев пошел к Грачевым. По дороге поразмышлял, правда: к кому, сперва зайти— к Митрофановне или к ним? И решил, что лучше к ним.

Дверь у Грачевых была заперта. Он постучал и

услышал Клавин голос: «Кто там, заходи!» Клава и Степан сидели за столом. Степан в нательной рубашке, расстегнутой. Клава в легком, по-летнему, ситцевом платье без рукавов. Изба была жарко натоплена. И были в ней чистота и порядок. Мальчишки возились на полу, и младший, рыжий, пицал и смеялся. В избе стоял приятный, здоровый и, несмотря на жару, свежий дух.

«А ну, цыц! — сказал Степан и прогнал мальчишек в боковую комнату. — И чтобы не пицать». В разных местах Арсентьев заметил несколько гдиняных Степановых фигурок, которые раньше в доме не стояли. «Какой все-таки у него верный глаз, — подумал Виктор. — Поразительно! Сколько ни смотри...»

Арсентьев объяснил, зачем он пришел, протянул Клаве диплом и поздравил ее.

— Давай, коль заработала! — Взяла она быстро-неосторожно и даже чуть смяла у краев. — Зря тогда самых ярких моих свистулек не взяли. Все со Степаном мудруете, а то бы первую степень отхватила...

Клава засмеялась.

— По такому случаю... — сказал Степан и посмотрел на жену.

Она быстро надела мужнин полушубок и как была с голыми ногами — вставила их в валенки, — так и выбежала в холод. Вернулась она через несколько минут с миской соленых огурцов и помидоров. Огурцы были крепкие, маленькие, в пупырышках и сами просились в зубы...

Когда Арсентьев уходил, она вышла закрыть за ним дверь и вдруг тихо сказала:

— Не знаю, что подумал-то, — помнишь, ночью тогда. Я ведь так... Я ведь своего, — она запнулась, — люблю.

Пройдя несколько шагов, он оглянулся и увидел ее фигуру, смутно белеющую в дверях, освещенную снегом. Потом услышал стук щеколды. К Митрофановне идти уже было поздно. И он решил отправиться спать, но на полпути к дому остановился. Он и не заметил сразу, что ветер прекратился, совсем исчез. Было тихо, широко, снежно. На небе ни одной звездочки. Собаки где-то облаивали ночь. И над всем этим дышала глубокая мощная свежесть. От снега с дороги шел запах лошадей, который не слышен был, когда бестолково пуржило. Верно, утром или днем, когда Арсентьева не

было, здесь проехали возы... Ему пришли на память стихи, неизвестно где и когда вычитанные:

У каждого своя деревня.
Один по случаю нашел,
Другой коряжисто и древне
Сам из нее произошел.

16

К Митрофановне он пошел на следующее утро вместе с Верой, встретив ее у цеха. Старуха уже знала, что Арсентьев привез заграничные дипломы и еще вчера разнес их, только к ней не зашел. Худая, высокая, прямая, в новой вязаной кофте, она сидела на кровати и ждала. На столе стоял графин с прозрачной светло-зеленой жидкостью, очевидно, настойкой, в которой плавали какие-то редкие травинки; рядом хлеб, тарелка с кусочками мороженого сала, миска с соленьями. У стола стояла длинная выщербленная скамья. Навстречу Арсентьеву и Вере с этой скамьи поднялся муж Митрофановны, тоже высокий, хмурый; на лице его обозначилась недолгая улыбка.

— Значит, ко мне к последней,— сказала Митрофановна, каким-то темным голосом, но скорее не с укором, а с грустью.

Арсентьев стал что-то объяснять, путаться и протянул ей диплом.

— Вот... Первой степени, Митрофановна!

— Да знаю уж, знаю, добрые люди сказали... Значит, и мы не лыком шиты.

Она приглядывалась к диплому долго. Попросила у старика гвоздики и молоток. Он хотел было ей помочь, но она отмахнулась и сама стала прибивать диплом к стенке рядом с фотографиями, где она молодая и старик в солдатской форме, тоже молодой, и где они оба вместе: он в пиджаке, она в белом платье. Прибила и разгладила корявыми руками.

— Чтой-то мне не можется впоследствии,— сказала Митрофановна,— закончив разглаживать,— хворь изъела. Худею все.

— Может, врача надо привезти хорошего, проконсультироваться? — спросил Арсентьев. — Или в Одоев, может, свезти в районную? Я устрою.

— Что зазря-то консультировать! Я сама... Травами

лечуся всю жисть, и слава богу. Выгребем помаленьку... Давайте-тко лучше за наше дело... И я с вами полstopки стебану. Праздник все же, грамоты дадены.

Арсентьев стал отнекиваться, говорить, что ему предстоит сегодня поездка в Одоев и, может, в Крапивну, и в правление колхоза еще надо зайти. Но Митрофановна так посмотрела на него, что он понял: отказываться нельзя.

— Ну, хорошо,— сказал Арсентьев,— только символически.

— Это как, значит?

— По полstopки.

— А-а... по-болезному, значит.

Старик стал разливать по stopкам прозрачную зеленую жидкость, пахнущую одновременно полынью и мятой. Одну полную налили и три по половинке. Арсентьев и Вера сели рядом на длинную выщербленную скамью. И Арсентьев подумал, что они впервые так рядом сидят, и он впервые видит, как Вера держит stopку в руке. И надо же, чтобы это случилось у Митрофановны, в неприветливой избе, суровое однообразие которой расцвечивали лишь малиново-желто-зеленые всадники, коровы, пастухи, петухи с вытянутыми шеями, медведи с гармониками.

— Ну, за здоровье, Митрофановна,— улыбнулся Арсентьев.

— Во здравие... Во здравие... Пожелаю доброго...

На улице Арсентьев вдохнул чуть ветреной утренней свежести.

— Хорошо жить,— сказал он.— Хорошо. И все случай. И то, что мы сегодня встретились... И вообще встретились. И вспышки на снегу, помнишь? Все случай.

— А знаете, Виктор Васильевич... Последний экзамен я нарочно не пошла сдавать,— неожиданно сказала Вера.

— Какой экзамен? — не понял Арсентьев.

— Летом, когда в институт поступала... Подумала, успею еще, поучусь. И не пошла.

— Отец-то знает?

— Нет. Дома никто не знает.

— Та-ак... значит, не пошла...

— Да. Вернуться захотелось.

Арсентьев внимательно посмотрел на нее: Вера,

вдруг необыкновенно красивая, под пасмурным небом, в серой заячьей шапке.

— ...А то бы я с вами вспышек тех не увидела... И вообще ничего бы не было,— сказала Вера.

Она вдруг испугалась своих слов. Арсентьеву был уж знаком этот ее испуг; он промелькнул в Вериных глазах, кажется, в тот солнечный день, когда она сказала о жаворонке или еще раньше, осенью...

— А почему же не пришла к реке, помнишь? — от неожиданности радостно и глупо спросил Арсентьев.

— Не знаю,— отвечала Вера.— Не пришла...

И Арсентьев подумал, что она вовсе не тихоня, не дичок и что крепкая женская стать, даже отвага живут в этой худенькой девушке, и еще неизвестно кто: она или он окажутся крепче в жизни, устойчивее на всем ее протяжении?..

До полудня Арсентьев пробыл в цехе. И что бы ни делал, с кем бы ни говорил, радостно ощущал Верино присутствие. «Вера... Вера... Вера...» — стучало в его мозгу. Арсентьеву хотелось ехать куда-то или отмахать верст десять пешком.

В полдень он пошел в Нестерово. Оттуда через час с председателем он должен был на вездеходе поехать в Одоев. «Надо будет обязательно разомкнуть круг. И отобрать промысел у обозного завода. И доказать. И вытянуть. И построить гончарный завод», — думал Арсентьев. В нем звучала благодарность к Филимонову, ко всему Филимонову, а не отдельно к кому-нибудь из его обитателей, за уроки, полученные здесь. И случайно ли, что, выбрав именно это дело, он встретил и человека, к которому почувствовал то, чего ни к кому и никогда не чувствовал?..

«Весной дом куплю,— решил Арсентьев.— При цехе, конечно, неплохо. Но Кириллов был прав, надо дом купить... 700 рз... 0,13 га».

Он подумал, что еще много раз будет ходить этой дорогой, нырять в лог, подниматься на бугор. Сейчас ему приятно было идти по ней, радостно. И он ни в чем не чувствовал однообразия.

Возле татьевского сельмага, в котором он когда-то купил себе белую полотняную рубаху, Арсентьев увидел высокую гнедую лошадь, запряженную в легкие сани и привязанную к телеграфному столбу. Арсентьев узнал и эту лошадь, и эти сани; они принадлежали фи-

лимоновскому бригадиру. Минут через пять-семь Сенька Шалов обогнал Арсентьева и, на миг затормозив уже чуть разгоряченную лошадь, насмешливо крикнул:

— Эй, художник! Не в Нестерово?.. Садись, подвезу!

Арсентьев сел рядом с Сенькой на деревянное сиденье двухместных щеголеватых саней. Бригадир с азартом гнал свою сильную красивую лошадь. Причмокивая губами, привставал, покрикивал: «Эй, милая!» — с ударением на «я» получалось у него.

— Что так весел? — спросил Арсентьев.

— Весел, говоришь... Есть, значит, основания... Эй, милая!

«Счастливым я человек», — думал Арсентьев, принимая лицом напор ветра. — А Вера... Какая она необыкновенная!»

— Художник, а Степан тебя позвал нынче в гости?

— В гости, зачем?

— У него меньшого нынче рождение... Позовет еще, не сомневайся.

«Вот люди, связанные долгой жизнью на этой земле», — говорил себе Арсентьев. — У них свои радости, свои понятия, свои давнишние счеты. А я ворвался к ним... А Вера... Какая она необыкновенная! И сегодня вечером я опять увижу ее».

Когда они выехали из Татьева, он знал, не оглядываясь, что филимоновских крыш отсюда уже не видно. Впереди лежало Нестерово и угадывалось шоссе. Справа, со стороны Никольского, быстро скользят двое саней, одни за другими. Резво бегут низкие, кажется, пегие лошаденки. Через две-три минуты, прищурясь, приглядевшись к тому, что едет справа, Шалов тише пускает лошадь. И вскоре останавливает ее. «Пропустим», — говорит он и слезает с саней. Арсентьев делает то же самое.

Розвальни приближаются, проезжают рядом, поворачивая впереди них на дорогу, идущую к Нестерову. На первых розвальнях на клочковатом сене стоит некрашенный гроб, обвязанный веревками; на нем сидят два мужика. На вторых розвальнях, идущих вплотную за первыми, много народу, в основном бабы с остановившимися, почти равнодушными лицами.

Арсентьев и Шалов сняли шапки. Сенька тут же снова надел. Арсентьев несколько минут так без шапки

и продолжал стоять. Сани удалялись в сторону шоссе. Он подумал, что еще не знает, где в этих местах погост. И ощутил большое светлое небо и большое снежное пространство. Провода не постанывали, как летом, а тихо гудели. В нем появилось желание нарисовать все это, написать эту жизнь. Возникло сильное живое расположение духа к творчеству.

Когда развальни, идущие впереди, скрылись из виду, Сенька дернул вожжи и снова погнал лошадь.

— Эй, милая!.. Наддай!..

На выгибе узкой дороги сани занесло, они накренились, стали переворачиваться, и Арсентьев, падая на Сеньку, оперся на него и впечатал лицом в снег. Сани перевернулись. Шалов вскочил без шапки, со спутанными рыжими волосами, весь в снегу. Лицо заляпано снегом, нос едва виден, рот кажется рваным, сквозь снег проступают красные пятна на скулах.

— Ну, и дурак же ты, художник,— в сердцах сказал он, стирая рукавом снег с лица и отряхиваясь.— Что пятерню в меня вlepил? Держался бы, не валился бы на меня...

Он не договорил и несколько раз сплюнул. Молча они поставили сани.

— Ну, ты езжай, я уж тут сам доберусь,— сказал Виктор.— Пройдусь.

Шалов на это ничего не ответил, поехал. Арсентьев же пошел следом, вспоминая насмешливую презрительность Сенькиных глаз.

Идя, он думал, что вот первый год живет среди этих людей. Как они относятся к нему? Наверное, совсем иначе, чем ему кажется. Относятся не так, как отец и мать, восхищавшиеся когда-то его талантом; не так, как друзья в училище, разделявшие вместе с ним большие надежды на будущее; не так, как товарищи, художники теперь; не так, как Соня и Кириллов, видящие в нем молодого, подающего надежды... А как? Им все равно ведь, какой он, Арсентьев-живописец. За одно это они не будут его любить или не любить. Если он поможет им по-настоящему возродить их исконный промысел, тогда он войдет в их жизнь, станет необходимой частью ее. Обошлось бы Филимоново без Арсентьева?.. А может быть, и не обошлось бы!

Его все больше притягивал к себе этот необыкновенный промысел, в котором много веков назад воеди-

но слились крестьянский труд и простое искусство; как бы ни был суров крестьянский труд и закрепощена когда-то сама жизнь, это простое искусство никогда не было скудным и однообразным: и здесь прорывалось желание человеческой души выразить себя. Могли же бабы лепить ради одной только пользы и чуть быстрее и чуть тусклее, все равно свистульки продавались бы! А ведь издавна мастерицы затейничали, находили лепкие, как Степан говорит, линии и выбрали-поставили рядом три цвета: красно-малиновый, желтый, зеленый, очень звучный.

ПЕШКОМ ПО ЗЕМЛЕ



Кто из людей, шагающих по земле и желающих пристально вглядываться в жизнь, собирать черты человеческих характеров и черты возникающих, всякий раз неповторимых пейзажей, кто из этих людей не испытал радости в тот момент, когда в душе начинало звучать чувство удивления перед красотой мира? Это чувство расположено в нашей духовной организации так, что когда оно возникает, то обязательно затрагивает совесть. И от этого совесть обостряется, и человек начинает чувствовать некоторую виноватость — малую или большую, кто как, — перед красотой природы, перед красотой лучших человеческих поступков. Всем существом своим постигаешь однажды, что нравственное начало вне зависимости от тебя самого сопряжено в твоей душе с чувством удивления перед красотой.

И красота родного языка, вся его многообразная, неохватная, мощная стихия тоже вызывает в душе чувство удивления и чувство виноватости перед этой красотой. Мне выпало счастье несколько часов кряду беседовать с замечательным нашим мастером слова Иваном Сергеевичем Соколовым-Микитовым. И в речи Ивана Сергеевича не только слышалось острое желание оберечь русский язык — его крепость, его душистость, его звучность, его чистоту — от засорения и замутнения, но и угадывалась, чувствовалась эта вот самая виноватость перед родным языком. Почему?.. За что?.. Может быть, чем больше писатель, тем сильнее в нем развито это ощущение.

Кто из людей, шагающих по земле, не стремился точным словом запечатлеть само движение, саму неуловимость вечно меняющегося, живого. Томительная радость, когда заносишь в смятый блокнот или записную книжку мысль, пришедшую в дороге, или штрихи пейзажа, или услышанное свежее, точно парное, при словье. И все это еще не включено в поток повести или рассказа, не обработано, повито проселочной пылью, омыто полевым воздухом и сверкает так, как никогда

потом не будет сверкать в книге. И томительна радость, когда разутый идешь по земле и чувствуешь ее тепло.

Разные пласты времени раскрывались передо мной. Разные люди возникали перед глазами: великий писатель, хозяин Ясной Поляны, и замечательный просветитель XVIII века, живший в Богородицке, синявинские певцы и филимоновские мастерицы, молодой художник, поселившийся в деревне и занявшийся народным художественным промыслом, и человек, долгие годы скрывавший от людских глаз коллекцию первоклассных полотен, потомственные рабочие — тульские оружейные мастера и солдат, погибший в неизвестном поле... Никогда я не чувствовал разнородности этих людей — они были связаны для меня одной кровной нитью, одной огромной любовью, одной столь много испытывавшей Отчизной. В моих героях больше всего меня интересует нравственная сила личности, которая в конечном счете, вероятно, и определяет ценность культуры.

Многое из того, что я встретил в пути, узнал, почувствовал, пережил, многие впечатления и многие образы не вошли в эту книгу, остались за пределами ее, как бы за окоемом. Осталось в стороне Поленово на изгибе Оки, тургеневский Бежин луг, Красивая Меча и многое другое. Это как бы невидимая часть книги. Невидимая, но присутствующая, потому что живет она в памяти моего сознания и в памяти чувства.

СОДЕРЖАНИЕ

* Владимир Солоухин. С любовью к родной земле	5
* Слово о земле Тульской	8
Семь малых путешествий	13
Путешествие первое. В Ясную Поляну (разные дни)	14
Путешествие второе. Где оно, поле Куликово?	22
Путешествие третье. Однажды в дороге	31
Путешествие четвертое. Три автографа Ромена Роллана	34
Путешествие пятое. В Тарусу	42
Путешествие шестое. Его Величество Мастер	47
Путешествие седьмое. Синявинская обида	54
Письма с Растеряевой улицы	76
Письмо первое. Возвращение на улицу детства	78
Письмо второе. Печник Ионов	83
Письмо третье. Костины	87
Письмо четвертое. Снова у Костиных	91
Письмо пятое. История мастера Корякина	95
Письмо шестое. Я узнаю Константиныча	100
Письмо седьмое. Свадьба	104
Координаты (Стихотворения и поэмы)	107
I	
* «Вся словно бы в облаке гула...»	108
Сердцебиение	108
Монолог Левши	109
Норичок	110
«Мгла. Беззвучье. Теплые зарницы...»	111
«Синяя, сияющая свежесть...»	111
* «Запела душа...»	112
* Триптих	112
Ночной пейзаж с белым конем	112
Купанье красного коня	113
Бунт синего коня	113
Хвала мастеру	114
* «Есть в каждом деле круг особый...»	115
Миска супа	115
* Пир	116
* Памяти Ф. В. Токарева	117

* Произведения, отмеченные звездочкой, публикуются впервые.

* Хмурые мастера	117
Простые ремесла	118
Баня в Богучарове	119
Жаворонок	120
* Приближение	120

II

* Координаты	121
* Тоска по Оке	121
* Закат в Поленове	122
* Кудеяров колодец	122
* Падающее яблоко	123
* «Когда вошло в мое сознание...»	124
* Сергей Есенин	125
* «Ока, смотрю в глаза твои...»	126
* «Льнет ко мне льняная челка...»	126
* Три красоты	127
* «В глубинах мироздания слышу слово...»	127
* «Опять осенний свет сквозит в Красивой Мече...»	127
* Дыхание	128
* «Языка родного море Русское...»	128

III

* Песня	129
* Жил мальчик...	130
* «Не выше подняться, не выше...»	131
* «Любые безразличны формы...»	131
* Овеществление прилагательных	131
* Огни	132
* Неподвижность	132
* Прикосновение	133
* Два пейзажа	133
* Ярмарка радушия	134
* «Ни просвета, ни звезд...»	135
* Переменчивый день	135
* Пейзаж под Одоевом	136
* «Всплывает всякий раз...»	136
* «Как медленно паденье солнца!...»	137
* «Те сны, проселки, реки, свеи...»	137
* «Ты пришла вечернею росой...»	138
* «Я ухожу от мудрых книг...»	138
* «Откуда эта чистая тоска...»	138
* «Утро было сереньким и ранним...»	139
* «Ты вышла из шума зеленой волны...»	139
* «Из жизни ты моей уйдешь...»	139

IV

* Стихотворения в прозе	140
-----------------------------------	-----

V

«Как не любить мне эту землю...»	145
* «Это ясное поле, зеленое, с отблеском белым...»	145
* «Не кануло это во тьму...»	146
* Махатма Ганди	146
* «Жить, не прощаться с жизнью...»	146
* «Шел по жизни он как бы на ощупь...»	147
* Косая Гора	147
* Ярослав	148
* Сокровенная земля	149
* Приглашение к путешествию	150

VI

* Прощание с Тулой (<i>Поэма</i>)	151
* Деревня Филимоново (<i>Маленькая поэма</i>)	156
* Задонщина (<i>Эпическая поэма</i>)	160

В глубине времени	193
------------------------------------	-----

* Звезда полей, или письма из восемнадцатого века	194
* Бунин и Жуковский	224
* «И нам сочувствие дается...»	230

Сила прекрасного	248
-----------------------------------	-----

* Сын мельника из Ёржина	249
* Филимоновский корень	275

* Пешком по земле	346
-----------------------------	-----

Лазарев В. Я.

Л 17 Тульские истории. Тула, Приок. кн. изд-во,
1977.
348 с.

Книга поэтических наблюдений и раздумий, связанных с путешествиями автора по Тульскому краю и пристальным изучением замечательных явлений отечественной культуры.

Многообразная по жанрам, эта книга написана с большой любовью к родной земле и представляет интерес для самого широкого круга читателей.

Л $\frac{70500-82}{M 154(03)-77}$ 36-77

9(C13)

Владимир Яковлевич Лазарев

ТУЛЬСКИЕ ИСТОРИИ

* * *

Редактор **Н. А. Щеглова.**

Художник-редактор **М. Г. Рудаков.**

Технические редакторы **М. В. Аршинова,**
С. А. Харитонова.

Корректор **Б. М. Дорогознько.**

И. Б. № 298

Сдано в набор 23 сентября 1976 г. Подписано к печати 15 марта 1977 г. Формат 84×108¹/₃₂. Печ. л. 11 (18,48). Уч.-изд. л. 15,02. Тир. 50 000 экз. Зак. 878. ЦП00046. Цена 1 руб. 10 коп. Бумага типографская № 3. Приокское книжное издательство, г. Тула, ул. Революции, 14. Тульская типография «Союзполиграфпрома» при Государственном комитете Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, г. Тула, проспект им. В. И. Ленина, 109.

ОПЕЧАТКА

в книге В. Лазарева «Тульские истории»

В выходных данных следует читать:

Уч.-изд. л. 18,41. Цена 1 руб. 44 коп.



